Моше Новомейский • ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ

73

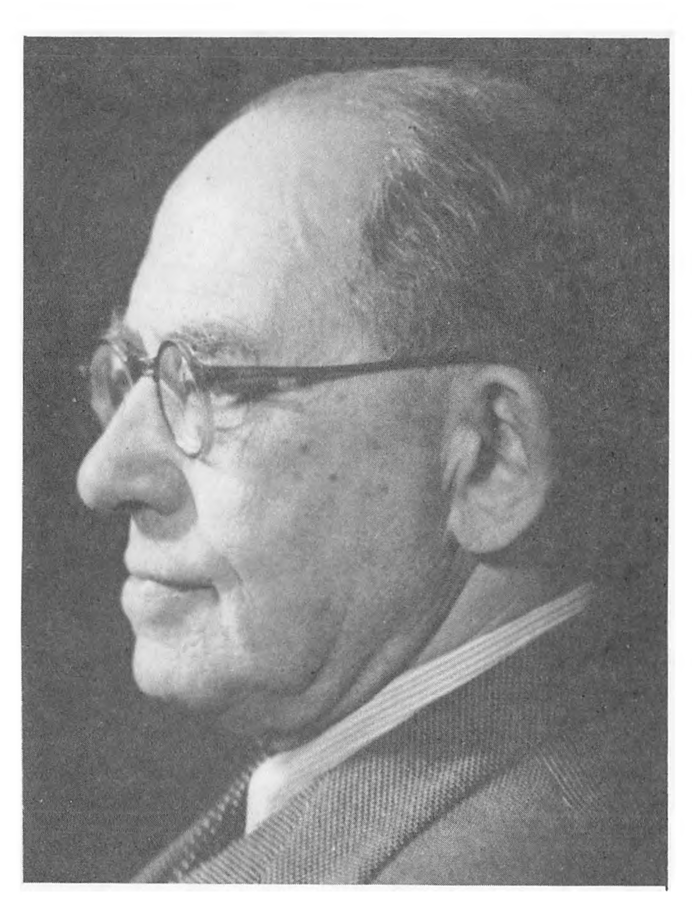
Моше Новомейский

ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ



Моше Новомейский

ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ



МОШЕ НОВОМЕЙСКИЙ

Моше Новомейский

ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1979
Printed in Israel

משה נובומייסקי
מים הבייקל לים־המלח

M. Novomeysky

I. MY SIBERIAN LIFE

II. GIVEN TO SALT

Печатается с любезного разрешения
жены М. Новомейского Б. Новомейской

Перевел *О. Минц*

Художник *Л. Ларский*

©
All rights reserved.

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה
ת.ד. 7422, ירושלים
היוצאת לאור בסיוע:
האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

סודר ב"תרבות" ת.ד. 27166, ירושליים

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Глубокий духовный кризис, охвативший широкие круги еврейской молодежи России в связи с падением недолго просуществовавшего после Февральской революции демократического строя и последовавшей за Октябрьской революцией анархией, сопровождавшейся еврейскими погромами, привел к новой волне репатриации в Эрец-Исраэль. Эта алия вошла в историю возрождения Еврейского Государства под названием Третьей алии.

С ней в страну прибыли два бывших русских революционера, достаточно далеких от еврейских корней. Первым из них был Петр Моисеевич Рутенберг, вторым – Моисей Абрамович Новомейский. Огромные знания, смелый полет мысли, незаурядная энергия и деловая напористость позволили им совершить настоящий переворот в экономике Эрец-Исраэль. П. Рутенберг создал и осуществил план электрификации страны, М. Новомейский заложил основы израильской химической добывающей промышленности.

Насколько сложны и грандиозны были эти задачи, можно понять, только познакомившись с общим положением в стране в начале 20-х годов.

Палестина, незадолго перед тем освободившаяся из-под турецкого владычества и попавшая под британский мандат, была отсталой аграрной страной. К этому следует добавить, что возврат еврейского народа "к земле" и создание класса еврейского крестьянства являлись в то время главными принципами сионизма. Прибывающие в Эрец-Исраэль еврейские репатрианты видели свою задачу в организации сельскохозяйственных поселений. Лишь очень немногие осмеливались задумываться о создании в стране собственной промышленности. Частных капиталов из-за границы почти не поступало, а британское правительство не было заинтересовано в развитии экономики подмандатной территории.

В таких условиях М. Новомейский задумал осуществить свой план разработки минеральных богатств Мертвого моря.

Приход Новомейского к сионизму на первый взгляд выглядит неожиданным. В своей книге он много говорит о любви к родной Сибири, о своей горячей заинтересованности в российских делах и участии в революционной деятельности (которая, что необходимо подчеркнуть, ограничивалась только стремлением свергнуть несправедливый и жестокий царский режим и превратить Россию в демократическое государство. П. Рутенберг был эсером, М. Новомейский — социал-демократом, но оба они оставались ярыми противниками политики большевиков). Однако уже в те годы, как явствует из его воспоминаний, Новомейского задевало пренебрежение, с которым руководители русской социал-демократии и теоретики социализма относились к еврейскому вопросу, к судьбе и будущему еврейского народа. Довольно скоро он почувствовал, что вожди русской социал-демократии — не исключая и евреев — готовы принести в жертву интересы еврейского народа, если достижение цели потребует того.

Особенно потрясла его статья Троцкого, с которой он познакомился, находясь за границей. Троцкий смешивал с грязью Герцля и в самых гнусных выражениях издевался над его национальными устремлениями. Возникает ощущение, что именно это безобразное выступление заставило Новомейского задуматься о сущности сионизма и в конечном счете привело его в число сторонников этого движения. Под влиянием идей Герцля он еще до Первой мировой войны посещает Эрец-Исраэль и уже тогда обдумывает план использования минеральных богатств Мертвого моря.

Новомейский был сибиряком в третьем поколении. На необъятных просторах Сибири в то время жили считанные еврейские семьи — потомки политических ссыльных и николаевских солдат. Можно только удивляться силе еврейской традиции, позволившей им, лишенным всяких связей с еврейскими центрами и даже с оставшимися в европейской части России родными и близкими, сохранить тем не менее еврейское самосознание и передать его детям. В детстве Новомейский получил еврейское образование и, по воспоминаниям тех,

кто знал его, с первых дней пребывания в Эрец-Исраэль говорил и писал на иврите.

Воспоминания Новомейского о годах революции и гражданской войны в России чрезвычайно интересны. Сохранилось не много столь достоверных свидетельств об этом периоде российской истории, особенно о событиях в Сибири – об отношениях местных правительств с Чехословацким корпусом, о несчастном правлении адмирала Колчака, марионетки в руках реакции, установившей черносотенный режим.

Когда стало ясно, что границы России вот-вот закроются, Новомейский решает оставить все и отправляется в Эрец-Исраэль. Путь был долгим – через Владивосток, Монголию (Улан-Батор) и Китай.

Прибыв наконец в страну, он тотчас принимается за осуществление своего плана разработки природных богатств Мертвого моря. Восемь лет пришлось ему добиваться концессии. Английские власти всячески противились выдаче концессии еврею. Раздавались даже голоса, утверждавшие, что посредством русских евреев большевики намерены прибрать к рукам Палестину – этот важный пункт на пути в Индию. Русский еврей Рутенберг уже получил концессию на электрификацию Палестины, русский еврей Новомейский собирается завладеть ценным химическим сырьем...

Всемирная сионистская организация, во главе которой стоял д-р Хаим Вейцман, впоследствии первый президент государства Израиль, горячо поддержала проект Новомейского и оказывала ему всяческое содействие. Создание предприятия могло решить проблему занятости еврейских рабочих.

Любопытно, что Новомейский, выросший среди сибирских снегов, с детства привыкший к морозам и вьюгам, не побоялся поселиться в одном из самых жарких мест земного шара. Сегодня, когда на берегах Мертвого моря кипит бурная жизнь и действуют всемирно-известные курорты, трудно представить себе то запустение, которое царило в этих местах в начале 20-х годов. Когда Новомейский обратился к британской администрации с просьбой о выдаче концессии на разработку брома и поташа, содержащихся в водах Мерт-

вого моря, первой реакцией английских чиновников было неподдельное изумление: "Но разве вам неизвестно, что белый человек не может жить в этих краях?"

Однако Новомейский с необычайным упорством продолжал добиваться своей цели. Чтобы рассеять подозрительность британских властей, он основывает фирму совместно с англичанином майором Таллоком и привлекает к участию в ней видных английских промышленников. В конце концов ему удается добиться концессии и приступить к добыче минералов.

Желая избежать новых политических осложнений, Новомейский налаживает связи с тогдашним Трансиорданским правителем – эмиром Абдаллой – и обязуется принимать на работу не только евреев, но и арабов.

Первоначально предприятие располагалось на северной оконечности Мертвого моря (там, где теперь расположен кибуц Калия). Многие рабочие тоже были сибиряками. Вслед за Новомейским им впоследствии пришлось перебраться в Сдом (библейский Содом), совершенно необитаемый и отрезанный от всего мира. Единственным средством сообщения служил пароход, курсировавший по Мертвому морю.

После провозглашения государства Израиль предприятия Мертвого моря перешли в ведение правительства. Поташ и бром составляют сегодня значительную статью израильского экспорта. Через Эйлат и Ашдод они отправляются в различные части света. Прекрасное шоссе соединяет ныне Сдом с Беэр-Шевой. Благодаря предприятиям Мертвого моря в пустынном прежде Негеве возникли новые города – Арад, Димона, Иерухам, где живут тысячи рабочих и их семьи.

Так горный инженер, прибывший из далекой холодной Сибири, подарил Эрец-Исраэль сокровища Мертвого моря и превратил его в море жизни.

Яаков Цур

Часть первая

МОЯ СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Глава первая

БАРГУЗИН

Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Молодцу плыть недалечко.

Славное море – священный Байкал,
Славный мой парус – кафтан дыроватый...
Эй, баргузин, пошевеливай вал,
Слышатся грома раскаты...

Среди великого множества городов и сел Зауралья и Сибири нет, пожалуй, более известного, чем прибайкальский городок Баргузин, откуда я родом. Баргузин с его тремя тысячами душ (я уехал оттуда в 1920 году) прославился благодаря "политическим", которых царское правительство с давних пор ссылало в этот отдаленный край, да известной песне, сложенной сибирским поэтом Омулевским.

Несколько лет тому назад я узнал от советского дипломата, получившего высшее образование в Ленинграде, что эта песня, которую мы в детстве распевали и дома и в классе как гимн в честь бежавшего из Баргузина узника, до сих пор популярна в России.

"Эй, Баргузин, пошевеливай вал!" Баргузин – это ветер, налетающий с северо-востока на Баргузинские озера, на берегу одного из которых раскинулся городок. Беглый каторжник плывет на плоскодонке по Байкалу навстречу свободе...

Если бы однажды какому-нибудь самолету пришлось сделать в Баргузине вынужденную посадку, то пассажиры вряд ли догадались бы, где они находятся. Они вполне могли бы вообразить, что внезапно очу-

тились в Альпах – в швейцарском Энгадине или французской Савойе. Тот же пейзаж – вершины и пики самых причудливых очертаний, с шапками вечных снегов, леса по склонам и приткнувшийся к подножию гор городок. Живописный бурливый ручей делит город на две части, с одного берега на другой перекинут простой деревянный мост. Ручей впадает в полноводную реку – тоже Баргузин, которая берет свое начало в четырехстах километрах от города и сорока семью километрами ниже впадает в Байкал.

Как известно, это живописное горное озеро – крупнейший пресный водоем Европы и Азии и самое глубокое озеро в мире (1620 метров). По величине оно в пять раз больше Женевского, славится сорока породами ценных рыб и богатой, редкостной, нигде более не встречающейся фауной. Что касается самого Баргузина, то он в те годы состоял почти сплошь из одноэтажных бревенчатых домишек – исключение составляли лишь каменная церквушка да два двухэтажных кирпичных дома. Сразу за городом начинался хвойный лес, тянувшийся до самых гор.

П. А. Кропоткин, известный революционер и теоретик научного анархизма, объездил эти места в шестидесятых годах прошлого века, будучи еще молодым армейским поручиком. В своей классической монографии, посвященной географии и геологии этого района, он называет местные горы, достигающие высоты почти двух тысяч метров над уровнем моря, ”баргузинскими Альпами”. Красота природы, чистый, сухой воздух и синева прозрачного неба настолько очаровали Кропоткина, что он заметил: ”Баргузину с его волшебными окрестностями куда больше подходит быть летним курортом, чем местом поселения политических ссыльных”. Правда, дачный сезон тут ох как короток – не успеешь оглянуться, а уже грянула долгая, суровая зима, – и все же странно, что правительство царской России избрало это место для политических преступников. Франция отправляла их на Мадагаскар и Чертов остров, а Великобритания –

в Ботани-бей в Австралии, где климатические условия несравненно тяжелее.

Датой основания Баргузина считается 1648 год. Эта дата застряла у меня в памяти еще с той поры, когда я протирал штаны на школьной скамье и уже был осведомлен о двух великих политических событиях, произошедших в том же 1648 году: о разгоне английского парламента Кромвелем и окончании тридцатилетней войны. Но уже тогда я понимал, что между историческими событиями в Европе и основанием Баргузина нет никакой связи.

В момент закладки Баргузин был назван не селом и не городом, а острогом – первым в цепи укрепленных пунктов, созданных для взимания ясака – дани, которой в Московской Руси и царской России облагались народы Поволжья и Сибири. Вместе с тем остроги служили местом заключения, попросту говоря – тюрьмами, и на языке крестьян "сидеть в остроге" означало сидеть в тюрьме.

Население Баргузина было главным образом городское, торговое; среди жителей встречались евреи и китайцы. Было и некоторое число мастеровых, в большинстве – потомки ссыльных. Горожане жили в небольших срубах, окруженных огородами и хозяйственными строениями, и занимались в основном извозом и рыболовством; иные промышляли пушного зверя к северу от города. Торговцы обслуживали не столько сам город, сколько его окрестности – бурятские села да рабочие поселки вокруг копей и шахт. Охотникам они поставляли снасть и провиант в обмен на пушной товар. Китайские купцы, владельцы маленьких лавок и лабазов, ладили с местным населением и заслужили его доверие. Кроме казенной палаты, в Баргузине не было ни учреждений, ни банков, поэтому деловые люди в случае надобности занимали деньги друг у друга. Помнится, раз отец послал меня, мальчишку, в китайскую лавку принести несколько сот рублей, которые хозяин лавки обещал дать ему взаймы; китаец отсчитал деньги, а поданную ему

расписку разорвал, приговаривая: "Моя это не нужно". (Китайцы усвоили до некоторой степени разговорный русский, но при этом почему-то всегда путали формы личных местоимений: "Моя сказала", "твоя ходит", "его пришла").

Одна черта отличала китайскую торговлю: в ней не было ни хозяев, ни наемных работников – господствовал кооперативный принцип. Из истории кооперативного движения известно, что эта система бытовала в Китае уже в глубокой древности.

Делами города ведал выборный совет в составе десяти – двенадцати человек, обычно – представителей городских сословий. Городская дума помещалась в маленьком, обшитом тесом домишке из двух комнат, с крыльцом под навесом на деревянных столбиках. Тут же во дворе находилась пожарная команда, которая состояла из одного, редко двух пожарников, старой ручной помпы и водовозной бочки. На каланче висел медный колокол; в набат били при пожаре или каких-либо иных чрезвычайных происшествиях. В большинстве случаев это делал собственноручно городской голова. Мощеных улиц в городе не было: забота о мостовых не входила в круг обязанностей городской думы, и улицами просто никто не интересовался. Правда, от летних дождей земля не особенно раскисала, поскольку Баргузин стоял на склоне горы, зато зимой приходилось пробираться по колено в снегу и самим торить тропинки.

Верховную власть олицетворял у нас исправник, позднее переименованный в городничего. Его власть распространялась не только на город, но и на окрестные деревни и бурятские села. В его ведении был и полицейский участок с несколькими чиновниками и десятком городовых. Отдельно от участка помещался маленький, на две камеры, острог. Помимо исправника, начальствовавшего в уезде, в Баргузине проживал так называемый "приисковый исправник", позднее получивший звание "приискового начальника", который надзирал за всеми местными рудниками. Он по-

стоянно проживал в Баргузине, но по нескольку раз в год выезжал в инспекторские поездки по округе. При нем состоял немногочисленный штат урядников, назначаемый им самим, по два человека на каждую крупную копь и по одному — на рудник поменьше. Но решающая роль во всех делах принадлежала губернскому съезду золотопромышленников под председательством городничего. Этот съезд собирался раз в год, а если требовалось, то чаще: он финансировал из своих средств весь бюджет приисковых хозяйств, за исключением оклада самого исправника, и пользовался достаточно широкими полномочиями в вопросах самоуправления. Можно сказать, что в финансовом и административном отношениях съезд обладал всей полнотой власти. Бюджет покрывался из членских взносов участников съезда, а эти взносы, в свою очередь, соответствовали размеру и доходам каждого отдельного прииска.

В мою школьную пору почту привозили один раз в неделю, по субботам; лет за десять – двенадцать до этого ее доставляли и вовсе один раз в месяц. Проведенный в эти годы телеграф соединил наш Баргузин с внешним миром, по крайней мере проволокой.

В восьмидесятые годы прошлого века в Баргузине не было ни одной школы. Политическим ссыльным воспрещалось обучать своих детей, но в обход этого свирепого указа уроки все-таки проводились — во дворах, в загонах для скота, в помещениях без окон, при свете плошек. Так учились и мои старшие сестры. Ближайшая гимназия находилась в Иркутске — по другую сторону Байкала, на расстоянии пятисот километров от Баргузина. На дорогу до Иркутска в те дни уходило от четырех до пяти дней. Немногие могли позволить себе послать детей учиться в Иркутск, а уж о том, чтобы поехать в какой-нибудь европейский университет, и речи не было.

Вокруг города, в радиусе 15–20 километров, было рассыпано множество сел, в которых проживало от ста до пятисот — шестисот человек в каждом. В 35

километрах к юго-востоку от города начинались земли бурятов – кочевого племени, пришедшего сюда, согласно предположениям, из Монголии и Китая. Там стоял бурятский храм – "Дасан", где буряты собирались в дни праздников и молений.

Многие жители Баргузина, в том числе мой отец и некоторые другие члены нашей семьи, свободно владели бурятским языком. Отцу нравились бурятские песни, он напевал их дома и в компании бурятов.

Жили буряты в юртах, отапливавшихся "по черному", неугасающим костром в полу, спали на низких топчанах, на зиму конопатили щели смесью глины с навозом, а весной уходили со стадами на летние пастбища; земледелием они не занимались, а держали крупный рогатый скот, лошадей и овец. Полоса, заселенная бурятами, тянулась на 100 километров на северо-восток, а еще севернее лежали необжитые просторы тайги. Там со своими юртами из оленьих шкур и олеными стадами кочевало маленькое тунгусское охотничье племя орочей. Их считали исконными жителями этих мест.

Окрестные села, как и все крестьянские общины Сибири, пользовались широкими правами самоуправления. Каждое село выбирало своего старшину, а все вместе они входили в своего рода "федерацию" – волость, во главе с волостным старостой. Волостные сходки принимали решения по таким насущным местным вопросам, как распределение налогов по селам, прокладка дорог, ремонт общественных зданий, покупка семян и т. п. В мое время во всей округе не было ни одного человека хотя бы со средним образованием. В 1920 году, когда я покинул Баргузин, лишь в нескольких, самых крупных, окрестных деревнях детей обучали грамоте, то есть читать и писать. Тем не менее нельзя было не заметить в крестьянской среде людей выдающегося ума и образованности. Тут явно сказалось влияние ссыльных революционеров, проживавших в самом Баргузине и по окрестным селам, – влияние, ощущавшееся во всем. Среди этих

крестьян-самоучек особенно выделялись двое, и в Февральскую революцию 1917 года мы вместе занимались организацией революционного совета, участвовали в свержении старого режима и в установлении новой власти. Оба они были значительно старше меня, и наша дружба завязалась задолго до революции. Судьба не помиловала обоих. Справедливость требует, чтобы они не были окончательно преданы забвению, и я рад случаю назвать их имена. Один из них, Василий Сергеевич Агафонов, внешне напоминал писателя Салтыкова-Щедрина: рослый, статный, с высоким крутым лбом, черной бородкой. Был он из неимущих, и выражение его лица с крепко стиснутым ртом свидетельствовало об упрямом и мужественном характере. Эти черты он и проявил в дни революции и свержения старого режима. Ходил он степенно, неторопливым шагом, говорил мало и изъяснялся коротко. На вопрос никогда не отвечал сразу: любое мало-мальски значительное дело сначала обдумывал, а потом решал – умно и тактично.

Второй, Александр Афиногенович Новиков, был человеком совсем другого склада. Приятный в обхождении блондин, среднего роста, с красивым лицом, светлой копной волос, развевающейся бородой и васильковыми глазами, он был больше похож на человека городского, чем на крестьянина, несмотря на подпоясанную кушаком русскую рубаху. В Баргузине он знался со ссыльными и, хотя учения не кончил, хорошо владел письменным слогом, так что даже составлял аппеляционные прошения в Сенат (в городе не было адвоката). Он был красноречив, остер на язык, любил шутку. Происходил из середняков – ни богат, ни беден, однако по духу бунтарь, как и Агафонов, и при смене власти поставлен был ревсоветом в начальники Баргузинского уезда. Об их дальнейшей судьбе я узнал много лет спустя, находясь уже в Эрец-Исраэль – от матери, которая, приехав в страну, привезла их запоздалый привет. Агафонова расстреляли большевики, Новиков умер в тюрьме. Обоих погубили доносы и подозрения новых правителей, после того

как оба не захотели вступить в коммунистическую партию.

Влиянием ссыльных революционеров следует объяснить тот факт, что тип баргузинского крестьянина был совсем иным, чем крестьянина европейской России. Баргузинец всегда и везде чувствовал себя независимо, не заискивал перед властями и в разговоре с любым чином держался, как равный с равным. При Столыпине, то ли в 1910, то ли в 1911 г., губернатор Забайкалья пригласил к себе в Читу на беседу ходоков из больших крестьянских сел. В те времена губернатор в этих краях был абсолютным самодержцем, лицом почти что мифическим, лицезреть которое народу случалось только по большим праздникам или во время церковной службы. От Баргузина поехал волостной староста, прозванный крестьянами "Ласточка": этой кличкой его наградили за тонкий, писклявый голос – не разговор, а щебет... Его имя и отчество мне памятны и посейчас – Михаил Герасимович, – а фамилии я и тогда, кажется, не знал. Всякий раз, как о нем заходила речь, его называли "Ласточкой", не иначе. Вернувшись из Читы, он в моем присутствии рассказал отцу о своей беседе с губернатором. После собрания губернатор принял нескольких крестьянских ходоков, каждого в отдельности. "Поздоровавшись, губернатор указал на стену, где висела большая картина в раме", – начал свой рассказ Ласточка. "А кто это, ваше благородие?" – "Самый первый среди наших министров, Столыпин Петр Аркадьевич". – "Красивый мужчина, ваше благородие". – "То-то. Мой тебе совет – купи этот портрет, забери с собой и повесь в волостном правлении. Дорого не станет – 25 рублей". – "А на кой он мне, ваше благородие? Будь иконка – другое дело: повесишь в правлении – войдет мужик, перекрестится. А от этой картины какая польза? Однако мужчина видный, это верно, ваше благородие".

Отношения нашей семьи с окрестными крестьянами были самые дружеские. Постоялых дворов в Баргузине не имелось, и приезжавшие в город знакомые

крестьяне останавливались у нас. Мы, в свою очередь, ночевали у них, когда выезжали в села. Во время таких наездов, особенно в маленькие деревеньки, я познакомился с их бытом и укладом. Я приезжал по отцовским делам – переговоры приходилось вести относительно условий поставки сырья, строительного леса, дров и т. п. Гостеприимство сибиряков славится по всей России. Особенно меня поразила одна характерная их черта – простота и фатализм в отношении жизни и смерти.

По воскресеньям крестьянки ездили в город, чтобы, распродав кое-что из домашних продуктов, купить городских товаров. Сельских приятельниц моей матери я встречал в эти дни за ее чайным столиком. Однажды, в годы Первой мировой войны, мать спросила у гостьи, получает ли та письма с фронта от сыновей. "От Николая было, а вот от Димы ничего. То ли жив, то ли мертв, не знаю", – сказала крестьянка и, степенно отхлебнув из чашки, заговорила о другом. Если у крестьянина спрашивали о причине смерти его односельчанина или родственника и если скончавшийся не страдал "животом", ответ звучал так: "Помер, потому что пришло время помирать". Это считалось настолько само собой разумеющимся, что никаких других объяснений не требовалось.

Русское население вокруг Баргузина занималось земледелием, но нехватка годных под посевы земель и суровый климат сводили все усилия на нет. Из-за засухи, посещавшей наши места каждые два-три года, местного урожая не хватало. Чтобы справиться с этой напастью – постоянной нехваткой хлеба и семян, – отец основал особый "вспомоществовательный фонд", предоставив в распоряжение волости несколько тысяч пудов семенного зерна. Оно хранилось в лабазах, специально для этого построенных. В засушливые годы его распределяли среди неимущих крестьян. В урожайный год должники обязывались вернуть семена. Отпечатанный типографским способом и утвержденный губернатором устав фонда хранится у меня по сей день.

В Баргузине и ближних селах удавалось выращивать лишь немногие виды овощей, а северней не рос даже картофель. Плодовых деревьев не было и в помине. Увидеть яблоню мне довелось в первый раз в жизни в девятнадцать лет — на Урале, когда я по окончании школы ехал в Европу. При полном отсутствии фруктов наш край изобиловал разнообразной лесной ягодой — черникой, земляникой, лесной малиной, ежевикой. Местные коренные жители, в особенности орочи, собирали чернику и голубику и бочками заготавливали ее впрок на зиму.

Итак, земледелие ввиду скудности почв и тяжелых климатических условий не могло полностью прокормить население баргузинских сел. Имелось еще три промысла, которые служили подспорьем для крестьян: рыбная ловля, охота и старательство.

Среди всех ценных пород рыбы, которая водится в Байкале, наиболее знаменит омуль, из породы лососевых. В свое время его ловили только здесь, и больше нигде. Изобилие омуля в Байкале и легкость его добычи превратили его в основной и самый распространенный продукт питания. Омуля солили бочками, перевозили в другие районы Сибири. Других методов консервирования рыбы в Баргузине тогда еще не знали.

В широко раскинувшихся лесах брали белку, песца, горностая, но особенно ценился драгоценный темный соболь. В Иркутск съезжались меховщики крупнейших фирм Лейпцига и Парижа. Здесь были торговые экспортные базы. В сейфах Лейпцига, Парижа и Нью-Йорка, в затененных помещениях, и сегодня хранятся отборные шкурки соболя с клеймом, свидетельствующим о месте добычи — Баргузине. Их держат в темноте, чтобы солнечные лучи не повредили тончайшие переливы цветов драгоценного меха.

Золотоискательство было в те времена единственной отраслью добычи полезных ископаемых в наших местах. Добывать золото в районе Баргузина начали в семидесятые годы прошлого века, а в соседней, Ленской области — в шестидесятые. В трехстах кило-

метрах от города, в пустынной тундре, где кочевали орочи, залегали золотосодержащие породы, простираясь на много сотен квадратных километров на север и северо-запад, до полноводной Лены и ее притока Витима.

В девяностых годах прошлого века была проложена транссибирская железная дорога, но Баргузин лежал от нее в 180 километрах. Путь, который вел к "железке", именовался "трактом", хотя на деле это была всего лишь вырубка шириной в пять-шесть метров. После летних ливней телеги по самую ось проваливались в грязь, а зимой зачастую невозможно было проехать из-за снежных заносов. Порой проходили недели, прежде чем вырубку расчищали от снега метровой толщины и лошади снова могли отправляться в путь.

Однажды я застрял на целую неделю на третьей от Баргузина почтовой станции, возвращаясь из Иркутска. На каждой третьей станции – а они были расположены в 25–30 километрах друг от друга – меняли лошадей. Под вечер повалил снег – огромными хлопьями, "варежками", как говорили сибирские крестьяне. Утром мы с моим спутником решили продолжить путь. Снегопад не прекращался. В шести или семи километрах от станции возница объявил, что дальше ехать невозможно. Снегу навалило столько, что лошади не в состоянии были тащить "кошеву" – широкие и глубокие сани, обитые кошмою. Не помогли все наши уговоры – возница распряг лошадей и верхом отправился назад на станцию. Мы оказались в отчаянном положении. До ближайшей станции – Горячинска (получившего свое название из-за имевшихся там сероводородных источников) было двадцать два километра. Главный врач горячинской водолечебницы состоял в приятельских отношениях с нашей семьей. Посовещавшись, мы решили, что я, как более молодой, отправлюсь в Горячинск пешком и организую помощь, чтобы вызволить "кошеву" со всеми нашими пожитками, медвежьими полостями и дорожными припасами. Одет я был в легкую меховую одежду орочей. Мой спутник,

по профессии химик, значительно старше меня, остался ждать, укутанный в тяжелые тулупы, со всей нашей провизией и моим пистолетом. Медведей, хотя они и водятся в тех местах, не приходилось опасаться: мороз был слишком силен, а снег слишком глубок – медведи уже давно залегли в берлоги. Но идти по такому снегу, когда на каждом шагу проваливаешься по пояс, было сущей мукой. К тому же у меня на одной ноге был отморожен палец – это случилось во время поездки на медные рудники, и теперь повязка очень мешала; выйдя в путь в одиннадцать утра, я прошагал до самой полуночи. В полном изнеможении добрался до квартиры доктора, разбудил его и, немного отогревшись, рассказал, в какой мы попали переплет. Хозяин уже знал, что все движение по тракту прекратилось и санные повозки, направляющиеся в Баргузин и из Баргузина, застряли в Горячинске. Он объяснил, что никто не рискнет ехать в такое ненастье; между тем снег продолжал валить. Сели пить чай. ”Есть тут один человек, из наших крестьян... – сказал доктор, поразмыслив. – Смельчак, да и мой приятель. Давно просил поставить ему банки, а я все как-то не собрался. Может быть, не откажет”. Он поднял сторожа и послал за крестьянином. Прежде чем обратиться с просьбой, доктор спросил вошедшего о здоровье и поинтересовался, есть ли еще нужда в банках. Крестьянин ответил утвердительно. Тогда врач поднес ему большой стакан чистого спирту, говоря: ”Что ж, Митрий, может, правда твоя. Так и быть, поставлю тебе банки”. Митрий просиял и рассыпался в благодарностях. ”А пока помоги мне ты”. И врач рассказал о нашем положении. ”В ночь нельзя, собаку со двора, и ту не выгонишь. Поглядим, как обернется утром”. Я беспокоился за своего спутника, хотя и был уверен, что в такую пору к нему не подступиться ни зверю, ни человеку. Утром, часов в девять, метель вроде бы поутихла. Пришел Митрий и рассказал, что напарника найти не удалось – поедет один. Он опрокинул еще один стакан спирта, запряг в сани пару лошадей и двинулся за мо-

им приятелем. Я провел тревожный день и бессонную ночь: только к следующему вечеру Митрий вернулся с "кошевой" и химиком, который оказался цел и невредим. По его словам, он почти все время дремал. Доктор сдержал слово и ублажил Митрия банками, предварительно поднеся ему очередной стакан спирта.

В тех местах часто устраивали охоту на медведей. Верховые и пассажиры почтовых повозок, бывало, видели медведей в ночное время. Волки же и вовсе были заурядным явлением. Летом, когда волки сыты, они настроены мирно и убираются, едва завидев человека; однако зимой они устраивают настоящую погоню за повозкой и кидаются на лошадей, норовят задрать их или перекусить сухожилия на ногах. Путникам приходится отгонять их выстрелами. На фабрике, где мне пришлось пробыть некоторое время, пока кончали строительство, волки выли прямо под моим окном.

Однажды летом, возвращаясь в пролетке в город, я, чтобы спрямить дорогу, поехал горами и на одном из склонов вдруг увидел стаю волков, поглощенных дележом добычи. Со мной была охотничья собака: она разразилась громким лаем, но тут же смолкла и, прижав уши, попятилась. Волки рвали на куски овцу, а может быть, задранного теленка, но один стоял в стороне и не сводил с меня глаз; точь в точь часовой в карауле. Возможно, волки менялись на этом посту, но так или иначе пришлось повернуть назад и ехать другой дорогой...

У себя на фабрике я было завел двух медвежат и двух волчат, подаренных мне моими друзьями-крестьянами в благодарность за врачебную помощь. Один из медвежат заболел и сдох, второго пришлось пристрелить, когда он подрос и стал опасен, – приручить его я не смог. Позднее пришлось пристрелить и волков.

Начало колонизации Сибири русскими относят к 1701 году, так как именно в этом году Сибирь была окончательно покорена. Однако проникновение сюда русских началось еще в одиннадцатом веке. Правда, тогда они ограничивались лишь набегами. Покорение

населявших Западную Сибирь племен и обложение их ясаком произошло в шестнадцатом веке. История завоевания Сибири связана с двумя именами, известными любому сибиряку. Это Ермак Тимофеевич, атаман разбойничьей шайки волжских казаков, грабившей русских и персидских купцов и корабли царского флота. Другая фамилия – Строгановы, семья, в XVI веке обосновавшаяся в европейской части Уральских гор. Строгановы пользовались особыми привилегиями, дарованными им еще Иваном Грозным. На своих землях они заложили шахты, где добывали соль и железную руду, а также завели собственное войско. В 1581 году Ермак двинулся за Урал во главе пятисот казаков, вооруженных и оснащенных на деньги Строгановых. Этот год считается началом завоевания Сибири. Годом позднее Ермак вступил в город Сибирь – столицу местных татар. Их хан – Кучум – бежал на юг. Спустя два года, в одну из ночей Ермак угодил в засаду, устроенную ему Кучумом. Дружина Ермака была перебита, а сам он, как гласит легенда, бросился в Иртыш и утонул. Однако через год, в 1585 году, Сибирь была вновь захвачена другой казацкой дружиной, при поддержке царских войск. После этого город был снесен с лица земли, но его название унаследовала вся огромная территория к востоку от Урала.

По всей Сибири насчитывалось тридцать четыре кочевых народа, а с началом политики вытеснения коренных жителей к этим тридцати четырем прибавились представители еще четырнадцати национальностей. Большинство населения в Баргузинском уезде составляли кочевники – буряты и тунгусы, в отличие от Западной Сибири, где русские составляли 85 процентов всех жителей, а также от Забайкалья, где русские составляли около 70 процентов.

Граф Витте, министр финансов, а позже – председатель правительственного Комитета министров, предпринял в 1903 году путешествие по Сибири и по возвращении рекомендовал в поданном царю докладе усилить заселение страны: "Плотность населения в Си-

бири нигде не превышает пропорции пять душ на квадратную версту, в то время как ее площадь в три раза больше территории европейской России".

В 1920 году, когда я покинул Сибирь, ее население не превышало 10,5 миллионов человек на территории свыше 12 миллионов квадратных километров. Согласно советским сведениям 1952 года, население Сибири достигло 22 миллионов.

Из советской литературы я старался почерпнуть информацию о судьбе и развитии города Баргузина за последние тридцать пять лет и к своему огорчению выяснил, что после основания на части Забайкалья Бурят-монгольской автономной республики город Баргузин превратился в 1927 году в село, а его население не только не увеличилось, но сократилось до двух тысяч двухсот человек. Правда, поблизости от него основан заповедник, где знаменитому баргузинскому соболю обеспечены все условия для существования и воспроизведения потомства.

Глава вторая

СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

Наказание в виде ссылки в Сибирь по понятиям прошлого века считалось особенно жестоким. Впервые эта кара в своей официальной форме была введена в 1729 году. Первыми ссыльными были приговоренные к пожизненной каторге бунтовщики и молодые люди, признанные негодными для военной службы. В более поздний период – в 1751 и 1763 годах к этим категориям присоединились еще две: гулящие девки и женщины, приговоренные к смертной казни. В 1800 году за ними последовали евреи, просрочившие на три года уплату налогов. В официальном докладе о последующей судьбе ссыльных в тот период значилось: "Смертность среди ссыльных чрезвычайно высокая. Из этапа, отправленного из Москвы и Калуги, до Сибири дошла едва четвертая часть, да и в той все совершенно сломлены".

Неимоверные тяготы, выпадавшие на долю ссыльных по дороге в Сибирь, были естественным следствием общего положения в стране. Безлюдные, необрабатываемые земли, отданные во власть отъявленных казнокрадов, не могли предоставить изнуренным ссыльным сколько-нибудь сносного приюта. Единственной целью всевластных чиновников, посланных управлять Сибирью, было как можно скорее разбогатеть и возвратиться в Москву. Многие из них печально прославились своим самодурством и жестокостью. Казнь без следствия и суда, заключение в тюрьму, палочные наказания, конфискация имущества, ссылка в места еще более отдаленные были обычными явлениями в те времена.

Из рассказов деда я узнал многочисленные подробности о ссылочной системе и тяжких испытаниях,

которым подвергались ссыльные в начале прошлого века.

Мой дед был арестован в маленьком местечке Ново-Место (отсюда наша фамилия) за помощь, оказанную польским мятежникам и предоставление им убежища во время польского восстания в 1830–1831 гг. В конце XVIII столетия и в XIX веке в Польше были предприняты три дерзкие, окончившиеся трагически попытки освободить страну от чужеземного ига: в 1792–1794, 1830–1831 годах и в 1963 году.

Многие из вождей двух последних восстаний были отправлены в Сибирь. После восстания 1863 года в Восточную Сибирь было сослано более десяти тысяч мужчин и женщин, в основном представителей интеллигенции: студентов, артистов и бывших офицеров. Среди ссыльных было также множество ремесленников. На каторгу попала меньшая часть, большинство расселили по сибирским селам. В 1866 году вспыхнуло еще одно восстание поляков, хотя и не слишком широкое по размаху, но окончившееся большим кровопролитием. На сей раз это произошло не в самой Польше, а на моей родине, на берегах Байкала.

Полное описание этого восстания, вернее – бунта, дано в книге П.А. Кропоткина "Записки революционера". Он и его брат Александр служили офицерами в Сибири, и Петр Алексеевич ходил тогда по тайге Ланско-Витимского уезда во главе географической экспедиции. Он оказался в Иркутске, когда военный суд судил мятежников, и пошел послушать дело.

В заговоре принимали участие ссыльные поляки, прокладывавшие дорогу вдоль берегов Байкала. В пору моего ученичества летом мы добирались из Баргузина в Иркутск водным путем, зимой – на санях, по тропе вдоль Байкала, замысловато петлявшей в обход громадных скальных глыб, скатившихся с гор высотой в два с половиной километра, и еще более высоких пиков, покрытых вечными снегами. Много лет спустя, во время Русско-японской войны, когда я вернулся из-за границы на работу в Сибирь, уже была построе-

на транссибирская дорога – кроме участка вокруг Байкала, – и мы ходили через озеро на ледокольных буксирах. Железную дорогу вокруг Байкала проложили только по окончании войны с Японией. Ее длина – 300 километров, и она удивительно живописна: настоящие швейцарские пейзажи с многочисленными туннелями. Дорога соединила оба плеча транссибирской магистрали: Москва–Иркутск–Байкал (западный берег) и Байкал (восточное побережье) – Чита–Владивосток.

Так дело обстояло в мое время, но в шестидесятые годы не существовало даже гужевого пути вдоль берега, и путникам приходилось одолевать неимоверной трудности спуски и подъемы. В 1866 году было решено проложить дорогу по самому берегу Байкала. Необходимо было подрывать скалы и расчищать завалы после взрывов. Вот на эту-то поистине каторжную работу и были посланы ссыльные поляки. Замученные непосильным трудом, они уговорились бежать через горы Монголии в Китай, в надежде, что там их подберут английские корабли. Они разоружили караульных, а так как у тех всего-то и было три берданки, поляки в дополнение к этому "арсеналу" раздобыли серпы.

Во главе мятежников стоял молодой пианист из Варшавы. На подавление бунта выслали войска из Иркутска. В столкновении один армейский офицер был убит и несколько бунтовщиков тяжело ранено. Военный суд, перед которым предстали пятьдесят поляков, пятерых приговорил к смертной казни. На телеграмму генерал-губернатора с просьбой смягчить наказание ответ пришел только через месяц – почтой. Генерал-губернатору предлагалось действовать по своему усмотрению, но было поздно: все пятеро, в том числе тридцатилетний пианист, возглавивший бунт, и шестидесятилетний старик, были уже казнены.

Ссыльные поляки, как и другие ссыльные, оказали определенное влияние на жизнь немногочисленного сибирского населения того времени, особенно в Иркутске. Многие из них заняли заметное место в об-

щественной жизни и в кругу деловых людей. Дед ныне знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича был директором Сибирского банка в Иркутске. Другой польский бунтарь, Войцеховский, немало сделал для становления сибирской промышленности.

В течение восьми лет моих школьных занятий в Иркутске моими ближайшими друзьями были сыновья двух польских мятежников, а третий – Шостакович, дядя композитора, поехал со мной после окончания гимназического курса за границу. Дети этих поляков, переженившись на русских, чаще всего – сибирячках, совершенно обрусели. Полякам принадлежала в этих местах ведущая роль и в развитии различных искусств.

Группу схваченных в 1831 году мятежников, в числе которых находился и мой дед, несколько месяцев протомили по русским тюрьмам, а потом отправили в Восточную Сибирь. Путь из Москвы в Баргузин – шесть тысяч километров – ссыльные проделали пешком. Через каждые 20–25 километров этап загоняли в пересыльную тюрьму или крепость, и длился этот поход почти четыре года. Партии ссыльных, по нескольку сот человек в каждой, уроженцев самых различных мест, собирали в Москве. На телеги сажали только больных, все остальные шли пешком. Два дня шли, на третий отдыхали. Кормились из расчета 10 копеек на душу в день. На эти деньги ссыльные в местах ночлега покупали еду.

Условия сибирской ссылки для евреев были особо жестокими – на то были специальные инструкции. Так, например, согласно положению, жены ссыльных евреев могли следовать за своими мужьями, подобно женам ссыльных русских или поляков; но если ссылалась еврейская женщина, ее муж не имел права следовать за ней. Еще более свирепыми были установления в отношении детей еврейских ссыльных. Женщинам любых национальностей разрешалось брать с собой детей – только не еврейкам, их разлучали с детьми. Мужчина еврей, за которым следовала жена, мог взять с собой

сыновей не старше пяти лет и дочерей не старше десяти. Единственному тогда сыну моего деда и бабки было одиннадцать; в Москве им пришлось расстаться: мальчика, вместе с другими детьми еврейских ссыльных, выслали в черту оседлости. Только через полвека, уже на моей памяти, дяде после многочисленных ходатайств было дозволено поехать в Баргузин навестить родителей. Мне хорошо запомнилась эта встреча. Бабки к тому времени уже не было в живых, а деду стукнуло восемьдесят (он скончался в возрасте восьмидесяти четырех лет). Сын, которому в год расставания было одиннадцать, приехал седым шестидесятилетним стариком и привез к деду своего сына, лет тридцати... Подобный режим в отношении еврейских ссыльных преследовал цель не дать возможности еврейской молодежи осесть в Сибири.

Рассказывая о тюремной жизни в Москве, дед часто называл имя одного замечательного человека – доктора Хесса. Видя, как тяжела бабке и деду разлука с единственным сыном, доктор обещал заботиться о нем. Приехав спустя пятьдесят лет в Баргузин, сын со слезами на глазах рассказывал о доброте этого человека. Доктор Хесс выручил его, когда его еще мальчишкой пытались заставить креститься. Этот врач пользовался огромным уважением у арестантов и московского простого люда: они называли его "святым доктором", в правительственных же кругах его считали чудаком, фанатиком и вообще крайне неудобным человеком. Тот, для кого имеет ценность человеческая личность, должен быть благодарен либеральному сенатору А.Ф. Кони, который написал о докторе Хессе книгу и таким образом сохранил память об этом выдающемся, необыкновенном человеке.

Доктор Федор Петрович Хесс, как можно догадаться по его фамилии, не был русским. Родом из Германии (родился близ Кельна), он изучал медицину в Вене и приехал в Россию в 1803 году на должность главного врача одной из московских больниц. В двадцатые годы, после того как он пришел к решению остаться в

России, его частная практика разрослась до громадных размеров и давала ему большой доход. В 1829 году в Москве открылся съезд "Общества попечения над тюрьмами". По рекомендации генерал-губернатора Хесса пригласили в члены этого общества. Этот случай совершенно переменил всю его жизнь. Он начал регулярно объезжать тюрьмы — сперва как врач, затем как заступник арестантов, и целиком отдался этому занятию. Свою практику он забросил, а все сбережения истратил на помощь заключенным. Тюрьмы и в те времена наводили ужас: сырые, холодные, грязные помещения, набитые полуголыми и полуголодными людьми. Относились к ним беспощадно. Чтобы по-настоящему понять, что испытывает арестант, Ф.П. Хесс надевал на себя кандалы и ходил с этапом. Он делал все, что мог, чтобы помочь осужденным, добивался смягчения судебных приговоров, освобождения больных, закупал одежду, расходуя на это и собственные средства, и деньги крупного фонда, который с этой целью основал. Так он действовал изо дня в день в течение 23 лет. Отец рассказывал, как, являясь по ночам в камеру к какому-нибудь больному, "святой доктор" доставал из своих обширных карманов не только простую еду, но и всякие яства и раздавал заключенным. Для этого он взял себе за обыкновение ездить к дамам из высшего общества, которых когда-то пользовал, и уносить с собой угощение. Дамы, зная уже эту слабость доктора, выходили из комнаты или деликатно отворачивались, чтобы он мог без стеснения набить карманы.

Этот удивительный человек умер в маленькой квартире при полицейском госпитале, основанном по его настоянию и прозванном москвичами "больницей Хесса".

...Но и тех, кому посчастливилось добраться живыми до мест принудительного поселения, ожидала далеко не легкая жизнь. Баргузин насчитывал тогда лишь несколько сот жителей, и с внешним миром его связывала одна-единственная гужевая тропа. Правда, отношение старожилов к новичкам было поистине трога-

тельным – старики помнили, каково было им самим начинать ссыльную жизнь, – и тем не менее нелегкой была борьба за существование на новом месте. Придя в Баргузин, дед узнал о другом еврее – первом в этих местах. Тот проживал в семи километрах от города, в маленьком селе, которое насчитывало 70–80 душ. Когда дед разыскал своего единоверца и пришел к нему, тот выставил на стол местное угощение – миску кедровых орехов. При этом он сказал: "Грызи орехи, придет нищий – будет у нас хлеб". Ссыльные были столь бедны, что покупали хлеб у тех, кто ходил по избам и просил подаяния.

Первые деньги на новом месте дед получил за то, что выкопал подпол в доме декабриста Кюхельбекера. Политических преступников в XVII веке не ссылали в Сибирь, кроме отдельных случаев; самый памятный из них связан с великим Радищевым: его долго содержали в тюрьме и наконец в 1790 году сослали под Иркутск, в Илим. В политическую меру ссылка превратилась в 1826 году, когда Николай Первый сослал в "места не столь отдаленные" 116 участников декабрьского восстания 1825 года.

Декабристов отправляли в Сибирь группами по четыре-пять человек и селили по медвежьим углам в большом отдалении друг от друга. Первую партию, наиболее многочисленную, долго держали в селе Петровский Завод Забайкальской области, граничащей с Баргузинским уездом.

В Баргузин были сосланы братья Кюхельбекеры – Михаил и лицейский друг Пушкина Вильгельм. Позже Вильгельма переправили в другое место, а Михаил так и остался в Баргузине, не уехав и после помилования. Его прах покоится на маленьком баргузинском кладбище, и во время Февральской революции на его могилу возлагали цветы. Жители Баргузина чтили память одного из первых борцов за свободу России.

До самого последнего дня я жил в Баргузине в доме Кюхельбекера – маленьком строении с причудливым мезонином. Я старался ничего не менять в оригиналь-

ном облике дома, довольствуясь только самым необходимым ремонтом. В этом доме Кюхельбекер принимал больных, помогал жителям и знакомил местную молодежь с азами тогдашней медицинской науки. До замужества моя мать вместе с другими девушками училась в этом доме ухаживать за больными, пользоваться травами и другими средствами народной медицины. В нашей семье врача приглашали только в случае тяжелой болезни, а вообще мать лечила нас сама, руководствуясь знаниями, приобретенными у Михаила Карловича Кюхельбекера, о котором она всегда вспоминала с благоговением.

После смерти Николая Первого и восшествия на престол (в 1856 году) Александра Второго все декабристы были помилованы, но к тому времени в живых осталось лишь двадцать – двадцать пять человек, да и те так настрадались за тридцать лет ссылки, что в большинстве своем предпочли остаться на месте и окончить свои дни в Сибири.

Среди политических ссыльных одни попадали в Баргузин по отбытии каторжных работ, другие с приговором к пожизненной ссылке или на определенный срок. Одних ссылали по суду, других – в административном порядке.

Жестокая расправа с декабристами пресекла надолго всякие организованные попытки борьбы с самодержавием. В конце пятидесятых и в шестидесятые годы в Сибирь ссылали поодиночке узников после пребывания в казематах Петропавловской крепости. Большинство из них были учеными, писателями, философами, проповедывавшими в своих трудах революционные идеи. Имена их ныне известны всему миру. Четыре года в омской каторжной тюрьме просидел Достоевский. Семь лет на рудниках в Нерчинске провел Чернышевский, после чего был осужден на вечное поселение в Сибирь. В баргузинской тайге, куда я ездил по роду своих занятий, мне однажды повстречался человек по фамилии Козлов. Этот Козлов в свое время был приставлен в качестве стражника к Чернышевскому и не-

отлучно находился при нем. "Я у него многому научился, – говаривал Козлов, – это была хорошая школа". Он рассказал, как после убийства Александра Второго в 1881 году ему было приказано не говорить Чернышевскому, что царь убит, а сказать, что царь, мол, преставился.

– Ну, что сегодня хорошего, Николай Ефимович? – спросил по своему обыкновению Чернышевский, когда Козлов пришел вести его на прогулку.

– Ничего хорошего, Николай Гаврилович. Царь, наш батюшка, преставился.

– Умер, говоришь? – сказал Чернышевский, явно сомневаясь в словах Козлова.

– Так точно, Николай Гаврилович, скончался.

Чернышевский помолчал, потом махнул рукой:

– Другой сядет на его место.

Хотя в тот период Чернышевский, по-видимому, не возлагал больших надежд на революцию, смерть царя облегчила его личную участь: по амнистии, объявленной по случаю воцарения престолонаследника, Чернышевскому было разрешено вернуться в европейскую часть России, хотя и не в столицу.

Общественно-политическое движение, известное под названием народовольчества, возникло лишь в 1873–1876 годах, и тогда же была основана организация "Земля и воля". Пять лет спустя (1878–1881) была основана "Народная воля", организовавшая 1 марта 1881 года убийство Александра Второго. Участники этих двух организаций весьма заметно пополнили собой население сибирских городов и сел, а после основания в начале девяностых годов Социал-демократической партии к ним присоединились и ссыльные социал-демократы. Все они продолжили работу, начатую 50 лет назад декабристами, по воспитанию молодежи в селах и городах Сибири. В Баргузине тоже нашли пристанище некоторые видные представители этих партий – одни после отбытия каторжных работ на рудниках, другие просто сосланные. Знаменитая на весь мир "Бабушка русской революции" Екатерина Брешков-

ская попала в Баргузин не то в 1879, не то в 1880 году и прожила тут два года. Когда она жила в ссылке в деревушке Селенгинске в Зауралье, американскому путешественнику Джорджу Кэннону удалось с ней встретиться (это было в 1888 году); в своей книге "Тюрьмы в Сибири" он описал организованный "Бабушкой" дерзкий побег трех ссыльных из Баргузина через тайгу, на океанское побережье. На прощание она сказала американцу:

– Мы умрем в ссылке, и наши дети, и, может быть, наши внуки. Но в конце концов из этого что-нибудь получится.

Подробности побега из Баргузина, организованного ею в 1881 году, долго служили темой для разговоров в нашей семье, так как исправник, который все-таки изловил беглецов, выйдя в отставку, поселился в Баргузине. Это было не диво: здоровый климат, красивая местность, дешевизна жизни и хорошие отношения с местными жителями были достаточной причиной, чтобы не расставаться с нашим городом. Владимир Ефимович Языков, арестовавший Брешковскую с ее тремя попутчиками, уже состарился, и порой ему изменяла память. Он подружился с моей матерью и частенько приходил чаевничать к нам. Мой младший брат, лет двенадцати-тринадцати, великий проказник, всегда задавал Языкову – для увеселения присутствующих – один и тот же вопрос:

– Как же было дело, Владимир Ефимович, как это вам удалось поймать Брешковскую?

Огладив ладонью лицо со лба до подпородка, Владимир Ефимович в сотый раз принимался за рассказ. Беглецы, во главе с Брешковской, одолели горные перевалы; затем они углубились в тайгу, имея на руках карту и компас и держа путь на восток, к берегу океана. Следы их надолго затерялись. Однако случайно подле одного из горячих сероводородных источников, каких много в Баргузинском уезде, сидел больной бурят: этой водой тогда лечились от всех болезней. Бурят заметил проходивших и сооб-

щил жандармам. Сам он через несколько дней умер, но встреча с ним оказалась для участников побега роковой.

– И вот, смотрим, – рассказывал отставной исправник, – костер на вершине. Не иначе они. Ведь кому там быть, ежели не им? Послал людей наверх, сам стою внизу. Дал приказ обыскать до нитки. Вижу, подходит мой урядник к Катерине. Та в крик: "Ты что, спятил!? Ну, давай, подходи, в таком случае, поближе", – а сама руку в карман. Кричу ему наверх: "Стой, не надо!"

– А почему вы сами к ним не пожаловали и почему велели прекратить обыск? – невинно интересовался брат.

– Дурачок, не знал ты Катерины. Ей ведь все трын-трава. Разве она меня пожалела бы? Всадила бы пулю – и дело с концом, а ведь жизнь дадена человеку только раз.

Рассказ этот раз от разу повторялся и хорошо мне запомнился.

Екатерина Константиновна Брешковская происходила из аристократической семьи, владевшей поместьем в Черниговской губернии. Она была рано выдана замуж, родила ребенка, но внезапно бросила семью и "пошла в народ". Сына Брешковской взял ее брат и воспитал в своем доме.

Брешковская была отдана под суд в связи с делом, известным в истории революционного движения как "дело 193-х". В девяностых годах я встречался в Баргузине и в Иркутске со многими ссыльными, осужденными по тому же процессу. Большинство попало сюда после каторги. Один из самых известных осужденных – С. Л. Чудновский – проживал в Иркутске до 1892 года. Жители Иркутска перед ним преклонялись и буквально ловили каждое его слово. У его жены, долгое время жившей в Англии, я выучился английскому (после того как поставил себе целью попасть в английский университет). Другим известным революционером, осужденным по тому же делу, был Марк Андреевич Натансон, один из основателей эсеровской

партии. С ним я встречался позже в Иркутске в доме сестры, уже в 1905 году. В 1908 году он был одним из трех судей, приговоривших к смерти провокатора Азефа.

Когда Брешковская очутилась в Баргузине, ей было тридцать с небольшим. Если бы она переоделась в мужское платье, никто в ней – высокой, плотной, с крупными чертами лица и гривой стриженых волос – не угадал бы женщину. С нею вместе доставили несколько других ссыльных народовольцев, в том числе Н. С. Тютчева, который впоследствии активно участвовал в боевой эсеровской организации и, сам того не ведая, привел в ряды петербургского отделения организации провокатора Татарова. Большую часть времени в ссылке Брешковская посвящала воспитанию детей, хотя это занятие было под запретом и велось нелегально. Среди ее учениц была моя младшая сестра, а также дочь Сырошевского, друга Брешковской, ставшего потом известным польским писателем. Он был сослан на дальний Север, в поселение чукчей.

Революционный путь Брешковской поистине фантастичен. После неудачного побега ее отправили на каторгу. Отбыв срок, она вернулась и снова бежала, и опять была поймана, а затем сослана.

Я помнил ее такой, какой она была в пору моего юношества. Спустя 15 лет я снова встретил ее – во время ее короткого пребывания в Петербурге: после продолжительных ходатайств ей было дано разрешение поехать в столицу на свидание с сыном. Меня, студента, она приняла как близкого человека. Так она вообще относилась к молодежи. Я же для нее был еще и сыном ее баргузинских друзей.

Мы уговорились ежедневно обедать вместе и, поев, часами гуляли и осматривали достопримечательности Петербурга. Когда она разлучилась с сыном, это был трехмесячный младенец, а теперь она застала взрослого человека, писаря акцизного ведомства. Мать знакомилась с сыном, пыталась его понять и говорила со мной о своих впечатлениях и желании наставить его на приемлемый для нее путь.

— Он начал пописывать немного, — рассказывала она мне. — Способности есть, но сделать из него человека — задача чрезвычайно трудная. Сомневаюсь, получится ли это у меня. Положу на это еще месяц и, ежели ничего не добьюсь, оставлю его в покое и уеду.

Но еще до того, как она сама убедилась в своем поражении, я уже знал, что все ее усилия напрасны и дело это безнадежное. Пригласив меня как-то воскресным днем на прогулку, ее сын, Николай Николаевич, спросил:

— Вы давно знаете мою мать и дружите с ней, какого вы о ней мнения? Встречались вам такие люди? Ведь она не в своем уме.

Перед отъездом из Петербурга Брешковская мне сказала, что все усилия были напрасными, она расстается с сыном и больше не будет делать попыток с ним свидеться. Когда она вернулась в Сибирь, чтобы продолжить прерванную работу, ее духовные сыновья и внуки повсюду встречали ее как мать, а позже — как бабушку...

Через пять-шесть лет, а особенно в годы Первой мировой войны, ее сын Брешко-Брешковский завоевал популярность в качестве бойкого корреспондента бульварной прессы. Он сочинил и несколько посредственных романов, но это была не та слава, которой желала для него мать. Во время войны, в 1915 году, я случайно встретил его в Петербурге. Это уже не был стриженый ежиком молодой акцизный чиновник: он был одет с иголочки, в цилиндре, отпустил длинные волосы, знался с придворными славянофилами. Ему и в голову не пришло спросить меня о здоровье матери.

Когда Брешковская сидела в тюрьме в Петербурге, где свидания ей были разрешены только с родными, друзья просили сына навестить ее, но он отказался.

Брешковская дожила до преклонных лет. Она была героиней революции 1905 года, но особенно — Февральской: по распоряжению Керенского ее доставили в Петербург специальным поездом, и массы устроили ей восторженную встречу на вокзале. Осенью 1918 года ей, как старейшей из делегатов, были возда-

ны почести на совещании, которое собралось в Уфе для создания всероссийской верховной власти и освобождения страны от большевиков.

В мае 1929 года, через тридцать два года после моей встречи с Брешковской в Петербурге, мне довелось снова увидеть ее, уже на склоне лет. Будучи проездом в Париже, я узнал, что "Бабушка" находится здесь и живет в доме у Керенского, который всегда относился к ней заботливо и любовно. В Париж ее привезли из Праги на операцию – надо было прооперировать глаз. Здесь, в январе 1929 года, ее русские и чешские друзья отпраздновали ее восьмидесятипятилетие. После поражения Февральской революции она бежала в Прагу, воспользовавшись, подобно многим революционерам, гостеприимством страны Массарика.

Я пришел к ней, не предупредив предварительно о своем визите, и застал ее сидящей в кресле, в платке, повязанном вокруг головы. Поздоровавшись, я поцеловал ее и спросил:

– Бабушка, вы меня узнаете?

– Нет, не узнала, но вижу, что вы мой друг, иначе бы вы меня не поцеловали.

Я назвал свою фамилию.

– Ты, Миша?! – воскликнула она. – Ну, давай-ка садись, рассказывай! – Расспросив о матери и других родных, она попросила: – А теперь расскажи, пожалуйста, как это ты добываешь асфальт из Мертвого моря? Ты работаешь вместе с Петром? Он говорил о тебе.

Петр – это Пинхас Рутенберг, ставший известным после январских событий 1905 года и шествия к Зимнему дворцу, организованного Гапоном. В дни кризиса, после отстранения Керенского, он был назначен на ответственный пост и в ночь на 7 ноября 1917 года, во время осады Зимнего дворца большевиками, находился там вместе с "Бабушкой"*.

---

* В 1920 году Рутенберг поселился в Эрец-Исраэль, получил концессию на электрификацию страны и осуществил эту грандиозную по тем временам задачу.

Пришлось подробно изложить "Бабушке" методы добычи химических солей из Мертвого моря. Ее вопросы были содержательны, и ясность ее памяти и ума повергли меня в изумление. Как ей удалось сохранить интерес ко всему на свете – после полувекового "хождения в народ", тюрем, каторги, побегов и ссылки?

Она послала горничную за Керенским, который жил этажом выше. Керенский пришел, и завязалась общая беседа. "Бабушка" подарила мне свою фотографию, сделанную в день ее восьмидесятилетия, и сказала, указывая на Керенского:

– Гляди, что надо мной сотворили. Выставили на потеху перед всем миром, словно я какая-нибудь икона богоматери. Я его предупредила, что ничего подобного ему не позволю, когда мне стукнет девяносто.

Узнав, что я женат, она попросила, чтобы жена зашла к ней:

– Хочу на нее посмотреть.

Простился я с нею с тяжелым сердцем – чувствовал, что больше уже не увижу эту самую замечательную из женщин, повстречавшихся на моем пути.

На следующий день, перед отъездом из Парижа, я попросил жену зайти к "Бабушке" и передать ей от меня пару теплых перчаток: пожимая ей руку при прощании, я ощутил, как старчески холодны ее пальцы. После жена мне сказала, что "Бабушка" ее совершенно обворожила. Старуха между прочим поинтересовалась:

– А Миша не боится оставлять вас в Париже одну, ведь вы молодая?

После возвращения в Прагу Екатерина Константиновна скончалась. Она сдержала слово и не позволила, чтобы ее "выставили на потеху" в девяностый день ее рождения.

Ей и ее ссыльным соратникам жители Баргузина обязаны тем, что их дети получили начальное, а некоторые – даже высшее образование, и тем, что восприняли идеи борьбы за свободу, принесенные ссыльными в Сибирь во всей свежести и непорочности, несмотря на принятые за эти идеи тяжкие муки.

Глава третья

В ШКОЛЕ (1885 – 1897)

Основателем нашего рода считается дед со стороны отца, попавший со своей женой в Баргузин еще молодым человеком, в тридцатые годы прошлого столетия. Лет десять спустя приехал в Баргузин мой прадед со стороны матери. Дед со стороны отца попал в Баргузин на пожизненную ссылку после многочисленных отсидок по тюрьмам и четырехлетнего пешего этапа, о котором я уже рассказывал; что касается моего прадеда со стороны матери, то его, уроженца Одессы, сослали в административном порядке на двадцать лет, без поражения в правах.

По рассказам мамы, прадед мой был одним из самых ученых одесских талмудистов. Вследствие интриг в еврейской общине Одессы он был оклеветан своими противниками и, так как последние имели "руку" среди властей, сослан в Сибирь. Этот мой прадед, именем которого меня нарекли, не испытал тех невзгод, что выпали на долю деда по отцу. У него были деньги, и поэтому ему не пришлось добираться до ссылки пешком. Однако и он не вернулся в Одессу – к тому времени, когда истек двадцатилетний срок ссылки, его уже не было в живых.

Кроме моей матери, в Баргузине у него родились еще и другие внуки и внучки, и никто из них не собирался уезжать в Одессу. Но вышел указ, согласно которому после смерти прадеда они были обязаны туда вернуться. Ходатайства ни к чему не привели, и все члены семьи – за исключением мамы, которая к тому времени вышла замуж, – вынуждены были пуститься в обратный путь. Итак, в сороковых годах их выслали из Одессы в Баргузин, а в конце шестидесятых – отправили назад из Баргузина в Одессу.

Таким образом, мне не довелось познакомиться с мамиными родственниками, покинувшими Баргузин еще до моего рождения.

Дед и бабка, родители отца, в первые годы своей баргузинской жизни не могли выбиться из нужды. Нелегко было просуществовать в маленьком селении, насчитывавшем всего несколько сот душ. Дед инициативой не обладал и был погружен в изучение священных книг. Я его хорошо помню, – когда он скончался, я был уже школьником, – красивый старик с окладистой седой бородой, свежим лицом и румянцем на щеках, которого не согнали ни тюрьма, ни страшный пеший переход из Москвы в Сибирь. В детстве мы были убеждены, что он таков, потому что никогда в жизни не утруждал себя работой. И действительно, по натуре он был бездельником, и ничто его не трогало. Нам, однако, нравились его приятная внешность и опрятность в одежде. Нас он баловал, и мы его любили за доброту и за бесконечные истории, которые он рассказывал о жизни в Польше, о польских магнатах, и в особенности о графе Потоцком. Дед любил пропустить рюмочку, но не хмелел, и пьяным мы его никогда не видели. По нескольку раз в день он прикладывался к графинчику, который держал под столом, – видно, стесняясь нас, детей; мы же делали вид, что ничего не замечаем, хотя, разумеется, прекрасно знали секрет.

Все тяготы жизни в Баргузине легли на плечи бабки. Она была и кормильцем, и опорой семьи. Но время шло, и материальное положение семьи упрочилось – трудами и заботами бабки. Она очень скоро сообразила, что нет тут лучшего источника дохода, чем вывоз рыбы. Байкал и наша река изобиловали рыбой; бабушка узнала, что иные из крестьян зимою возят мороженую рыбу за Байкал, в большие села Иркутской губернии, богатые хлебом, и выменивают там на муку, в которой обычно нуждался Баргузинский уезд. Она вошла в компанию с одним из крестьян и не прекрати-

ла своих торговых поездок, даже когда была беременна моим отцом. Торговля рыбой давала ей средства не только на прокорм семьи, но и на то, чтобы пригласить к сыну учителя.

Отец унаследовал от матери ее энергию и расторопность и уже в пятнадцать лет сделался ее правой рукой и помощником. Через некоторое время он купил лошадь, сбрую, телегу и сани, дополнив зимний промысел матери подвозом провианта и снаряжения на открывшиеся тогда новые рудники. Так наша семья начинала жизнь на новом месте. Бабку я почти не помню – она умерла, когда мне было три с половиной года. Зато мне в память врезался день ее смерти и похороны. В последний путь бабку провожало много народу: ее любили и уважали за доброе сердце и отзывчивое отношение к людям.

Мой отец и мать родились в одном и том же году и поженились, когда обоим было по шестнадцати лет. Со временем мать стала основательней отца характером и проницательней умом: хотя был он человеком дельным и трудолюбивым, в нем чувствовалось много детского. Мать любила рассказывать, как по случаю их помолвки – за год до свадьбы – бабушка наготовила сласти и пирожные для гостей. Все продукты хранились в подполе. В каждой избе в полу горницы или кухни было покрытое деревянным щитом отверстие, которое вело в подпол глубиной в два – два с половиной метра. Там держали молоко и другие продукты, сберегая их зимой от мороза, а летом от жары. Когда собрались гости и бабушка спустилась в подвал за угощением, она к своему ужасу увидела, что от сладкого остались одни крошки: отец время от времени лазил в подпол и "пробовал" пирожные. Он был ужасный сластена, и, должен признаться, я унаследовал эту его склонность.

Отец отличался железным здоровьем. Зимою он парился в бане на верхней полке, а затем выскакивал в сугроб, растирался по крестьянскому обычаю снегом и снова бежал в парилку.

В молодости мать работала как каторжная, да и тогда, когда дела пошли на лад и у мамы в помощницах были три-четыре девушки-крестьянки, она продолжала трудиться не покладая рук. К этому вынуждали примитивные условия жизни в заброшенной деревушке. Воду брали из реки и возили в бочках на телеге. Из бочек воду переливали в бадью, которую можно было поднять только вдвоем. В зимнее время, когда река была скована льдом, это оказывалось непростым и нелегким делом. В селении не было ни пекарни, ни булочной, ни бани. Все делалось дома. Каждой семье приходилось заготавливать на зиму мясо. Осенью резали скот, чтобы наморозить мясо на весь зимний сезон, а также солили овощи. Кухарок не было. Моя мать была мастерица на все руки и учила других женщин своему искусству. Сведуща она была и по части огородничества, любила это дело и держала большой огород. У нас были свои коровы, птичник, свое молоко, масло, сыр и яйца. У меня и сегодня стоит перед глазами картина, которую я наблюдал всякий раз, возвращаясь домой на каникулы, – мать с утра до вечера хлопочет по хозяйству, дом полон ребятишек – в двадцать восемь лет у нее было уже шестеро детей.

Отец был занят своими делами. Сначала он разъезжал с продуктами по окрестным рудникам, но со временем сам взялся за горное дело, сначала на арендованном участке, а после – на делянках, приобретенных у известных в Сибири золотоискателей: Сибирякова, Базанова и Базилевского, покинувших край и переселившихся в Москву и Петербург. Отец был любитель лошадей и большой их знаток. В Баргузине он держал десять–двенадцать лошадей, а на соседнем прииске, где имелись просторные пастбища, постоянно выращивал по пятьдесят–шестьдесят голов молодняка. И брат мой, живший здесь же, на прииске и ходивший за лошадьми, унаследовал от отца эту страсть. Для верховой езды вывели особую породу низкорослых плотных лошадок с дробным шагом, обеспечивавших

седоку, даже при езде на большие расстояния, твердую и удобную посадку в седле. За нашими баргузинскими лошадьми ухаживали конюх с подконюшенным; этот конюх постоянно сопровождал отца во время поездок в тайгу. Мы, дети, были чрезвычайно довольны демократическим отношением наших родителей к крестьянским парням и девушкам, бывшим у них в услуге. Никогда они не позволяли себе грубого слова, и когда мать уезжала в дальнюю поездку или возвращалась, то всегда целовалась со своими девушками. Не было никаких национальных и расовых различий. Отношение к служившим у нас было одинаковое, евреи ли они, русские или буряты. Когда я подрос, то понял, что у матери это шло от глубокой душевной мудрости, а не какого-то расчета. Я думаю, что только благодаря ей никто из нас не пострадал от большевиков. У нас, разумеется, отобрали все до нитки, но никто не был арестован и никому не причинили зла. Когда в Баргузин пришла советская власть и представители ревсовета явились к маме (отца уже не было в живых) на реквизицию, она им безмятежно ответила:

— Но как вы со всем этим обернетесь? У вас же нет амбара, куда сложить. Вот вам ключи от клети и кладовок, возьмите сколько вам на сегодня требуется, верните ключи и приходите снова.

— Ладно, бабуся, давай ключи. — И после того, как забрали часть, отдали ей ключи. Так повторялось несколько раз.

Детям и внукам мама сказала:

— Не злобьтесь на них: мы повидали жизнь и достаток — теперь и они хотят.

В самый разгар гражданской войны, в 1921 году, мать уехала из Баргузина с двумя дочерьми, внуками и внучками в Читу, а оттуда в Китай. Она сделала это с разрешения местного ревсовета, и в дороге никто их пальцем не тронул.

К гимназии меня подготовил один из ссыльных революционеров. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, отец отвез меня в Иркутское техническое учили-

ще. Из шестерых детей – трех братьев и трех сестер – я первым покинул отчий кров. Две старшие сестры обучались дома у преподавателей-ссыльных. В те времена не было принято посылать девочек в гимназию, а средств отца хватало на содержание в Иркутске только одного из трех сыновей. Старшая моя сестра в 1890 году вышла замуж за Цукасова и переехала в Иркутск. Она директорствовала в народной школе, которую основала вместе с подругой, госпожой Помус. Всю жизнь она проработала в области народного образования. В 1917 году ее дом превратился в место встреч старых революционеров, вернувшихся с каторги: народников, народовольцев, а также представителей нового течения – молодых ссыльных эсдеков. Некоторые из них впоследствии вошли в состав нового правительства, возникшего в результате революции 1917 года.

Сестра вела в Иркутске двойную жизнь. С одной стороны, она вращалась в буржуазном обществе и была известна всему городу. Ежегодно она устраивала благотворительный бал в пользу школы, которую возглавляла, и на это празднество, считавшееся одним из "гвоздей" сезона, съезжалась вся денежная знать Иркутска. Платья для этого бала она выписывала почтой из Парижа, – как все местные богатые дамы. Праздник открывал генерал-губернатор Восточной Сибири, имевший резиденцию в Иркутске: он входил в зал, шествуя рука об руку с моей сестрой. Однако сестра, наряду с работой в школе, занималась деятельностью в Социал-демократической партии, которая в то время находилась под строжайшим запретом. Она принимала и прятала в своем доме членов партии, снаряжала их в дорогу, организовывала побеги и брала на себя любую черную партийную работу. В 1911 году она была арестована на нелегальном съезде в Москве, несколько месяцев просидела в Бутырках, тяжело там заболела и, когда врачи от нее отказались, была передана на попечительство матери, приехавшей за нею. В санатории под Варшавой она поправилась и возврати-

лась в Иркутск. После Февральской революции она переехала на жительство в Москву, отошла от всякой политики и ограничилась работой в Наробразе. В начале последней войны сестра была эвакуирована в Ташкент, но, узнав, что сын, который ушел в армию добровольцем, и только что мобилизованный внук пали на фронте, вернулась в Москву и вскоре скончалась.

Вторая моя сестра рано вышла замуж и посвятила себя семье. Но и она – подобно матери – следила из Баргузина за жизнью ссыльных революционеров.

Брат, моложе меня на два года, некоторое время обучался в техническом училище, потом заболел: его забрали домой в Баргузин, и он продолжал учебу у ссыльных преподавателей. Судьба его оказалась труднее моей. В двадцать один год он был призван в армию, прослужил четыре года и участвовал в походе международных экспедиционных войск, вступивших в Пекин для подавления Боксерского восстания. Через десять лет, во время Русско-японской войны, был снова мобилизован и служил в чине унтер-офицера.

Второй брат тоже не закончил ученья. Накануне выпускных экзаменов в гимназии он был арестован и обвинен в пропаганде против существующего строя. Два года его продержали в тюрьмах, – сначала в Иркутске, затем в знаменитом Александровском централе, где за 35 лет до того сидел в заключении Н. Г. Чернышевский. В конце концов брата в административном порядке, то есть без суда, "определили" на четыре года ссылки.

Не приходится удивляться, что уже в раннем возрасте я понимал, что наша семья не слишком благонадежна в глазах властей, которые, конечно, знали о наших взаимоотношениях с ссыльными в Баргузине. Ссыльные бывали у нас дома, иные жили подолгу, учили детей, хоть и неофициально, многие у нас работали. Арест и высылка брата усилили интерес жандармских чинов к нашей семье. Мне пришлось вскоре убедиться, что мы находимся под постоянным наблюдением. В это время – в 1903 году – я возвра-

щался из Германии вместе с сестрой, которая тоже училась за границей, и когда, направляясь в Иркутск, мы проезжали Москву, к нам привязался какой-то субъект. Он слонялся возле нас на вокзале, пытался завязать знакомство, за ужином уселся за наш столик и разыгрывал пьяного перед официантом. Это был совершенно очевидный шпик. В сибирском экспрессе мы заняли отдельное купе. Возвращаясь из вагон-ресторана, я заметил выскочившего из нашего купе человека. Книга на столике лежала не там, где я ее оставил. Итак, шпик последовал за нами. Я решил поменяться с ним ролями и начал выслеживать его. Сестра разволновалась и потребовала, чтобы я дал ему пощечину, если еще раз поймаю его в купе. Изловить его мне не удалось, но на омском вокзале мои подозрения полностью подтвердились. Он сошел на перрон с небольшим чемоданчиком в руке. Я последовал за ним – хотел выяснить, куда он пойдет. Он вошел в жандармское отделение и в вагон больше не вернулся. Полтора года спустя, когда я сидел в заключении в крепости, жандармский генерал Иванов спросил меня на допросе:

– Кто эта дама, что возвращалась с вами из-за границы в 1903 году?

А шпик, который тогда за нами увязался, был среди свидетелей, вызванных, чтобы меня опознать.

Когда я вернулся в Баргузин, к нам однажды вечером зашел под каким-то предлогом урядник, навещавший изредка наш дом. Это был простой, ограниченный и в общем-то невредный человек. Во время разговора он вдруг спросил:

– А что, Ага Абрамовна (так звали мою сестру) все еще учится за границей?

– Да нет, – говорю, – домой вернулась.

– Что ж это я натворил, написал, что еще за границей сидит!

– Кому написали, Иван Глебович?

Он смутился, покраснел и после короткой заминки признался:

– Ну, вам можно открыть секрет. Уверен, что вы никому не расскажете. Велено мне из месяца в месяц писать рапорт о вашей семье, и посылается этот рапорт в главное жандармское управление.

Моя младшая сестра вышла замуж за доктора Мандельберга, тоже сосланного в Иркутск, одного из основателей "Союза социал-демократических рабочих Сибири". Позднее он стал одним из лидеров меньшевистской фракции в социал-демократической партии и депутатом Второй Думы. Когда Столыпин учинил разгон Второй Думы и арестовал почти всю оппозицию, Мандельберг бежал в Финляндию. Некоторые из арестованных были отправлены на каторгу, но он продолжил свой путь в Италию, поселился и практиковал как врач в Нерви, по соседству с Генуей, и вернулся в Россию только после Февральской революции. Временное правительство назначило его главным военным медиком Петрограда.

...Итак, я поступил в первый класс семилетнего технического училища в Иркутске. Через несколько лет его расширили, продлив обучение на два года и превратив в фабрично-техническое училище, выпускавшее техников. Новый тип школ был, по-видимому, учрежден с целью отвлечь молодежь от классических гимназий. Для завоевания молодых сердец в новых училищах ввели шикарную форму с золоченными пуговицами, погонами на шинели и кокардой. Выпускникам присваивалось "личное почетное гражданство" и, таким образом, сразу обеспечивалось определенное положение в иерархии русского общества.

Жил я на квартире в совершенно чужой мне семье и лишь раз в году, на летние каникулы, ездил в Баргузин, через Байкал, – месяца на два; раз в году – зимой – отец приезжал в Иркутск. Таким образом, с одиннадцатилетнего возраста я стал самостоятельным. Когда в училище прибавилось два класса, четвертый класс превратился в шестой, и я окончил училище за восемь лет. Мои школьные годы в Иркутске не оставили во мне никаких тягостных воспоминаний, подоб-

ных тем, что вынесли мои сверстники из гимназий Москвы и Киева, – в последнем я убедился как по их рассказам, так и по мемуарной литературе: напротив, училище я вспоминаю с теплым чувством. Правда, казенные чиновники, облаченные в синие мундиры, относились к своим воспитанникам без особого участия и не слишком интересовались их судьбой. Наши с ними отношения были сугубо формальными. Однако я не помню, чтобы они придирались к ученикам или пристрастно ставили оценки. Могу рассказать лишь один случай, когда самый неприятный из учителей, преподаватель русской словесности Тереховский, позволил себе хамский выпад в отношении отсталого ученика не то во втором, не то в третьем классе. Ученик этот, Ваня Громов, был вызван к доске, чтобы рассказать наизусть Пушкинскую "Песнь о вещем Олеге". Громов начал, произнес несколько строк и сбился. В классе воцарилась тишина. Громов сказал дрожащим голосом:

– Когда я был маленьким, Павел Михайлович...

– Знаю, знаю! – оборвал его преподаватель. – Тебя, младенца, нянька уронила на пол, и с тех пор ты так и остался идиотом. Садись! – И выставил Ване "кол".

Вспоминается еще один случай, уже в старших классах, характерный для отношений между преподавателями и учениками. Был у нас математик по фамилии Суликовский, с которым мы жили неплохо. В отличие от других учителей он позволял себе даже иногда пошутить с нами. Был он лысый, с седеющей бородой, лет под пятьдесят. Как-то мы проведали, что Суликовский женился, и класс поручил мне его поздравить.

– Позвольте, Михаил Канутович, от имени класса поздравить вас по случаю женитьбы и пожелать вам всех благ.

Он воззрился на меня в изумлении, затем резко осадил:

– Не твое дело. Садись.

В отличие от холодных и формальных отношений с учителями и воспитателями отношения учеников

друг с другом были самыми добрыми и дружескими. Мы встречались после занятий, вместе читали, делились впечатлениями. В старших классах, где нас осталось по двенадцать человек в классе, дружба стала еще более тесной. Возможно, это обстоятельство было характерно не столько для самого училища, сколько для нашего возраста, когда сходятся легко и охотно. Наше училище было новое и современное, хорошо управлялось и, благодаря стараниям и административным талантам директора Тишко, дало нам очень много. При школе были отлично оборудованные мастерские, где начиная с шестого класса ученики работали три раза в неделю в послеобеденные часы. В летние каникулы старшие классы ездили в поле на землемерные работы. Ученики в это время жили у крестьян и питались за их столом.

Летом 1891 года, за два года до окончания училища, когда нас перевели в восьмой класс, произошло важное событие. Прошел слух, что престолонаследник Николай, который должен был прибыть из Владивостока в Иркутск, посетит наше училище. Когда царевич был еще ребенком, его отец, Александр Третий, разработал для сына программу воспитания на восемнадцать лет вперед и назначил учителей по самым разным предметам. Эта программа предусматривала по достижении определенного возраста путешествие на Дальний Восток и в Сибирь. В 1890 году, в возрасте двадцати двух лет, Николай отправился в путь. Отбыл он морем из Триеста и оттуда, через Средиземное море, Египет, Индию и Китай, направился в Японию. Когда царевич со свитой осматривали древнюю Отсу, некогда императорскую столицу, знаменитую своими храмами и священными статуями, произошел серьезный инцидент. Полицейский из отряда, выделенного для охраны гостей, при виде чужестранцев, разгуливающих в священном месте, потерял самообладание и ударил престолонаследника саблей по голове. Греческий престолонаследник Георгий, находившийся в свите, вырвал саблю из рук полицейского. Рана оказалась неопасной, и Николай продолжил путь во Владивосток. Там он,

как и было предусмотрено программой путешествия, открыл торжественной церемонией начало прокладки транссибирской магистрали и собственноручно уложил первую тачку грунта в будущую насыпь. Из Владивостока он отправился уже по суше через всю Сибирь до Урала, по той самой дороге, которую два года спустя – об этом ниже – пришлось проделать и мне.

В почетный караул по случаю прибытия престолонаследника были отобраны десять юношей из старших классов нашего училища и гимназии. Они должны были сопровождать его во все время пребывания в Иркутске. В числе этих десяти был и я. По сей день у меня в ушах звенят восторженные крики, которыми толпы встречали царевича. Памятуя о происшествии в Японии, мы были чрезвычайно озабочены порученной нам ролью. В училище Николай пробыл недолго. Учащихся построили во дворе. Директор с преподавательским персоналом встретили высокого гостя перед входом в здание и провели его по мастерским. Молодой престолонаследник показался нам красивым и обаятельным.

Все шло, как положено, никто не кидался на Николая, и все же когда он – тот самый человек, которому суждено было стать "несчастным царем", – покинул Иркутск, все вздохнули с облегчением.

Год спустя, во время летних каникул, когда мы перешли в последний класс, нас послали на Ленские золотые прииски. Рудник находился в двух тысячах километров к северо-западу от Иркутска. Путь туда был долгим, но в отличие от посещений копей вокруг Баргузина, добраться до которых летом можно было только верхом, это была легкая и приятная поездка. Дорога заняла десять дней. Первые двое суток ехали на телегах, еще двое – плыли лодками до пристани Жигалово на одном из маленьких притоков Лены, затем пять дней на хорошем баркасе по Лене и, наконец, почти два дня на север, по реке Витим, до гавани Бодайбо, в центре золотоносного района.

Ширина Лены, одной из величайших рек мира и

крупнейшей реки Советского Союза, уже возле устья Витима около километра. Севернее, возле Якутска, от одного берега до другого – семь километров, а еще севернее – у Жиганска – тринадцать километров! Гористые берега Лены очень красивы, особенно к северу от Киренска, в месте, прозванном "Щеки", где отвесно вздымаются высоченные, стометровые утесы.

Прииски Ленской компании простирались вокруг Бодайбинской гавани на площади в 200 квадратных километров. Нас разослали по местам, направив на каждый прииск по два-три человека. Моего напарника через неделю перевели в другое место, и я остался один; жил я в квартире управляющего, а трудился бок о бок с рабочими, на практике постигая ремесло старателей – добычу золотоносной руды и ее промывку с помощью специальных приспособлений. Управляющий прииском Николай Александрович Гольдерман, еврей, юношей был забрит в кантонисты, насильственно крещен и тянул солдатскую лямку несколько десятилетий. Другие кантонисты, которых я знал в Сибири, отбыв солдатский срок, вернулись к иудейству. Но Гольдерман искренне увлекся новой верой и превратился в истового христианина. В отличие от других управляющих, живших в роскоши и не отказывавших себе ни в чем, Гольдерман вел спартанский образ жизни. Он поселился в маленьком одноэтажном домике из трех комнат, обставленном простыми, некрашенными столами, табуретками, шкафами. Столь же незатейлива была и еда: суп из крапивы и плохо проваренное жесткое мясо. Что касается супа, то однажды произошел потешный случай, после которого я начал опасаться этого блюда: в супе плавали крупицы жира. Заметив это, взбешенный хозяин велел послать за поваром.

– Сукин сын, что ты опять напрыскал в суп?!

Повар отнекивался, божился и призывал в свидетели всех святых. После того, как он удалился, Николай Александрович объяснил мне, в чем дело. Повар повадился воровать жирное мясо, а варил и подавал

постное. После того, как Гольдерман ему заметил, что суп недостаточно наварист, повар придумал набирать в рот немного топленого масла и прыскать изо рта в суп, чтобы придать ему более наваристый вид...

Между мною и управляющим установились добрые отношения. По вечерам мы беседовали о христианстве, смысле жизни и тому подобных материях. На ночном столике у него лежали Библия и Евангелие. После многих дней таких разговоров он принялся меня убеждать, что я духовно подготовлен к восприятию христианства, так почему бы мне не креститься? Я, помнится, отвечал ему, что христиан нет и не было, за исключением одного-единственного, а именно самого Христа. Что же касается всех прочих, то вера у них псевдохристианская. На прощание он, в присутствии поджидавших меня товарищей, вручил мне письмо к дочери (красивой девушке – он показывал мне ее портрет), воспитывавшейся в Иркутске, в пансионе для благородных девиц, прибавив:

– Передайте, что я разрешил вам ее поцеловать*.

– Нам тоже! Нам тоже разрешите, Николай Александрович! – наперебой закричали мои товарищи. Он усмехнулся:

– Нет, только ему.

Я думаю, что хотя я и отказался переходить в христианскую веру, он надеялся, что его доводы и аргументы в конце концов подействуют и я последую его совету.

За два дня до нашего отъезда главный управляющий приисками инженер Грауман, знаменитый тогда по всей Сибири и России, приказал перевести нас на самое богатое месторождение, чтобы мы там самостоятельно поработали на взрывных работах и промывке золота. Он заявил, что хочет проверить, чему мы научились за проведенные на приисках пол-

---

* На следующий день после возвращения в Иркутск я отправился в пансион и в точности исполнил поручение.

тора месяца. За добытое золото нам положили плату согласно постоянному тарифу. Мы благополучно справились с заданием, и каждый ученик получил по 150 рублей, сумму достаточно крупную.

В заключение нашего пребывания на приисках в доме главного управляющего был устроен большой банкет, куда были приглашены управляющие всех соседних приисков и старшие чиновники с женами. Плясали, пили и пели до самого утра. Мы, двенадцать человек, исполняли роль оркестра – музыкальные инструменты мы привезли с собой. Вид дюжины юных красавцев в мундирах с золотыми пуговицами и погонами не на шутку взволновал дам из этого медвежьего угла. Они были рады случаю поплясать и баловали нас своим вниманием. В приподнятом настроении мы возвращались в Иркутск знакомой уже дорогой, ощупывая в карманах громадный капитал в 150 рублей и предвкушая все удовольствия, которые мы получим за эти деньги.

Глава четвертая

В УНИВЕРСИТЕТЕ

В те времена во всей Сибири было только одно высшее учебное заведение: недавно основанный в Томске университет. Ввиду того, что отец, начиная с восьмидесятых годов, занимался рудным делом, его воля была, чтобы я стал горным инженером. В этом наши желания совпадали. Выяснив, что лучшие школы, готовящие маркшейдеров, находятся в Германии, в развитых шахтных районах, я решил ехать за границу, минуя Рудный институт в Петербурге, который тогда в России был единственным вузом такого типа. Где именно я буду заниматься, я себе точно еще не представлял.

Моя поездка без остановки из Иркутска в Москву длилась двадцать два дня, – сюда следует прибавить еще четыре дня дороги из Баргузина в Иркутск. Транссибирской железной дороги тогда еще не существовало, ее только начинали прокладывать. Путешествие было не только продолжительным, но и утомительным: целые восемь суток, полторы тысячи километров приходилось ехать в крытой повозке по немощеной дороге от Иркутска до Томска. Тот, у кого с собой были подушка и тюфяк, мог спать в карете, всю дорогу не раздеваясь. Ехали обычно два-три пассажира. Каждые 25–30 километров меняли лошадей. Затем – семидневное плаванье по Оби и Иртышу, через Тобольск до Тюмени – тоже около 1800 километров. Здесь я впервые увидел железную дорогу и целые сутки ехал поездом. Затем снова водой – по Каме и Волге, около трех суток до Нижнего-Новгорода – что-то около 1200–1300 километров, и наконец, поездом до Москвы.

В Баргузине мне было велено разыскать в Петер-

бурге знаменитого владельца золотых приисков Базилевского, который получил образование в Швейцарии. Это был человек сорока—сорока пяти лет, в высшей степени образованный; он дал мне рекомендательное письмо в Цюрих, к тамошнему своему знакомому, геологу, и тот, в свою очередь, снабдил меня всеми необходимыми сведениями о европейских университетах и весьма помог мне советом. Два высших учебных заведения по горному делу считались тогда лучшими не только в Европе, но и во всем мире: Рудная академия в Фрейбурге — в Саксонии, где в свое время учился Ломоносов, и академия в прусском городке Клаустель. Поскольку Фрейбург в те годы потерял нескольких лучших своих профессоров, геолог посоветовал мне остановиться на Клаустеле.

Два события на моем пути через европейскую часть России за границу запечатлелись у меня в памяти: одно произошло в Петергофе, где я почти лицом к лицу столкнулся с императором Александром Третьим, другое — в Одессе. В Петербурге я прослышал, что предстоит день рождения императрицы Марии Федоровны, который отмечается с великой пышностью: на праздник собирается весь дипломатический корпус, сливки петербургского общества, многочисленные иностранные гости. И действительно, иллюминированный парк, разноцветно подсвеченные фонтаны и каскады Петергофа — летней царской резиденции, воздвигнутой Петром Первым, являли собой волшебное зрелище. Я отправился туда со своими приятелями из Иркутска. И вот внезапно нам навстречу вылетела открытая карета, в которой сидели император и императрица и лицом к ним трое их детей: взрослая уже Ксения, юноша Михаил и девочка Ольга. Я был ошеломлен неожиданным появлением царской фамилии — оказывается, мы стояли на несколько шагов впереди других зрителей. Помню грузное туловище императора, холодно-брезгливое выражение его оплывшего лица и вонзившийся в меня взгляд оло-

вянных глаз. Не тронули нас, по-видимому, только благодаря нашей крайней молодости.

Второе происшествие, менее приятное, случилось после этого в Одессе. Двадцать лет прошло с тех пор, как родственники моей матери были отправлены назад из Баргузина в Одессу, а маме еще ни разу не пришлось повидать их. Отца ее уже не было в живых, но она попросила меня заехать в Одессу и навестить бабушку и других родных. Ко мне присоединился мой однокашник по школе Медведников, который перед отъездом в Мюнхенский университет хотел навестить сестру, тоже проживавшую в Одессе. Брат его, инженер Медведников, позднее был казнен по приказу Ренненкампфа, посланного на "замирение" Сибири (см. главу "После революции"). Я разыскал свою престарелую бабку и провел у нее около недели. Однажды я отправился в адресный стол – узнать адрес человека, которого просил разыскать в Одессе один мой приятель из Иркутска. Медведников отправился со мной. Я вошел в какой-то двор, чтобы спросить, где находится адресный стол, а Медведников остался ждать у ворот. Парадного я не нашел и, войдя в дом через черный ход, очутился на кухне. Женщина с засученными рукавами хлопотала за плитой. Не успел я отворить дверь, как она завопила:

– Что тебе здесь нужно, вор?

– Чего бранишься, дура!

Она скрылась в глубине квартиры, а я, затворив дверь, вышел во двор. На соседнем крыльце появился пожилой мужчина в штатской одежде, без пальто, и крикнул:

– Что ты тут делаешь, подлец?

– Сам ты подлец! – обозлился я. – Ищу адресный стол.

Помолчав, он направился в другой дом, стоявший тут же во дворе, и больше я его не видел. Выскочили два жандарма, скрутили меня, затащили в какой-то чулан и принялись беспощадно избивать. Кровь хлынула у меня из горла и из носа. Окровавленного, с помутившимся сознанием, они перетащили меня в арестант-

скую, помещавшуюся в том же дворе. Там сидело несколько пьяных и какие-то другие типы, очевидно, воришки. На мое счастье, Медведников, ставший очевидцем расправы надо мною, поспешил к сестре; та состояла в дружеских отношениях с семьей Чудновских, которые знали меня еще по Иркутску – у жены С.Л. Чудновского я брал уроки английского; Чудновский был одним из самых уважаемых одесситов, и городская управа поручила ему написать историю Одессы по случаю столетия со дня основания города, которое приходилось на 1894 год. За меня немедленно заступились. Спустя несколько часов меня освободили и отвезли к ним на квартиру. Оказалось, что я забрел в дом жандармского полковника, командовавшего городским охранным отделением, расположенным рядом с адресным столом...

Через несколько дней, когда я немного оправился, Чудновский поехал со мной к знаменитому одесскому адвокату Маргулису. Тот отнесся ко мне с симпатией. Я считал, что мне необходимо попасть на прием к наместнику Зеленому – человеку, одно имя которого наводило на одесситов ужас. Он происходил из родовитой семьи, один из его предков участвовал в возведении на престол Михаила Романова. В своей юной пылкости я был убежден, что стоит только мне рассказать этому высокопоставленному аристократу о беззаконии, творимом его подчиненными, и их безобразиях, как виновные будут наказаны. Маргулис выхлопотал для меня аудиенцию у наместника. Я явился в канцелярию с еще незажившими следами побоев на физиономии. Когда чиновники услыхали, что мне назначена аудиенция у самого наместника и что я собираюсь жаловаться на учиненную надо мною расправу, поднялся переполох. Мне посоветовали отказаться от аудиенции и предупреждали, что дело может кончиться моим арестом за оскорбление начальника охранного отделения и его супруги. Хотя я стоял на своем, кто-то позаботился, чтобы я не был допущен на прием. Вернувшись, я рассказал Маргулису о своей неудаче. Услы-

хав, что у меня уже есть выданная в Петербурге виза на выезд за границу, он посоветовал мне не мешкая покинуть Одессу и объяснил, что в противном случае меня могут объявить лицом в политическом отношении неблагонадежным и не выпустить. Он вручил мне черновик жалобы на имя наместника, но с условием, чтобы я ее отправил, только когда окажусь за пределами России. Я послушался, не желая рисковать учебой. Свою жалобу я отправил из Мюнхена, где пробыл около месяца. Через несколько месяцев, когда я уже проживал в Клаустеле, из российского посольства в Берлине поступил ответ наместника следующего содержания: произведенным расследованием установлено, что мне не причинили ничего дурного и что я выдумал всю эту историю, дабы затушевать оскорбление, которое сам нанес начальнику охранного отделения и его супруге. Ежели бы я находился в России, меня потребовали бы к ответу и наказали.

Много лет спустя мне самому случилось поколотить царского чиновника. Дело было в вагоне сибирского экспресса, по дороге из Петербурга в Порт-Артур. Чиновник в присутствии других пассажиров позволил себе антисемитский выпад. Произошло это незадолго до Русско-японской войны, когда Порт-Артур еще принадлежал России. Я тогда вспомнил, как били меня и до чего это неприятно; но обстоятельства и причины были теперь иными. Почти все пассажиры в вагоне были сибиряками и открыто взяли мою сторону. Один русский простой человек подошел ко мне и отрекомендовался мельником из Барнаула; он крепко пожал мне руку на глазах у побитого чиновника, стоявшего у входа в свое купе, и заявил: "Хорошо сделали". Надо заметить, что пострадавший впервые попал в Сибирь. Он никогда здесь еще не бывал и не знал ни края, ни местного населения.

...Клаустель – небольшой городок в Ганноверской провинции, насчитывавший десять – двенадцать тысяч жителей. Расположен в центре старого горнопромышленного района. Основан в XVI веке, близ деревушки

Целлендорф, с которой позднее слился. Городок прилепился к подножию горы Брокен, на вершине которой, как известно из "Фауста", происходит шабаш ведьм — Вальпургиева ночь. Окруженный горами, поросшими густым хвойным лесом, Клаустель, как и другие населенные пункты Гарца, считается дачным местом. В те времена Клаустель был тупиковой станцией железнодорожной линии; дальше поезда не ходили. С ноября по апрель город засыпан глубоким снегом, точно так же, как мой родной Баргузин. Живя в Клаустеле, я начал ходить на лыжах и пристрастился к этому спорту. Позднее это умение очень пригодилось мне в сибирской тайге.

Рудная академия была основана в 1775 году и официально называлась "Прусская королевская академия шахтного дела". Она размещалась в двух зданиях постройки XVI века. Помимо академии, здесь было также среднее горнопромышленное учебное заведение, готовившее "штейгеров", то есть горных мастеров, ведающих рудничными работами.

В академии тогда училось несколько сот студентов, причем много иностранцев, собравшихся сюда со всех концов света. Особенно много было англичан и американцев. Ни в Англии, ни в Америке не было еще тогда тех великолепных школ, которыми они знамениты теперь. Многие американцы, голландцы и англичане приезжали в Клаустель — после окончания других университетов для совершенствования, на год-два. Мы с моим другом Шостаковичем оказались первыми русскими студентами академии, да и вообще до нас лишь два сибиряка выехали учиться за границу.

По приезде мы отправились к директору академии. Это был красивый, высокий и стройный человек лет пятидесяти пяти — шестидесяти, носивший звание генерального советника горного дела, профессор Кехлер. К нашему удивлению, он был очень скромно одет, если не сказать бедно. В школе мы учили немецкий, но теперь с трудом смогли объясниться. Директор встре-

тил нас приветливо и сказал, что мы первые студенты, приехавшие в его учебное заведение из России. Мы предъявили ему наши аттестаты зрелости, переведенные на немецкий; их оказалось достаточно для поступления в академию без экзаменов. Ректор поинтересовался, есть ли у нас квартира. Квартиры у нас не было, и мы понятия не имели, как ее искать. Пока мы остановились в гостинице. Директор попросил нас подождать в приемной, вскоре вышел и пригласил пройтись по городу. Он лично отправился подыскивать нам жилье и нашел две отличные комнаты с полным пансионом. Он позаботился и о том, чтобы хозяйка нашла для нас прачку. Вообще немцы, с которыми мы тогда познакомились, совсем не походили на немцев периода последней войны. Четыре с половиной года, проведенных в провинциальном Клаустеле, оставили у меня самые приятные воспоминания. Профессора приглашали нас к себе, мы танцевали с их дочками. Через некоторое время я узнал, что наш приезд произвел большое впечатление в городе. Ведь мы были первыми русскими здесь, да еще из Сибири, о которой тогда в Европе только и было известно, что это гиблое и ужасное место. О нас говорили все, прохожие разглядывали нас с изумлением.

Однажды, вскоре после того, как мы поселились на квартире, я, возвратившись с лекций, почувствовал какую-то вонь в прихожей. "Странно, – сказал я приятелю, – говорят, что немцы страшные чистюли, а тут явно пахнет какой-то гнилью". Назавтра все выяснилось: по возвращении с лекций мы нашли накрытый стол, и запах, который стоял в прихожей, теперь шел из нашей столовой; я приблизился к столу и установил источник зловония: им оказался сыр. Это был знаменитый сорт немецкого сыра, изготовлявшийся в Нордгаузене. Наши вкусы с Шостаковичем в дальнейшем разошлись: он полюбил этот сыр, я же продолжал требовать, чтобы мне его никогда не подавали. Остается добавить, что в те времена в Клаустеле выходил маленький двухполосный еженедельник, смаковавший

местные сплетни и поэтому окрещенный "гарцским сыром", – с намеком на запах...

Вскоре после нашего приезда пришел студент-старшекурсник, председатель студенческой корпорации иностранцев, и предложил нам вступить в члены этой организации. Сам он был родом из Аргентины. Через несколько дней явился знакомиться студент из Мексики. Аргентинец больше не показывался. Год или два спустя, когда мы коротко сошлись с мексиканцем, умным, хорошим парнем, он рассказал нам, почему аргентинец перестал бывать у нас. В Южной Америке, Мексике и Аргентине детям рассказывают, что в Сибири люди из-за ужасных морозов едят стеариновые свечи и пьют нефть. Хотя мексиканец и не верил в этот вздор, но, вздумав подшутить над аргентинцем, рассказал, что однажды зашел к нам во время обеда и отказался сесть к столу, поскольку во рту у "толстяка", как поначалу здесь называли Шостаковича (им трудно было выговорить наши фамилии), он увидел стеариновую свечу, в то время как "тощий" – мое прозвище – вынес из другой комнаты кружку с отвратительно пахнущей жидкостью. "Нефть!" – воскликнул не своим голосом аргентинец. "По-видимому, да", – поддержал его мексиканец.

Аргентинец решил держаться от нас подальше, опасаясь, как бы мы вдруг не пригласили его к столу.

Через год Шостакович перешел в Берлинский университет, и я до самого окончания курса оставался единственным русским студентом в Клаустеле.

Академию ежегодно заканчивало шесть-семь человек, в большинстве иностранцы. Немцы сдавали экзамены по отдельным, наиболее важным предметам, довольствуясь соответствующим свидетельством. Студенческие союзы находились в поре расцвета, и наши студенты принимали в них самое активное участие. Многие великие немцы, в том числе и Бисмарк, в молодости были членами студенческих корпораций. Кайзер Вильгельм II пестовал эти корпорации и покровительствовал им. Бывшего корпоранта можно было

узнать в любом возрасте по рубцам на лице – следам дуэлей на рапирах. Рубец через всю щеку, от уха до угла рта, считался особенно почетным, и многие страстно жаждали его заполучить. В Пруссии обладатель "доброго" шрама имел больше видов на должность и на продвижение по служебной лестнице, нежели владелец хорошего университетского диплома. Барышни из высшего общества охотно отдавали свою руку бывшим студентам с украшенными шрамом физиономиями.

В Клаустеле были три корпорации – "Гарциния", "Боруссия" и "Монтания". Праздники и разные церемонии этих союзов всегда были в центре внимания местного студенчества. Корпоранты были мастера пить пиво и фехтовать, они то и дело устраивали дуэли, как бы продолжая рыцарские традиции Средневековья. Оружие выбиралось в зависимости от того, насколько серьезны были обстоятельства и конфликт: рапиры, шпаги или пистолеты.

Однако всем этим занимались только студенты-немцы. Иностранные студенты жили обособленной жизнью. Большинство состояло в "Академическом союзе иностранцев", также достаточно древней организации, располагавшей собственным уставом и пользовавшейся официальным признанием у администрации академии. Союз имел двухэтажный дом, библиотеку, биллиардную и так далее. Члены немецких корпораций носили небольшие шапочки, цвет которых указывал на принадлежность к определенному союзу; союз иностранных студентов тоже завел шапочки особого цвета. Каждую субботу в клубе корпорации устраивались вечера с пением и выпивкой. Пели хором, а кроме того, каждый студент был обязан исполнять песни своей родины. Союз объединял настолько разноплеменных студентов, что смешение языков было совершенно невообразимым.

Как и в немецких корпорациях, члены союза иностранных студентов делились на две категории: "фуксы" (новички) и "бурши" (парни). После двух лет "фукс" посвящался в "бурши", предварительно выдержав не

слишком сложное испытание. Порядок испытания был таков. В повестку дня очередного субботнего празднества вписывалось извещение, что такой-то будет произведен в "бурши". На церемонию являлось все руководство и большинство членов корпорации. На столе, специально для того предназначенном, всегда стояла бочка с пивом и две пивные кружки – на случай, если корпоранты затеют ссору: в таких случаях председатель затягивал особую "пивную молитву" на традиционный мотив, а оба противника обязаны были в это время опорожнить кружки до дна. Победителем объявлялся тот, кто выпивал свою кружку первым, и на этом конфликт исчерпывался. Надо заметить, что в каждую кружку входило три четверти литра.

Кандидат на звание "бурша" становился перед этими двумя кружками и по знаку председателя должен был произнести заранее известный короткий спич, а потом влить в себя обе кружки, одну за другой. Затем он читал наизусть параграфы из устава, касающиеся дуэли. Хотя союз иностранных студентов не признавал поединков, корпорант был вправе вызвать на дуэль немецкого корпоранта и наоборот – принять его вызов. Устав союза исключал дуэль на рапирах, рассматривая это как безобидную забаву с единственной целью приобретения шрама, зато разрешал драться на шпагах и пистолетах. После каждого вопроса председателя и ответа кандидата последний должен был опорожнить очередную кружку пива.

После двухлетнего пребывания в "фуксах" я тоже прошел все этапы посвящения в "бурши". Мне хорошо запомнилось, что в тот вечер я должен был опорожнить семнадцать кружек с пивом и выдержал это испытание, хотя время от времени и приходилось выбегать во двор. После того, как я благополучно выдержал испытание, меня поставили под кран пивной бочки: остаток ее содержимого хлынул мне на голову, а все присутствующие, вскочив на ноги, хором запели:

"Фукс" да будет "буршем", "фукс" да будет "буршем"...

Так мне было присвоено высокое и почетное звание "бурша", и я был вдобавок избран кандидатом в правление корпорации.

Потом все хором пели. Это было последним, что я помню об этом вечере. Назавтра я проснулся после полудня в своей комнате, в дурно пахнущей, смятой постели. Кто меня привез домой и как меня уложили в кровать, понятия не имею. Подле кровати я нашел свои часы. Они были разбиты.

За годы моего пребывания в академии на дуэль был вызван лишь один корпорант нашего союза. Зачинщиком поединка оказался председатель одной из немецких корпораций, а вызванным – студент из Перу, маленький, горячего нрава парень, с которым я дружил. Вышло так, что на каком-то городском празднестве ему случилось сидеть неподалеку от немца. Тот в разговоре со своим товарищем обронил насмешку по адресу недоростка-перуанца. Перуанец вскочил, что-то проговорил и в ответ услыхал грубость. И тут немец, который был на голову его выше, получил от маленького перуанца пощечину. Иностранные студенты сразу вмешались и оттащили перуанца от обидчика. На следующий день наш союз получил от немецкой корпорации официальное уведомление о вызове на дуэль на шпагах. Судебная коллегия союза ответила согласием, так как на этом настаивал перуанец, и более того – потребовала, чтобы противники дрались на пистолетах. Немецкая корпорация продолжала стоять на своем: шпаги. После долгих переговоров между обеими корпорациями решено было замять дело и кончить его тем, что обе стороны принесут взаимные извинения, поскольку и немец и перуанец были в момент ссоры пьяны.

Театра в нашем маленьком городке не было (кинематогрофа тогда еще не знали), но разные труппы время от времени посещали его с гастролями. В городке не было ни газа, ни электричества. Улицы освещались керосиновыми фонарями, а по ночам жители ходили со своими собственными переносными фона-

рями. Из вечера в вечер, ровно в десять часов, за окнами раздавался звон колокольчика, и сторож, проходя по улицам, объявлял жителям, что время ложиться спать. Этот обычай, по-видимому, сохранился со времен средневековья. Сторож, растягивая слова, провозглашал:

– Внимание, господа и дамы! Десять пробило – видите сами. Гасите свет, тушите огни, дабы оборонить нас от беды. И Господь всех нас храни...

Кроме студенческих корпораций и публичных лекций, в центре общественной жизни были празднества с участием студентов-ветеранов, а также профессоров. Домой часто возвращались не слишком трезвыми. Однажды поздней ночью мы наткнулись на пьяного, растянувшегося на улице. Каков же был наш ужас, когда, посветив на него фонарем, мы увидели перед собой не кого иного, как Клокмана, профессора минералогии, который, по-видимому, хлебнул лишнего и по дороге домой свалился и заснул.

– Ау, господин профессор, ау! Не позволите ли проводить вас домой?

– О, благодарю вас, не стоит – я живу тут поблизости. Лучше позаботьтесь о коллеге Майере, по-моему, он лежит где-то рядом.

"Коллега Маейр" читал нам математику.

Во время зимних каникул я оставлял рутину провинциальной жизни – надевал рюкзак и отправлялся путешествовать по германским городам, осматривал достопримечательности, ходил по театрам, концертам и музеям.

Устные экзамены, в дополнение к письменным испытаниям и лабораторным зачетам, сдавались лишь дважды: по окончании первых двух лет занятий – так называемые кандидатские экзамены на присвоение степени "кандидат в инженеры", и выпускные, через два с половиной – три года после первых.

Все летние каникулы я, как и другие студенты, работал рабочим на шахтах и заводах. В окрестностях Клаустеля добывали главным образом свинец,

цинк и медь, хотя имелись и другие ископаемые, в том числе золото и серебро. Неподалеку оттуда, в Стасфуртской провинции, близ Ганновера, мне довелось работать также на калийных карьерах и заводах. Тогда я не мог, конечно, представить себе, что именно этой отраслью промышленности мне придется заниматься в Эрец-Исраэль.

По окончании двух лет занятий, после сдачи первых экзаменов, мой приятель, студент из Южной Африки Котце, предложил поехать с ним в Венгрию поработать на золотых приисках. В Клаустель Котце послало правительство, после того как он у себя в Южной Африке окончил университет. Трансильвания, которая принадлежала тогда Венгрии, была единственным в Европе местом, где золото добывалось в подземных, шахтного типа выработках, заложенных еще в римскую эпоху. Мы оба интересовались этим способом добычи, так как он применялся и в Сибири и в Южной Африке. Рекомендательное письмо ректора Клаустельской академии открыло нам доступ на все копи и обогатительные фабрики Трансильвании. Мы провели там шесть недель. Котце (позднее – сэр Роберт Котце) в дальнейшем стал министром горной промышленности Южной Африки, был избран почетным членом "Британского общества горных инженеров" и награжден золотой медалью этого общества. После того, как я вернулся в Сибирь, а он в Южную Африку, мы продолжали переписываться, а затем двадцать пять лет спустя встретились в Лондоне и вспомнили нашу молодость в Клаустеле.

Поездка в Венгрию позволила мне не только усовершенствовать свои познания в области золотодобычи, но имела и практические последствия: я написал большую статью о добыче золота в Венгрии и, дополнив ее необходимыми чертежами, послал в отраслевой вестник, выходивший в Петербурге. Я полагал, что в виде гонорара мне выплатят несколько червонцев, но получил чек на сумму в 300 рублей – баснословные по тем временам деньги. Мне было так-

же предложено стать постоянным корреспондентом вестника.

Это значительно укрепило мое материальное положение. В первые годы студенчества мне приходилось довольствоваться той мизерной суммой, которую мне ежемесячно присылали из дому.

Известный своими исследованиями и печатными трудами профессор химии Гампе хорошо ко мне относился и следил за моей работой в лаборатории. Незадолго до выпускных экзаменов он посоветовл мне съездить на семестр в Лейпциг, чтобы послушать лекции молодого профессора физики Оствальда, а также поучиться у берлинского профессора Роско. Об Оствальде он сказал: "Он преподает новую теорию материи и энергии. Я слишком стар, чтобы воспринять ее, но вы, молодежь, должны ее знать". Я послушался его и провел несколько месяцев в Лейпциге, а затем в Берлине, посещая лекции Роско, тоже знаменитости тех дней. Теория Оствальда явилась тем первым толчком в развитии современной физики, который в конечном итоге привел эту науку к ее нынешнему уровню и блеску.

Во время моих занятий в Берлине, в 1897 году, я несколько раз бывал на заседаниях Рейхстага. Там однажды я слышал речь Бебеля, вождя немецких социал-демократов. Я видел также старика Либкнехта, основателя немецкой социал-демократической партии и друга Маркса. Одного из депутатов от Мюнхена, социал-демократа, доставляли в Рейхстаг на носилках. В войну 1870 года он был тяжело ранен. Этот депутат был другом Эдуарда Бернштейна. О нем рассказывали, что после того как Бернштейн опубликовал свою книгу с критикой социал-демократии, он написал ему: "Эди, мой друг, вы осел. О подобных вещах думают, но не говорят вслух".

Девяностые годы прошлого века были эпохой расцвета и развития горной промышленности во всем мире, но в особенности в Южной Африке, где были найдены крупные месторождения золота. Новые за-

лежи золота были открыты также на Аляске, в Мексике и других странах. Горных инженеров повсеместно не хватало, и лишь незначительная часть выпускников университетов пополняла их ряды. Со мной вместе курс закончили два моих приятеля: Фрэзер из Шотландии и баварец Амен. Амен почему-то терпеть не мог пруссаков и знался только с нами, иностранцами. На имя ректора академии поступали заявки из разных стран с приглашениями на работу. Ректор предложил нам работу на выбор: в Италии – на месторождениях ртути, в Мексике – на золотых приисках, на Суматре – на никелевых шахтах или в Оренбургской губернии в России, где также добывали золото. Нам жаль было расставаться, и мы хотели бы попасть куда-нибудь вместе, но такой возможности не представлялось. Каждая из стран запрашивала только одного или двух специалистов; кроме того, я обязан был по окончании курса явиться в Петербург для прохождения воинской службы. Отсрочка, полученная мною на основании справки министерства просвещения, была действительна только до конца занятий.

В Петербурге вместе с выпускниками других университетов меня направили на медицинскую комиссию. Там я встретил двух своих однокашников из Иркутска. Хотя все мы были здоровые парни, нас освободили от службы. Этот факт нас чрезвычайно удивил. Лишь позднее я узнал, что в том году было приказано не брать на военную службу окончивших университеты – ввиду их неблагонадежности и дурного влияния на армию.

Я решил поехать навестить своих близких, которых не видал почти пять лет. Обратную дорогу в Баргузин оказалось легче проделать. Из Нижнего Новгорода в Пермь я плыл по Волге и Каме. Там я пересел в поезд транссибирской железной дороги. На Урале я сделал остановку и в течение недели поездил по шахтам и заводам. Последние двое суток до Иркутска пришлось добираться на телеге.

Глава пятая

ВСТРЕЧИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Связи моих юношеских лет с революционерами, ссыльными из Баргузина и Иркутска, теми благороднейшими людьми России, что в восьмидесятые годы прошлого века так сильно повлияли на становление характера и мировоззрение многих юных сибиряков, – эти связи не прервались и тогда, когда я, покинув Сибирь, на несколько лет уехал в Западную Европу. В годы моего обучения в Германии я поддерживал контакт с Волховским и Степняком, двумя ветеранами народнического движения, проживавшими тогда в Лондоне. Я получал от них брошюры и листовки, направленные против царского самодержавия, и другие материалы подобного характера. Затем я стал подписчиком русской эмигрантской газеты "Освобождение", которую выпускал в Штутгарте позднее весьма прославившийся профессор Петр Струве. Во время своих частых поездок в Англию в 1910–1913 годах (в связи с закупками машин для землеройных работ в районе Баргузина), а также в Париж я встречался с находившимися там в эмиграции руководителями различных революционных партий. В Нерви, в доме моей младшей сестры, которая была замужем за доктором Мендельбергом, я встретил Г. В. Плеханова, основателя и отца русской социал-демократии, толкователя Карла Маркса, а позднее – члена исполкома Второго Интернационала. Мне довелось повидать и князя П. А. Кропоткина, завоевавшего известность и в области науки, и в качестве вождя анархистов. Они оба проводили тогда зиму на итальянской Ривьере – Плеханов в Сан-Ремо, а Кропоткин в Рапалло. Там, между прочим, находился и Лев Троцкий.

Чету Плехановых я навестил один или два раза,

когда был проездом в Женеве, но более всего мне запомнился первый проведенный вместе вечер. Это было за несколько лет до того, как мы встретились в Нерви.

В 1906 году после короткого пребывания в Берлине (об этом – в другой главе) я отправился на лечение в Швейцарию: до этого я успел побывать в тюрьме, и у меня оказались затронуты верхушки легких. Врач посоветовал деревушку Кларен близ Монтре. В гостинице мне случайно повстречался старый революционер А. Зунделевич, просидевший 25 лет в Шлиссельбургской крепости. После освобождения ему разрешили поселиться в Чите, главном городе Забайкалья, где я с ним и познакомился. В революцию 1905 года он получил возможность выехать за границу. Белый, как лунь, с окладистой бородой, он словно сошел со страниц священного писания. Недавно на выставке в Париже я увидел портрет Сезана кисти Писарро. Чуть удлинить бороду на этом портрете, выбелить волосы – будет точный двойник Зунделевича.

Вот что удивительно: и Зунделевич, и Вера Фигнер, которая тоже четверть века протомилась в шлиссельбургских казематах, хорошо выглядели и отличались здоровым цветом лица. Вера Николаевна поселилась поблизости от Монтре – в деревушке Боджи, и так как я был почти рядом, в Кларене, то навещал ее. (Я взялся также передать ее сестре в Петербурге устное сообщение, которое из-за своего содержания не могло быть доверено почте). Зунделевич свой цветущий вид объяснял доброкачественной и свежей пищей, которую получали узники Шлиссельбургской крепости. Не думаю, чтобы причина была в этом, скорее тут дело в индивидуальных особенностях человеческого организма. Впечатление, что Вера Фигнер пышет здоровьем, было, несомненно, обманчивым: ее румянец скорее свидетельствовал о высоком кровяном давлении. Зато Михаил Бакунин, знаменитейший анархист, сыгравший большую роль в революционном движении в Европе в 1848 году, которого два года продержали в авст-

рийской тюрьме прикованным к стене камеры, а по возвращении в Россию посадили на шесть лет в Петропавловскую крепость, после всех этих испытаний действительно не утратил ни своей энергии, ни работоспособности.

Зунделевич входил в круг друзей, которые помогли Кропоткину бежать из тюрьмы. Как сам Кропоткин, так и Зунделевич часто рассказывали об этом дерзком предприятии. В своей книге "Записки революционера" Кропоткин красочно описывает побег из офицерского госпиталя, куда он попал, заболев.

Дело было при свете дня и на глазах у всего госпиталя. На улице его ждала пролетка, но ворота охранялись солдатом, которого надо было как-то отвлечь: эта задача и была возложена на Зунделевича, названного в книге "одним из друзей".

Зная, что солдат прослужил некоторое время в госпитале, Зунделевич подсел к нему и, щелкая семечки, завел речь о пользовании микроскопом при анализе на наличие глистов.

– Видал, какие у них хвосты? – спросил Зунделевич.

– Не мели вздор, – сказал солдат. – Нету у них никаких хвостов.

– А я тебе говорю – есть, и громадные, ежели смотреть в микроскоп.

– Не рассказывай сказки, я в этом деле понимаю больше тебя. Попадется, бывало, такой подлый паразит – сразу его под микроскоп.

Солдат так распалился, доказывая свою правоту, что просмотрел, как мимо него проскользнул Кропоткин, вскочил в пролетку и был таков.

Зунделевич входил в группу Плеханова "Земля и воля". Приехав в Швейцарию в 1906 г., он надумал отправиться к Плеханову и попросил меня сопровождать его. Я говорил, что неловко постороннему человеку присутствовать при встрече закадычных друзей после двадцатипятилетней разлуки, но Зунделевич настаивал, и я пошел. Прислушиваясь к их разговору, я убедился, что Плеханов на многое смотрит совершен-

но иначе, чем Кропоткин. Когда он заговорил о былом, на его сумрачном лице не обозначилось ни малейшейго воодушевления и радости. Зато оказалось, что у Зунделевича и Плеханова нашлись новые общие интересы. Плеханов уже отошел от народнических идей семидесятых годов и стал твердокаменным марксистом. То же самое произошло и с Зунделевичем за годы его сибирской ссылки. Повспоминав о прежних делах и старых друзьях, оба перешли к настоящему, и тут Плеханов рассказал, как к нему явился некий юный социал-демократ – его фамилия, кажется, была Ломов: молодой человек спросил, читал ли уже Плеханов его, Ломова, сочинения. На это Плеханов ответил следующим рассказом: известный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн, наделавший много шума своей книгой о проблемах социализма, в молодости поехал в Лондон, чтобы повидать Карла Маркса. Бернштейну было тогда двадцать три года, и когда он начал рассказывать о своих сочинениях, Маркс остановил его замечанием: "Послушайте-ка, любезный, в вашем возрасте я еще не опубликовал ни строчки".

Последние годы жизни Зунделевич провел в Лондоне. Когда я приезжал туда, мы обязательно раз в неделю ходили вместе обедать. Но, вернувшись в Лондон после Первой мировой войны – в 1921 году, – я уже не застал Зунделевича в живых. О нем никто больше не помнил. Маленькая урна на одном из лондонских кладбищ – вот и все, что осталось от некогда знаменитого революционера.

В 1911–1912 годах, находясь в Лондоне, я часто бывал в доме у Кропоткина, и память об этих визитах принадлежит к самым дорогим для меня воспоминаниям.

Незадолго до нашей встречи я прочитал "Записки революционера". Анархизм как мировоззрение заинтересовал меня, и с тех пор я усердно штудировал то немногое, что попадалось на эту тему. Познакомившись с Кропоткиным, я забросал его вопросами и с большим интересом слушал рассказы о развитии

анархистского движения в Англии и других странах. Но главный для меня интерес встреч с Кропоткиным состоял не в этом. Будучи офицером, Кропоткин в течение пяти лет – между 1862 и 1867 годами – изучал географию и геологию Забайкальского края. Особенно досконально он исследовал Олекминско-Витимскую губернию, куда входил и Баргузинский уезд. Итоги работ, произведенных его экспедицией, были опубликованы в Иркутске в вестнике сибирского отделения Географического общества, основанного в 1855 году. Доклад об олекминско-витимской экспедиции вышел отдельным томом в 700 страниц и был у меня в Баргузине настольной книгой. Я не расставался с ним и выезжая на рудники, поскольку постоянно обращался к тем сведениям, что были в нем собраны.

Кропоткин был интересным собеседником, я жадно внимал рассказам о его яркой жизни и работе в Сибири. Его интерес ко мне объяснялся тем, что я был уроженцем края, к которому он всегда испытывал влечение. Его многое связывало с Сибирью: дед его был губернатором Восточной, а затем Западной Сибири; любимый брат Александр был осужден на двенадцать лет ссылки в Минусинск и Томск, где и умер; сам Кропоткин провел в этих местах, по его словам, наиболее славные дни своей юности, и пять лет, в течение которых он обследовал Забайкалье, были самыми чудесными. Он просил рассказать обо всем новом, что было сделано в области геологии после того как он покинул эти края, и преисполнился гордости, услыхав, что его предположения о наличии золота в районе Мойска и Королона блестяще оправдались. Я рассказал ему о Якове Фризере, который вел изыскания в районе Королона и, опираясь на сведения Кропоткина, действительно открыл там богатые золотые россыпи и заложил основы их использования. Фризер был моим родственником. Он тоже родился в Баргузине. Хотя он не окончил даже и начальной школы, но тем не менее обладал обширнейшими познаниями в различных областях.

Своей образованностью он был обязан ссыльным и непрерывному чтению. Дома он держал большую библиотеку с сочинениями философов разных школ и особенно ценил Шопенгауэра, которого часть цитировал на память.

Мы беседовали с Кропоткиным и на весьма интересную другую тему. Он утверждал, что война между Германией и Англией неизбежна, — и действительно, спустя два года разразилась Первая мировая война. Прожив в Англии четверть века, Кропоткин оказался тесно связан с жизнью этой страны. Он пользовался заслуженным уважением в кругах английской общественности и поддержкой ее лидеров.

На склоне лет он неутомимо разъезжал по английским городам, выступая с лекциями. Он разъяснял необходимость введения прогрессивной системы всеобщего и технического образования, уровень которого в Англии тех дней был чрезвычайно низок. Он приводил цифры, свидетельствовавшие об уровне образования в Германии, и доказывал, что именно благодаря этому немцам удалось проникнуть не только в Индию, на Цейлон и в Австралию, но и во все британские колонии в Африке, отобрав у англичан их традиционные рынки. Мне он сказал тогда:

— Война не просто неизбежна, она необходима.. И чем скорее она начнется, тем лучше. В противном случае Англия окажется в положении второразрядной державы.

Он приложил много усилий, чтобы сделать эту истину очевидной для английского общества. Трудно было не проникнуться симпатией к старому революционеру, рассуждавшему со смелостью и запальчивостью юноши.

Его милая, скромная жена Софья Григорьевна — так ее звали, если мне не изменяет память, — завела обычай приглашать нас на обед или на чай каждый уикэнд, очевидно, чтобы как-то платить за гостеприимство, которым она пользовалась у моей сестры в Нерви. В хорошую погоду мы с Кропоткиным после чая отправлялись на прогулку.

В предисловии к "Воспоминаниям революционера" автор введения Георг Брандес пишет: "Кропоткин не опускается до дешевого интимничания с читателем. Он не рассказывает, как влюблялся и какие у него были отношения с прекрасным полом, и даже о своей женитьбе упоминает лишь мимоходом. Только раз, оглядываясь на последние шестнадцать лет своей жизни, он находит время заметить, что он – отец, притом любящий и преданный". И действительно, в книге Кропоткина о его женитьбе и жене сказано лишь, что в 1881 году она защитила диплом специалиста по естественным наукам в Женевском университете.

О причине такой сдержанности, мне кажется, можно догадаться из слов, сказанных Кропоткиным во время одной из наших прогулок. Мы с сестрой, знавшей чету Кропоткиных, оба сходились на том, что семья эта очень счастливая. Жена оказывала на него самое положительное влияние, заботилась о нем, и он, в свою очередь, относился к ней с трогательной нежностью. Возможно, из опасения, что я все же заметил разницу в их интеллектуальном развитии (а какая женщина могла бы тягаться с подобным гигантом), а может быть, по какой-то другой причине он вдруг разразился тирадой: "Знаете ли вы, как мы поженились? Когда я сидел за решеткой, Софье Григорьевне удалось достать пропуск в тюрьму. И она приходила, таская мне всякую снедь и комфортные штучки, и бегала ко мне, и заботилась до самого моего выхода из тюрьмы. – Он усмехнулся: – Я понял, что должен сделать ей предложение".

После Февральской революции Кропоткин возвратился в Россию. Он прожил в изгнании сорок лет. Свои последние годы он провел в местечке Дмитровка Московской губернии. Он продолжал заниматься наукой и написал исследование по геологии района Дмитровки. Там он и скончался в 1921 году.

Глава шестая

СИБИРЬ: СОЛЬ И ЗОЛОТО

Вернувшись после пятилетнего отсутствия домой, я не обнаружил особых политических перемен ни в Сибири, ни во всей России. Сменился царь. Александр Третий умер, на престол взошел Николай Второй. Из-за безобразной организации празднества по случаю коронования, в результате давки и свалки на Ходынском поле, было затоптано насмерть около трех тысяч человек. Такова была увертюра к эпохе этого злополучного царствования. В своем правлении Николай продолжал политику отца. Вместе с престолом он получил в наследство и главного советника, державшего царя в повиновении и наставлявшего его во всех вопросах — к несчастью страны. Я имею в виду Победоносцева, обер-прокурора Синода. Это он вложил в уста царя ответ делегации от земства, которая накануне восшествия Николая на престол пыталась указать на необходимость либеральных реформ: "Бросьте баловаться иллюзиями", — заявил царь, и эти слова русское общество хорошо запомнило.

На первый взгляд кругом была тишь и гладь, но среди интеллигентов, в кругах либералов, да и по всей России сгущалась глубокая подавленность. Уже во время моего краткого пребывания в Петербурге я стал свидетелем открытого проповедования нового учения — идеологии социал-демократии, проникшей из Женевы, из окружения Плеханова. Под видом научных лекций шла открытая дискуссия между молодыми марксистами и ветеранами народничества, которые стояли на старых позициях и утверждали, что русская сельская община может придти к социализму скачком, минуя капиталистическую стадию развития.

Отзвук этих новых веяний дошел и до Иркутска: люди собирались небольшими группками на частных квартирах, читали доклады и дискутировали.

В области экономики ощущалось некоторое оживление благодаря деятельности Витте, нового министра финансов, вступившего на пост в 1893 году. В отличие от старых бюрократов Витте обладал большой энергией и умом и, по понятиям того времени, был сторонником либеральных взглядов. В царском правительстве он был исключением. По его инициативе в России была введена государственная монополия на водку, превратившаяся в один из основных источников бюджетного дохода. Правда, либеральные круги относились к этой фискальной реформе крайне отрицательно, но Витте не пытался ее оправдать пользой казне, а утверждал, что реформа послужит заслоном против бытующего в народе пьянства. Витте увеличил экспорт зерна, что порой вызывало нехватку муки и хлеба внутри страны, зато позволило стабилизировать курс рубля и пополнить золотой запас. Он стимулировал всеми способами развитие индустрии и заботился о том, чтобы приумножить и усовершенствовать средние и высшие учебные заведения. Ему принадлежит заслуга основания Политехнического института в Петербурге, а также горного института в Екатеринославе. Вернувшись из поездки в Сибирь, он выдвинул план селить там безземельных крестьян – план, за который десятью годами позже ухватился Столыпин.

Я побыл дней десять у своей старшей сестры в Иркутске, а затем поехал в Баргузин. Там я с головой ушел в технические и производственные проблемы.

Уже в свою гимназическую пору в Иркутске я знал о наличии в горных озерах вокруг Баргузина химических солей и слыхал также о меди в тайге, на севере уезда, и об осадочном золоте в некоторых реках и по их берегам на северо-востоке. Последние уже тогда разрабатывались, и на одном из таких приисков я побывал до отъезда за границу. Во время моих последних летних каникул в Баргузине отец взял меня

с собой в район приисков. Мы добирались туда верхом несколько дней. Я провел на прииске несколько недель, знакомясь с методами добычи и извлечения золота из пород.

Вернувшись из Европы, я приступил к созданию лаборатории и изучению солей, содержавшихся в окрестных озерах. Я намеревался разработать план их добычи. Закончив исследовательскую часть, я построил опытную фабрику для проверки теоретических итогов с помощью переработки сырья и извлечения чистого продукта. Эти процессы я изучал в последние годы своего пребывания в Клаустеле.

Отложения на дне озер, расположенных в 35 километрах от города, содержали несколько горьких солей, в том числе глауберову соль – сернокислый натрий. Стекольный завод в Иркутске уже около двадцати лет использовал эту соль, но получал ее перемешанной со шлаками и грязью. Возили ее в Иркутск окольным путем, до Байкала на лошадях и оттуда на барже. Сернокислый натрий служил в стекольном производстве заменителем соды, которой не было в Сибири (так в отдаленные времена поступали и во Франции). И поскольку продукт был сильно загрязнен и содержал всего 35 процентов соли, стекло в Восточной Сибири выпускали только зеленое и низкого качества. Поэтому у меня возникла идея организовать добычу чистого продукта и таким образом обеспечить снабжение Восточной Сибири первосортным стеклом.

Другой план, также занимавший меня уже в период занятий в Клаустеле, предусматривал поиск медных руд в окрестностях Баргузина, на расстоянии нескольких сот километров от города. Изыскания требовалось вести в отдаленной гористой местности, в условиях бездорожья, но по моей просьбе из Баргузина мне присылали образчики озерных солей, а также медных руд.

В 1900 году на озере Альга, близ одноименного села, где тогда проживало шестьдесят–семьдесят семей,

я построил маленькую фабрику для добычи и очистки глауберовой соли. Средства на постройку я получил из разных источников. Стекольный завод в Иркутске принадлежал известной тогда в Сибири семье Белоголовых. Основатель завода, человек чрезвычайно предприимчивый, построил ткацкую фабрику, которая поставляла армии грубое шинельное сукно. Кроме того, он держал винокурни. Мой отец вел с ним дела. Как раз в то время, когда я занялся своим планом очистки соли, Белоголов умер, и предприятие возглавил его сын, только что окончивший университет в Петербурге. Новичок, едва вступивший на самостоятельную стезю в промышленности, он отнесся с симпатией к сверстнику, тоже начинавшему деловую жизнь в Сибири. Я показал ему образцы прекрасной, белой, как снег, продукции, которой предстояло придти на смену грязной мешанине, употреблявшейся до сих пор на заводе. Белоголов согласился с назначенной мною ценой и уплатил мне авансом половину стоимости соли, которую я обязался поставить за год.

Кроме того, мое предприятие согласились финансировать шотландец Фрезер и баварец Амен, с которыми я учился в академии. Я все время переписывался с ними. Они поддержали мое начинание и прислали деньги. Под конец, когда все же не хватило средств, чтобы завершить строительство фабричного корпуса, я получил под поручительство отца кредит в иркутском банке.

Однако дела на фабрике развивались не так, как было задумано. Процесс, как я его себе представлял, состоял из двух стадий: сначала добыча исходного сырья из озер и выделение из него соли; сырье растворяли в горячей воде, с добавлением определенных компонентов, и в результате охлаждения концентрированного раствора из него выпадали крупные кристаллы сернокислого натрия, химически почти чистого. Вторая стадия – просушка кристаллов на солнце, с целью удаления из них воды и получения снежно-белого порошка.

Я проверил оба процесса и не обнаружил никакой ошибки. И действительно, фабрика выдавала расчетное количество кристаллов и даже более того, но обезвоженного порошка в первое лето я добыл наполовину меньше, чем обязался поставить. Фабрику посетил казенный инспектор, опытный горный инженер, который раз в год проверял горнопромышленные предприятия уезда. Моя фабрика была первым предприятием такого рода в Сибири. Инспектор поздравил моего отца с "талантливым сыном", разработавшим интересную и дешевую технологию, а затем опубликовал хвалебную статью в отраслевом петербургском вестнике. Но в то время, как он приносил поздравления моему отцу и сочинял свою оду, талантливый сын уже понял, что потерпел крупную неудачу.

Инспектору я, естественно, ни полсловом не обмолвился о своих бедах. К тому времени я уже догадался о причине неудачи. В тот год, когда я проводил опыты, наш район постигла засуха, сильнейшая за последние 37 лет. Отсутствие дождей и сухой жаркий воздух ускорили процесс сушки и привели к увеличенному выходу продукции. Следующий же год оказался, наоборот, дождливым.

Это был первый удар, постигший меня в моих попытках содействовать промышленному развитию Сибири. Ведь я обязался поставить определенное количество продукции и получил аванс. С тяжелым сердцем отправился я к Белоголову в Иркутск. Однако, против ожидания, он не выказал ни малейших признаков неудовольствия и даже, напротив, принялся меня утешать, говоря, что такое может случиться с каждым новаторским предприятием. Он был настолько великодушен, что согласился взять вместо недостающего порошка кристаллическую соль, хотя она содержала более 50 процентов воды.

Возвратившись к себе, я несколько месяцев безвыездно просидел в соседнем с фабрикой селе, испытывая разные способы сушки, пока не нашел, как удалять воду из кристаллов, не успевших про-

сохнуть на солнце: нагревом с помощью обыкновенных дров.

Я проделал также успешные эксперименты по извлечению соли с помощью замораживания в зимний сезон. Как ни странно, впоследствии эта работа помогла мне при расшифровке анализов вод Мертвого моря, благодаря чему я пришел к гипотезе о возможности добычи соли из этих вод методом испарения, самым подходящим в условиях жаркого климата.

При постройке фабрики я обнаружил полное отсутствие квалифицированных рабочих — если не считать несколько ремесленников: плотников, слесарей и печников. В этих малонаселенных краях промышленности просто не было. Да и во всей Сибири — кроме добычи полезных ископаемых, золота, свинца и, позднее, угля, — имелись только винокуренные заводы, кожевни и несколько мыловарен, две суконные фабрики, два литейных и два больших стекольных завода. Постройка фабрики вдохнула в маленькое село Альгу новую жизнь. Почти все жители получили работу. На фабрике работали тридцать — сорок девушек, выуживая с помощью решетчатых лопат кристаллическую соль из больших плоских ванн, в то время как их братья и отцы возили с озер сырье, доставляли дрова и другие материалы.

Многим помогли мне тридцать молодых ссыльных, рабочие и интеллигенты, прибывшие в то время в Баргузин. Они превратились в мой штат специалистов, и я с удовлетворением вспоминаю нашу совместную работу. Спустя лет восемь один из них стал управляющим фабрикой, и в конечном счете я передал все руководство в его руки, наезжая туда не чаще чем один раз в год, в октябре, для обсуждения итогов сезона и составления плана работ на следующий год.

В дни Февральской революции эти ссыльные надели красные нарукавные повязки и служили в милиции при местном ревсовете.

Я, само собой разумеется, испытывал удовольствие и при виде дыма, стелющегося из труб фабрики близ

заброшенного села Альга — первой фабрики в этой части Сибири, и от появления чистого, белого стекла на сибирских рынках. Под конец фабрика поставляла сернокислый натрий всем стекольным заводам Восточной Сибири. Со временем, в 1907 году, я построил фабрику по типу первой и в Западной Сибири, в районе Минусинска, близ Енисея. Поездка из Баргузина на эту вторую фабрику — на лошадях, поездом и на кораблях по Байкалу и Енисею — длилась семь-восемь дней. Рядом с маленьким сельцом Черново была обнаружена чистая поваренная соль. Спрос на нее был велик, особенно ввиду развитого на Енисее рыболовства, а ближайшее предприятие по выпуску поваренной соли находилось на Урале в Пермской губернии. Таким образом, минусинская фабрика наряду с глауберовой солью начала поставлять на рынок и столовую соль, обеспечивая всю потребность края. Обе фабрики существовали, и весьма успешно, вплоть до прихода большевиков.

Из частых посещений этих двух предприятий, расположенных в забытых, отдаленных углах, я вынес воспоминания о сердечных и дружественных отношениях между администрацией фабрик и окрестным населением. По воскресеньям и в праздники прихожие домов, где я останавливался, были полны крестьян, крестьянок, а на крыльце можно было видеть цыплят, поросят, корзины с яйцами и овощами. Подношения эти делались в знак благодарности за оказанную мной медицинскую помощь. В немецких училищах по горному делу, как средних, так и высших, преподавался курс элементарной медицины. Это мне чрезвычайно пригодилось во время изыскательских работ и на строительстве фабрик в различных медвежьих углах. При мне всегда был запас лекарств, я прилежно читал медицинские справочники и руководства и состоял в переписке со знакомой женщиной-врачом из Красноярска и с моим старым другом, медиком в Иркутске.

Я возил с собой блокнот для регистрации визитов больных и записи назначенных им лекарств. Среди за-

бавных случаев, частых в моей медицинской практике, особенно запомнился мне один: пришел старик из далекого села и попросил лекарство, которое я ему прописал в прошлый раз и которое ему очень помогло. Я заглянул в дневник, но его имени не нашел, да и лицо казалось мне незнакомым. "Что-то я тебя, дедушка, вспомнить не могу... Когда ты у меня был?" – "Ваша правда, – отвечал он, – не я у вас был, а моя старуха, глазами приболела. Хорошую такую примочку дали к глазам прикладывать, ей сразу полегчало. А у меня уже давненько живот распирает, спасения нету. Давай, говорю, попробуем и мы это лекарство. Немного попил вашу примочку, и хорошо подействовало. Дайте-ка мне ее снова". Это был слабый раствор борной для дезинфекции глаз.

Сообщение с соляными озерами в окрестностях Баргузина не представляло трудности. Другое дело – сообщение с медными рудниками. Они находились в горах, в безлюдной тайге – часть дороги проходила по охотничьей тропе, а дальше приходилось пробираться по полному бездорожью, на коне или в оленьей упряжке, без каких-либо ориентиров, если не считать окрестных сопок. Шесть-семь дней продолжался путь из Баргузина до подножия гор, где на вершинах, вздымавшихся на тысячу метров над равниной, на высоте были открыты залежи меди. К этим вершинам, покрытым вечными снегами, добраться можно было только на охотничьих лыжах. Они отличались от спортивных – шире, короче и подбиты шкурой, обычно шкурой собаки. На таких лыжах удобно ходить по лесу и подыматься в гору.

По пустынной тайге кочевали племена орочей. Они служили мне проводниками во время первого моего похода, они и вывели меня туда, где натыкались в своих скитаниях на непонятные им залежи. Так как в этих просторах никакого постоянного жилья не было, то приходилось брать с собой всю провизию – летом копченое мясо, вяленую рыбу и сухари, зимой – мороженое молоко, мороженый суп и мороженое мясо. В пути

мы проводили ночи под открытым небом, у костров, не снимая с себя одежды. Орочи, как и полагается кочевникам на севере, зимовали в юртах, крытых оленьими шкурами, и чувствовали себя прекрасно, несмотря на жестокую стужу. Позднее, когда были возведены все необходимые для жилья и работы постройки – мастерские, склады и так далее, – я пригласил группу орочей к себе на ужин с ночлегом, дабы отблагодарить за гостеприимство; которым пользовался в их юртах. Ночь была студеная. Я постелил им на полу в одной из комнат в уверенности, что они будут рады случаю переночевать в тепле. Ночью, однако, я услыхал какое-то шевеление; выйдя поглядеть, в чем дело, я не нашел в комнате ни души. Все мои гости отправились спать на улицу. Их легкие не выносили подогретого воздуха, и они задыхались от нашего комфорта и цивилизации.

Еще одно племя населяло наш край – буряты, родом из Монголии. Они жили близко от Баргузина, были нашими соседями и поддерживали с нами самые тесные отношения. Но орочи, в отличие от бурят, тщательно заботились об опрятности своего нехитрого хозяйства, блюли порядок дома, нравственность в семейной жизни и отличались неподкупностью. Если после смерти главы семьи или племени за ним оставался долг, орочи разыскивали кредитора и возвращали деньги.

Предполагается, что название "орочи" происходит от манчжурского слова "оронтчен" – владельцы оленей. Их можно считать северной или сибирской ветвью тунгусов. Кочевали они до истоков Амура и вдоль впадающих в него рек, по Приморью, в бассейне реки Уссури, а также по всему Забайкальскому краю. В Баргузинском уезде их насчитывалось только двести–триста человек, звались они "горными орочами" или "кочевыми тунгусами", по терминологии царских статистиков. В мое время их считали племенем финской расы, теперь же им приписывают монгольское происхождение.

Два года я занимался изыскательскими работами в

районе залежей меди. Финансировала меня знаменитая немецкая фирма "Металл-Гезельшафт" из Франкфурта-на-Майне. Изыскания пришлось прекратить из-за Русско-японской войны и революции 1905 года. Медь залегала там не в виде жил или пластов, а отдельными скоплениями, что весьма затрудняло работы.

С тех пор миновало почти полвека, но когда я засел за эти воспоминания, далекие события ожили, и я заново пережил радость походов в те запредельные места, верхом на лошади или в оленьей упряжке, прелесть романтических ночей у горящего костра, и сердце наполнилось благодарностью к орочам – моим друзьям тех лет.

Два случая из того периода глубоко запечатлелись у меня в памяти. Между ними не существовало никакой связи, но оба произошли в районе, где шла разведка медной руды. Один связан со знакомством, которое у меня завязалось с ссыльными уголовниками; второй – с человеком, которого я поставил руководить проходческими работами и который потом сыграл крупную роль в большевистской революции на Урале.

В ста двадцати километрах к северо-востоку от места работ стоял (и, вероятно, стоит по сей день) заброшенный поселок – Верхний Ангарск, со смешанным русско-тунгусским населением, семей пятьдесят–шестьдесят. Там была пушная фактория. Охотники – русские и тунгусы – выходили оттуда на промысел на целые недели далеко в тайгу, били белку и особенно – драгоценного соболя. Раз в год на факторию приезжали купцы скупать меха и продавать охотникам провиант и снасть. Кроме лесной тропы, пробитой верховыми, не было никакой дороги в этот край, забытый богом и людьми. Ввиду его географического расположения сбежать оттуда было почти невозможно, и это побудило власти избрать Верхний Ангарск местом поселения самых опасных уголовных преступников, по тем или иным причинам избежавших смертной казни. Эти ссыльные попадали в Ангарск, уже отбыв долгосрочную каторгу на шахтах и в других местах. В посел-

ке они не находили себе никакой работы. Кроме того, после долгих лет каторги и тюрьмы их тянуло к людям, в города. Поэтому, не страшась неимоверных трудностей, они покидали Ангарск и пешком добирались до населенных мест за Байкалом. Узнав, что в тайге, на расстоянии пяти-шести дней ходьбы от Верхнего Ангарска, ведутся шахтные работы, они потянулись на медные рудники.

Когда появились первые уголовные, перед нами встал вопрос: что с ними делать? Принять или отказать? Посоветовавшись с моими рабочими, старыми сибиряками, я решил принимать их. У меня были следующие соображения: приходят они не группами, а по одиночке, беспомощные и голодные. Работа на руднике их, естественно, не интересовала, но она давала возможность подработать немного денег, чтобы двинуться дальше, в населенные места. Добыть копейку им надо было так или иначе. На рудниках не было ни полиции, ни какой-либо другой охраны, да и оружия очень мало: безлюдная тайга — только от зверя обороняться, больше не от кого. С другой стороны, если не помочь им прикопить денег — сами возьмут да еще накуролесят. Многие из уголовных, пришедших к нам после каторги, знали буровую работу. Итак, решили мы их принять, и не пожалели об этом. Мы взяли несколько десятков уголовных, и не случилось ни одного грабежа или убийства. Подработав, они уходили мирно и спокойно.

Происшествие, сохранившееся в моей памяти, позволило мне заглянуть в глубины души закоренелого уголовного преступника. Число рабочих на рудниках было невелико – около пятидесяти человек. Большинство — коренные сибиряки, и только десяток квалифицированных шахтеров с Урала. Однажды, во время моего пребывания на рудниках, рабочий рассказал мне о ссыльном уголовнике, типичном перекати-поле, работавшем в его буровой бригаде. В утренний перерыв тот преспокойно расписывал злодейства, которые он творил в России. Среди прочего за ним числилось убийство

двух человек и убийство двух семей, загубленных целиком, с маленькими детьми. Он рассказывал обо всем этом подробно, без малейших признаков раскаяния, точно заслуженный умелец, гордящийся своими достижениями. После этого на Пасху между рабочими рудника завязалась драка, и оказалось, что преступник принимал в ней участие, – но ничего страшного не произошло.

Любопытно, что в определенной степени на уголовных можно было полагаться, невзирая на их ужасное прошлое. Они не занимались мелкими кражами и умели сдержать слово. Себя они считали аристократами среди ссыльных, и случай, который произошел у меня с преступником, о котором я сейчас рассказал, засвидетельствовал это. Однажды я сидел один в рудничной конторе, и вот является этот душегуб и говорит, что должен выходить на работу, а у него пропали рукавицы. Дело было зимой, без рукавиц нельзя ни ходить, ни работать. Он искал кладовщика, но не нашел. Я пошел с ним в комнату кладовщика, отыскал ключи, дал ему и сказал: "Пойди на склад, возьми рукавицы и верни мне ключи". Я был уверен, что он оправдает доверие и не уворует ничего. Так оно и случилось.

Занимаясь организацией работ на рудниках, я вспомнил книгу Фритьофа Нансена о его путешествии на Северный полюс в 1893–1896 годах и о правиле, которое он себе положил, – не брать в экспедицию женщин. Поскольку я собирался поселиться в далеком, безлюдном месте, где месяцами у нас не будет никакой связи с внешним миром, я решил перенять это правило Нансена. Я отступил от него только в отношении одной старушки, которую моя мать посоветовала взять в качестве стряпухи и хозяйки.

Когда из Баргузина я отправлял на рудники партию прибывших с Урала рабочих, один из них заявил, что с ним едет жена, и предъявил паспорт, в котором он был записан женатым. Я категорически воспротивился этому, но тут вся партия взбунтовалась и заяви-

ла, что не поедет на рудники. "Не может человек бросить жену в чужом месте на произвол судьбы или отослать ее назад на Урал за четыре тысячи километров, – говорили они. – Даже лучше, чтобы с нами была женщина, заодно будет стряпать и нам". Я оказался в безвыходном положении: других квалифицированных рабочих я бы не нашел, а без них невозможно приступить к делу. Пришлось согласиться.

Некоторое время спустя, возвращаясь на рудники из поездки в Баргузин, я заметил группу верховых, выехавших из леса. Их было человек шесть, двое с ружьями, и среди них женщина. Это, несомненно, были люди с рудников, потому что, кроме них, тут некому было ездить. Я понял: что-то стряслось. Из записки, врученной мне десятником, и подробного рассказа одного из рабочих выяснилось, что дело обстояло так: справляли Пасху и выпивали. Кто-то начал тискать молодую женщину – ту, которую рабочий с Урала отрекомендовал мне своей женой. "Муж" кинулся с ножом на ухажера и нанес ему глубокую, но неопасную рану. Двое вооруженных рабочих из баргузинцев повезли виновника в Баргузин, чтобы сдать его в полицию. На рудниках я узнал дополнительные подробности. Уголовник, о котором я рассказал, тоже был там. Видя, как нож вонзается в тело, он подскочил к ухажеру и силой развернул его так, чтобы лезвие угодило прямо в сердце: душа убийцы, очевидно, не могла смириться с видом ножа, колющего мимо цели в руках неопытного любителя. На наше счастье, он опоздал, лезкие прошло мимо сердца. Выяснилось также, что женщина вовсе не была женой удальца, как ранее утверждали рабочие, а просто гулящей девкой, которую они прихватили в Иркутске. "Прав был Фритьоф Нансен", – сказал я себе.

Несколько лет спустя мне понадобился печник. До меня дошел слух о хорошем мастере, проживающем в одном из сел под Баргузином. Я отправился туда и зашел в дом к хозяину, у которого печник работал. Крестьянин подвел меня показать печь и заодно свести

с мастером. Дело было к вечеру. С пода уже почти сложенной громадной русской печи вылез человек, внешность которого показалась мне знакомой. Вглядевшись в меня, он поздоровался и назвал меня по имени-отчеству. Печник был не кто иной, как тот самый преступник с медных рудников, пытавшийся подставить человека под верную смерть от ножа. Мне вспомнилось все, что с его собственных слов рассказывали о его уголовном прошлом в России. От одного воспоминания об этих рассказах мороз пробирал по коже. Но он жил у крестьянина в доме, и вся семья хвалила его как искусного и честного мастера. Он хорошо зарабатывал и, возможно, успокоился.

Второе событие, связанное с медными рудниками, произошло примерно в то же время.

Мне требовался человек с техническим горнопромышленным образованием и стажем практической работы. Приятели порекомендовали мне одного такого, и я пригласил его к себе на рудники. Он родился на Урале и там же получил образование в шахтерском училище. О его политических взглядах я ничего не знал. Дело было за пятнадцать лет до Февральской революции и года за два до революции 1905 года, так что вопрос о политических взглядах не был актуален. Я считал, что он мне вполне подходит, тем более что набранные мною квалифицированные горняки тоже были с Урала и десятник легко нашел бы с ними общий язык.

Приехав однажды на рудники, я обнаружил, что там не все благополучно: среди рабочих началось брожение; они грозили стачкой, которую отложили только до моего приезда.

Я вспомнил, как однажды по пути на рудники у меня в Баргузине побывала горняцкая бригада с Урала. Случайно в то же самое время у меня сидел знакомый управляющий золотых приисков, человек в отношениях с рабочими опытный. Это был старый сибиряк, из тех, что заслужили прозвище "сибирских волков": молчун, рта не раскроет без серьезного дела, а если ответит, то коротко и точно. После того, как уральцы

вышли из комнаты, я спросил, какое у него сложилось впечатление.

— Так, кажется, ничего; только штаны длинные — от них толку не будет.

Из-за грязи, заливавшей русские дороги и улицы, особенно в провинции, рабочие да и другие сословия имели обыкновение заправлять штаны в сапоги. В таком виде ходил и Сталин до того, как во время последней войны присвоил себе звание генералиссимуса. В бригаде уральцев один щеголял в брюках навыпуск. Мой приятель тотчас заметил эту деталь. Очевидно, он имел в виду, что это — новый тип рабочего, познакомившийся уже с политической агиткой.

И вот теперь на рудниках в контору явилась делегация с требованиями и жалобами на администрацию. Главным оратором оказался "длиннобрюкий". Меня поразило, что больше всего жалоб было на их же земляка, десятника-уральца. "Он только и ищет, как бы нас побольше эксплуатировать, — твердил тот самый, в брюках навыпуск, — и кроет нас матом". Разобравшись с рабочими, я обратился к десятнику, на столе у которого мне однажды случилось видеть раскрытый том Карла Маркса. "Как же это, Федор Федорович, штудируете Маркса и матюгаете рабочих? Ведь этому он не учит".

Несколько месяцев спустя, когда я был в Баргузине, ранним утром ко мне внезапно пожаловал уездный горный инспектор. Медные рудники находились в его ведении. Отношения между представителями власти, их помощниками и жителями нашего маленького города были в те времена простыми и патриархальными. Обращаясь, называли друг друга по имени, иной раз вместе пропускали по рюмке, вечерами играли в карты, а когда мои сестры подросли — собирались у нас в доме на танцы, ибо увеселительных заведений или общественного помещения для танцев в городе, конечно, не было. На еврейскую Пасху, как и в дни христианской Пасхи и Рождества, столы ломились от яств, и городское начальство являлось поздравить нас

с праздником, а мы наносили ответные визиты.

Войдя, инспектор сказал, что хочет переговорить со мною с глазу на глаз.

Мы прошли в соседнюю комнату, и тут я услышал следующее:

– У вас на медных рудниках находится человек по фамилии Сыромолотов. У меня приказ немедленно выехать туда с жандармами, произвести обыск и в случае, если найдется что-нибудь подозрительное, – арестовать его и отправить в Екатеринбург. – Он показал мне распоряжение. – Садитесь-ка, черкните ему пару слов, чтобы припрятал, ежели ему есть что прятать, – ибо как вы останетесь без десятника, кто будет вести работы? Вашу записку я ему передам, как только приеду, и пока мы там немножко обогреемся и побалуемся чайком (дело было зимой), он все успеет.

Я поблагодарил, вспомнил о том самом томе Маркса, написал записку и вручил инспектору. Возвратившись, тот сказал, что при обыске ничего не обнаружил, но, тем не менее, советует мне побыстрей спровадить этого человека. Я тоже понимал, что Сыромолотову нельзя дольше оставаться у меня, и мы расстались.

В следующем году я остановился в Екатеринбурге проездом в Петербург. Сыромолотов забежал ко мне в гостиницу, мы вспомнили медные рудники, поговорили об уральских горнопромышленных предприятиях, где он продолжал служить. О политике разговора не было. Он помог мне советами в связи с заказом на станки и приборы для уральских заводов – он в этом превосходно разбирался.

Много лет спустя, когда я узнал о роли, сыгранной Сыромолотовым в большевистской революции на Урале, мне вспомнился еще один случай на медных рудниках.

Руду брали на вершинах двух сопок, а в разделявшей эти сопки долине стояли все строения: жилые постройки, склады, мастерские и т.д. От одного карьера до другого было несколько километров. Я их осматривал по очереди: сегодня ездил на одну сопку, а на-

завтра подымался на другую. Однажды зимой, запасшись провизией, я отправился с одной сопки на другую, не заехав домой. Вернулся вечером и, когда стащил с себя меховые унты, убедился, что отморозил палец на ноге. Я принялся растирать его снегом, не помогло: палец опух, появилась ранка, а рядом небольшое черное пятно. Единственным врачом в этих местах был я сам. У меня имелся запас примочек, перевязочного материала и т.п. Но прошло дня три-четыре, а ранка не затягивалась, хотя я прикладывл к ней ртутную мазь и ксероформ. Каждый вечер я в присутствии Сыромолотова мерил пятно циркулем и убеждался, что чернота расползается.

Я начал опасаться гангрены. Хирурга нет, откуда ему тут взяться? Нет и телеграфа. Послать за врачом в Баргузин? Так он не хирург, и даже если приедет, это займет девять–двенадцать дней! Сыромолотов тоже подозревал, что у меня начинается гангрена. Требовалась операция, но хирургических инструментов у нас не было.

– Послушай, Федор Федорович, если я тебя попрошу отсечь мне палец топором, сумеешь?

– Отчего же нет, конечно, сумею.

Договорились последить за пятном еще немного и, если будет продолжать расти, прибегнуть к помощи топора, предварительно ошпарив его для дезинфекции кипятком.

Этот незначительный случай и слова "отчего же нет, конечно, сумею" всплыли у меня в памяти, когда я узнал об участии Сыромолотова в расстреле царской семьи*.

---

* По утверждению корреспондента "Таймс" Уилтона, большинство участвовавших в убийстве царской семьи были евреями. Это вздорный вымысел: Белобородов, Сыромолотов и другие – русские.

* * *

Третий по счету металл, встречавшийся в Баргузинском уезде, – это, конечно, золото. Золотые россыпи и самородки уже с семидесятых годов притягивали русских старателей. После пробных поисков и намывов золотоискательство стало в уезде регулярным промыслом и серьезным источником заработка для местного населения. Прииски начинались в трехстах километрах от Баргузина и, с перерывами, тянулись на сотни километров к северу и северо-востоку. Подобные россыпи имеются в Калифорнии, Австралии и Новой Зеландии. Обычно они расположены вблизи рек и представляют собой берега древних высохших русел.

В Баргузинском уезде золото добывалось примитивным способом, почти без применения машин. Кроме плановой эксплуатации новых делянок, частью шахтным способом, частью в открытых карьерах, велась кустарная добыча в тайге: там старатели работали "от себя", то есть по договоренности с хозяином прииска, получали известную плату за каждый намытый золотник. Были это в основном китайцы: ежегодно они тысячами приходили в тайгу, большинство – из Ханкоя.

Применявшиеся в те времена способы сепарации золота – как в Сибири, так и в других странах – не могли обеспечить полного извлечения драгоценного металла из породы, и часть золотого песка пропадала в отвалах, именуемых "хвостами". Эксплуатация "хвостов" русским способом была экономически невыгодна. В Калифорнии и Австралии недавно был введен химический способ извлечения золота из отходов, но до Сибири он еще не дошел. За эти "хвосты", копившиеся десятками лет, взялись китайцы. Они промывали песок в маленьких лотках и собирали золотники. В то время и материальный уровень их жизни и степень развития технической мысли были примерно на том же уровне, что у арабов в Египте. Почему-то срок пребывания китайцев на золотых

приисках Баргузина ограничивался четырьмя годами.

Поучительным было отношение старожилов, тех, кто тут уже проработал несколько лет, к новичкам. Как только китаец приходил на прииск – они всегда приходили одни, без жен, – ему немедленно оказывалось гостеприимство в одном из бараков, где проживали его сородичи. На деньги, собранные по кругу, старожилы покупали новичку нехитрый старательский инструмент: кирку, две-три лопаты, лоток и тому подобное. Китайцы содержали и кормили новичка, пока он не начинал зарабатывать самостоятельно. После четырех лет, накопив необходимую сумму, он начинал готовиться к возвращению на родину. Прежде всего покупал лошадь, затем выезжал в тайгу и возвращал долги всем, у кого брал взаймы. Лишь после этого китаец возвращался на родину, с тем, чтобы через год-два снова отправиться на заработки, на очередной четырехлетний срок. Всякий раз, когда мне случалось сталкиваться с китайским образом жизни и их традициями, мне невольно думалось, что европейцам следовало бы у них поучиться и кое-что перенять.

Механических способов добычи золота было тогда два: гидравлический и с помощью экскавации. Русские инженеры обучились им в Новой Зеландии, куда специально для этой цели были посланы.

Гидравлический способ заключается в том, что на прииск подают воду из источника, расположенного выше уровня карьера, – из горных ручьев или искусственной запруды, – и гонят ее под очень большим давлением, пока она не попадает в гидромонитор – некоторое подобие пожарного насоса с рукавом, – направляя мощные водяные струи на золотосодержащую породу. Вода дробит породу, уносит на соломенные циновки или в специальные сита, и там золото улавливается и оседает в силу своего большого удельного веса, в то время как земля и каменные обломки, более легкие, чем золото, уносятся дальше, в дренажные канавы и сбрасываются в низину.

Главная суть способа экскавации состоит в том,

что драга – обычная землечерпательная машина, какой пользуются для углубления дна рек и каналов, опрокидывает содержимое своих ковшей на те же циновки или сита, а далее все происходит так, как при гидравлическом способе.

Чрезвычайно заинтересовавшись этим делом, я продумывал возможность внедрения вышеописанной механизации в практику золотодобычи в Баргузинском уезде. Однако условия здесь были совершенно иными, чем в Калифорнии, Австралии и даже Енисейской губернии. Местные прииски находились в местах, где не было никаких дорог. На сотни километров от Баргузина до приисков тянулись лишь тропы, проложенные верховыми, да совершенно девственные участки. На телеге можно было проехать только первые сто двадцать километров. Грузы доставлялись только зимой, окольными путями, по льду замерзших рек. Так перевозили припасы, товары и оборудование для приисков. На всех этих пространствах тогда не было ни почты, ни телеграфа, ни человеческого жилья. И еще одно обстоятельство препятствует ведению работ – вечная мерзлота. За короткое лето почва оттаивает всего лишь на сорок–пятьдесят сантиметров. Ниже земля мерзлая и твердая, как камень.

В приисковых районах Австралии, Новой Зеландии и Калифорнии, равно как и в районе Енисея, не было проблемы вечной мерзлоты. Она впервые возникла, когда золото было найдено на Аляске, где тоже имелись зоны вечной мерзлоты. Там пользовались методом искусственного отогревания грунта с помощью горячего пара – но это делалось не на дне рек, а в россыпях, по берегам высохших русел.

Ясно, что внедрение экскавации на приисках Баргузинского уезда было сопряжено с чрезвычайно большими трудностями и риском для вкладчиков капитала. Механизмы и трубы можно было заказать на Урале, а вот большие землечерпалки, а также паровые котлы и оборудование для промывки песка и извлечения золота приходилось заказывать за рубежом и доставлять

на место размонтированными. Три трудности стояли на пути претворения в жизнь этой заманчивой идеи: во-первых, требовались крупные средства для закупки дорогих машин и механизмов и доставки их в Сибирь; во-вторых, перевозка оборудования из устья реки Баргузин в сердце тайги должна была осуществляться по бездорожью; в-третьих, оставалась проблема вечной мерзлоты.

Финансировать этот план помог мне Б.К. Полежаев, владелец больших приисков вдоль реки Ципикан. Я получил у него в аренду поля, в обмен на обязательство установить на Ципикане драгу для добычи золота со дна реки. Он был заинтересован в этом и рассчитывал, что экскавация значительно повысит добычу золота на его приисках. В качестве займа Полежаев дал мне средства на покупку механизмов и их доставку до Баргузина, с тем чтобы я расплатился с ним золотом, которое добуду (к Полежаеву я вернусь в конце главы "Ночи в Смольном").

Драгу и машину для сепарации золота я заказал осенью 1912 года, но прошло около года, прежде чем их доставили к берегам Байкала. В короткие летние месяцы груз плыл на английском судне из Лондона через Карское море до устья Енисея, по так называемому "Северному пути", который только что был открыт и сыграл важную роль в двух мировых войнах. Близ Туруханска, в северной части Енисея, оборудование перегрузили на специально зафрахтованный корабль. Туда же направился и я с группой специалистов по морским перевозкам. Приближалось время ледостава, и у портовиков было только три дня на разгрузку морского судна и погрузку речного. Был риск, что судно вмерзнет в льды, и тогда нам придется уплатить крупный штраф его владельцам, а доставка механизмов и их установка задержатся на десять месяцев. Но грузчики работали в три смены – круглые сутки, и холода, к нашему счастью, запаздывали, что нас и выручило.

После шестидневного плаванья по реке корабль

пришел в Красноярск – на сибирской магистрали. Тут механизмы были перегружены на железнодорожные платформы и доставлены на станцию Байкал. Переброска по железной дороге заняла еще шесть суток. Со станции Байкал груз снова повезли домой: перевалили на судно, которое плавало по Байкалу и было специально на этот случай заарендовано, а через двое суток выгрузили на противоположном берегу в устье реки Баргузин. На этом завершился первый этап доставки механизмов из Англии в сердце Сибири.

Эта операция, хотя и запутанная, куда проще, чем транспортировка тяжеловесных частей машин на сотни километров вглубь тайги в условиях гористой местности и полного бездорожья. Сделать это можно было только гужевой тягой, на особых волокушах и только зимой, когда лед на реках становился достаточно крепок, а горные ручьи заметало глубоким снегом. Такого громоздкого и тяжелого груза в этих местах еще никто никогда не перевозил. Только самые сильные и выносливые лошади могли справиться с этой задачей. Мне помог отец, страстный лошадник, который знал наперечет всех лучших коней уезда и сам любил участвовать в бегах на особых беговых санках по речному льду. Крестьяне из окрестных сел обращались к нему за советом по поводу купли-продажи лошадей, их лечения, определения возраста, статей и цены. Он взялся организовать транспортировку драги к месту ее сборки. Для этого построили специальные сани и со всего уезда собрали самых сильных коней.

Дело началось в конце октября и благополучно завершилось в начале мая, когда лед на реках стал уже ненадежным. Некоторые части машин все-таки провалились в полыньи и ушли на дно, но это были самые легкие по весу детали. Их можно было заказать повторно и доставить летом, вьючным путем.

Два года я бился в поисках способа одолеть мерзлый грунт речного дна. Тут никак не годились средства искусственного оттаивания. Я ставил на маленькие плоты ручные черпалки и с их помощью изучал дно

Ципикана на том участке, где должна была работать драга. К моей радости, я убедился, что благодаря стремительности течения этой горной реки ее дно оттаивало даже быстрей, чем берега под воздействием солнечного тепла. С начала июня, когда река освобождалась от ледяного покрова, мы промеривали толщину оттаявшего слоя. Плот спускался вниз по течению, а потом его волокли вверх, останавливаясь для замеров. Это была своего рода плавучая лаборатория. В местных климатических условиях драга могла работать не более ста дней в году, с начала июня по десятое сентября, то есть до ледостава. За это время надо было вычерпать со дна весь тонкий золотосодержащий слой — и мы убедились, что это возможно.

14 июня 1914 года (по старому стилю) на Ципикан была спущена первая в Восточной Сибири драга, построенная для экскавации золотоносного грунта, и начала ворочать глыбы земли и валуны, извлекая с речного дна золотоносный песок.

Среди приглашенных на торжественную церемонию присутствовал один бурят, приятель отца. Когда на драге вспыхнули электрические лампочки — электричества в этих местах никто не видывал — и тяжелая стальная цепь с подвешенными к ней вместительными ковшами задвигалась со скрежетом и грохотом, обычным для всех землечерпалок, бурят упал ничком на палубу драги, прижался лбом и ладонями к полу и в ужасе начал молиться. "Это не дело рук Будды, — бормотал он, — это дело рук дьявола".

Из Англии со мной приехал для сдачи оборудования представитель фирмы, у которой я купил драгу, полковник Монд. Я упоминаю его здесь, потому что запомнил наши беседы в течение трех недель совместного путешествия. Мы проделали вместе путь из Лондона до Москвы и оттуда транссибирским экспрессом до Красноярска на Енисее. Монд был типичным английским тори и явным антисемитом. Во время плаванья на грузовом судне из Красноярска в Туруханск мы были совершенно отрезаны от внешнего мира. Как-то я

спросил Монда, верно ли, что Ллойд-Джордж собирается назначить лорда Ридинга членом Верховного суда. Монд усмехнулся:

– Никогда этому не бывать!

Мы долго не видели газет, и когда вернулись в Красноярск, он поинтересовался новостями из Англии. Я сказал:

– Лорд Ридинг назначен членом Верховного суда.

Он взглянул на меня с сомнением и попросил перевести ему газетное сообщение слово в слово.

– Вы разыгрываете меня! – заявил он, когда я умолк. Когда же он убедился, что я не шучу, то откинулся на спину дивана и воскликнул: – Англия пропала!..

Драга проработала несколько лет до ее конфискации большевиками. Эти годы подтвердили результаты, полученные моей плавучей лабораторией. Осенью 1915 года я выступил в "Союзе горных инженеров" в Петербурге с докладом о новом механизированном способе разработки мерзлых грунтов.

Я так подробно остановился на этом способе добычи золота в отдаленных районах, чтобы дать некоторое представление о трудностях, с которыми была связана любая попытка покорения безлюдной тайги и продвижения в нее цивилизации и промышленности. Однако я был безмерно увлечен моей работой, и удовлетворение от успеха вознаградило меня за все хлопоты и труды.

Глава седьмая

НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ (1905 г.)

Я находился в Иркутске, когда в редакции местных газет начали поступать телеграммы о событиях 9 января. Временная перемена политической атмосферы, недолговечная "оттепель" давала знать себя и в Сибири. Многие старые революционеры, которые провели долгие годы в тюрьмах и на каторге, а затем были сосланы в отдаленные села, получили разрешение поселиться в Иркутске, столице Восточной Сибири.

Старые ссыльные собрались в тот вечер в доме моей сестры, чтобы обсудить неожиданные новости, полученные из Петербурга. Гости были взволнованы и полны надежд. Ясно, что революция на подходе, и каждый думал о том, как пробраться в европейскую часть России, поближе к грядущей буре и послужить революционному делу.

Сам я приехал в Петербург в начале февраля 1905 года, через несколько дней после того, как в Москве был убит великий князь Сергей, и поселился в маленькой гостинице в Столярном переулке.

26 февраля, возвращаясь из горного министерства, я увидел огромную толпу, стоявшую перед гостиницей "Бристоль", на углу Морской и Вознесенского бульвара. Гостиница была оцеплена веревками. Утром там произошел сильнейший взрыв в номере человека, представившегося британским подданным по имени Джордж Мак-Коллок. Долго задерживаться на месте было бы не слишком умно, так как множество шпиков прощупывали глазами каждого прохожего.

Смысл этого взрыва я понял несколько дней спустя. Женщина, которую я знал в Иркутске и которая случайно оказалась в Петербурге, сообщила мне, что в городе находится моя старая приятельница

Прасковья Семеновна Ивановская и хочет со мною встретиться. Ивановскую я знал еще с тех времен, когда она жила у нас в доме в Баргузине, после нескольких лет тюрьмы. Она принадлежала к той небольшой группе женщин, которые посвятили борьбе за свободу всю свою жизнь и провели ее по тюрьмам, на каторге и в ссылке; таких, как казненная Перовская, как просидевшая 25 лет в ужасных казематах Шлиссельбургской крепости Вера Фигнер, вышедшая на свободу только после революции 1905 года, и Екатерина Брешковская, о которой я уже рассказывал.

Ивановская в юности тоже "пошла в народ", была арестована и отправлена на каторгу в Забайкалье. Там она вышла замуж за политического заключенного Волошенко и в конце 90-х годов с мужем и маленькой дочерью попала на поселение в Баргузин. После трагической гибели ее единственного ребенка она бежала из Сибири за границу и в Женеве вступила в эсеровскую боевую организацию, которую возглавлял Борис Савинков.

Уезжая из Баргузина, Ивановская оставила мне книгу одного из русских писателей. Определенные строки и страницы этой книги были подчеркнуты, чтобы в случае необходимости служить шифром. Из наших многочисленных бесед ей было известно, что я во многом являюсь ее сторонником, знала она также и мое отношение к террору. Я считал, что это недостойное средство политической борьбы в свободных странах, но признавал, что не следует отказываться от террористических актов в государствах, которые не оставляют человеку иной возможности бороться с тиранией и жестокостью. В таких условиях я видел в терроре вынужденную необходимость, ибо заключенное в нем зло менее безнравственно, чем войны между просвещенными странами.

Получив от нее весточку, я договорился встретиться с ней у одного из моих приятелей. Тут она мне рассказала, что взрыв в гостинице "Бристоль" явился для организации двойным ударом: погиб главный специалист

по взрывчатке, а с ним был уничтожен взрывом весь запас бомб, который имелся у организациии в Петербурге. Джордж Мак-Коллок, он же Максимимилиан Швейцер, был занят в номере изготовлением четырех бомб. 1 марта , в годовщину убийства царя Александра Второго, двор собирался на заупокойный молебен в Петропавловской крепости, месте захоронения царей. Было известно, что в тот день туда прибудут великий князь Владимир (дядя царя), генерал Трепов (военный губернатор Петербурга) и министр внутренних дел Дурново. Дорога к крепости вела через Троицкий мост, близ которого и собирались осуществить покушение. С этой целью изготовлялись три шестифунтовые бомбы и одна в двенадцать фунтов, чего по расчетам хватало, чтобы покончить всех. Неудивительно, таким образом, что три комнаты в "Бристоле" были совершенно разрушены, а в остальных выбило окна. Швейцер был молодым, 24 лет, студентом Московского университета, уже побывавшим в ссылке в Якутии, а затем изучившим пиротехнику в подпольной лаборатории по изготовлению бомб в Париже, где он выдавал себя за греческого торговца.

После этого события организация возложила свои надежды на меня. Ивановская знала, что по роду моих занятий в Баргузинском уезде я часто пользовался взрывчатыми материалами из казенных источников. Поэтому она обратилась ко мне с просьбой раздобыть для организации динамит в требуемом количестве и как можно быстрей. Получить его в Петербурге было невозможно, но я переговорил с моим московским другом и в конце концов сказал, что просьбу, возможно, исполню. Я встречался с Ивановской несколько раз, всегда в обстановке величайшей секретности. В то время за мною не было полицейского надзора, но пущей осторожности ради я ходил в квартиру моего приятеля (окулиста) не через парадную дверь, а через черную. Ивановская являлась позже, в часы приема пациентов, входила через парадную, сидела в очереди на прием и, лишь попав в кабинет, проходила в одну

из дальних комнат, где я ее дожидался. После разговора она возвращалась в приемную тем же путем. Таким образом, даже если за ней следили, вместе нас не могли увидеть: я оставался у доктора на ужин и уходил поздней ночью. В соответствии с правилами конспирации я встречался только с одним членом "организации" и отказывался от встреч с другими.

Однако в начале марта однажды утром я встретил на Невском бульваре старого знакомого – Г.М. Фриденсона, отбывшего долгую ссылку в Иркутске и впервые получившего разрешение на въезд в столицу. Он был в обществе Николая Татарова, которого я тоже встречал в Иркутске, у сестры. Николай Юрьевич Татаров был человеком известным: член социалистической партии в Польше, в 1901 году он был арестован в Петербурге, посажен в Петропавловскую крепость, там выдержал 22-дневную голодовку, а затем был сослан на пять лет в Сибирь. В Иркутске он примкнул к эсерам и наладил подпольную типографию, действовавшую более года. Внешне это был пышущий здоровьем великан с рыжей шевелюрой. В конце 1904 года Татаров досрочно возвратился из ссылки и вскоре был введен в состав одесского центра партии эсеров. Он часто наезжал в Петербург к старому революционеру Тютчеву, сосланному в Сибирь еще в восьмидесятом году вместе с Брешковской и, подобно ей, побывавшему в молодости в Баргузине. Ныне Тютчев принимал активное участие в организации и поддерживал связь между Татаровым и ее членами. От Тютчева Татаров узнал и о том, что в Петербурге находится Ивановская.

Во время встречи на Невском Фриденсон внезапно спросил меня:

– Вы видели Пашу (уменьшительное имя Ивановской, которым ее называли члены организации)?

Меня поразило, что старый революционер, знавший не хуже меня, что Ивановская законспирирована, задает мне подобный вопрос в присутствии другого человека, пускай известного революционера, но мне мало-

знакомого. Это было нарушением элементарных правил конспирации. Естественно, я ответил отрицательно.

– Разве вы не знаете, что она находится в Петербурге?

– Нет, не знаю.

– Но ведь она переехала в ту же гостиницу в Столярном переулке, где вы сняли номер!

Мне только оставалось выразить свое удивление. Хотя с Ивановской я встречался чуть ли не каждый вечер, я остерегался показываться с нею днем и не ходил в гостиницу, где она остановилась.

Через несколько дней, вернувшись к себе в номер, я нашел на столике записку Фриденсона. Он приглашал меня отобедать с ним в известном ресторане "Малый Ярославец" на Морской и просил сообщить по телефону, устраивают ли меня назначенные день и час. Я согласился. Примерно за час до назначенного времени я зашел в клинику доктора Гразони за письмами, приходившими к нему на мое имя. Клиника эта пользовалась в Петербурге широкой известностью, в ее пациентах числились министры и петербургская знать. Гразони тоже был сибиряком, моим другом детства с иркутских времен, и мне писали на его адрес. Когда я сказал ему, что собираюсь в "Малый Ярославец", он предложил немного подождать: мол, сейчас он поедет в том же направлении и подвезет меня в своем экипаже. Остановившись у дома одного из своих пациентов, он перед тем, как выйти из экипажа, спросил с улыбкой, могу ли я догадаться, кто этот пациент. Я, разумеется, не знал, и тут выяснилось, что это квартира начальника охранки генерала Иванова:

– Жена у него страдает нервами, а у генерала молодая любовница, вот он и хочет, чтобы я ему помог упрятать жену в сумасшедший дом.

Фриденсон ждал меня у входа в ресторан и отвел в отдельный кабинет. Там, к своему изумлению, я увидел за столом Татарова. Получив приглашение Фриденсона, я был уверен, что речь идет о встрече с глазу на глаз – чтобы побеседовать о политике, прошлых делах

и друзьях. Татарова я знал мало, и он мне не слишком нравился. Я никогда не видел его улыбающимся. Особенно странное впечатление он произвел на меня за несколько вечеров до этого обеда, в доме присяжного поверенного М.А. Кроля, проведшего в Сибири в ссылке несколько лет и хорошо известного в кругах петербургской интеллигенции. Дожидаясь вместе с гостями, когда нас пригласят к столу, я внезапно заметил, что одежда на Татарове в совершенном беспорядке, включая пуговицы на брюках. Я отозвал в сторону хозяина и шепнул ему несколько слов. Тот провел Татарова в соседнюю комнату и позаботился о его туалете. Дамы в тот вечер, к счастью, опоздали. Эта маленькая подробность врезалась мне в память, а позднее я узнал, что и другие в этот период замечали за Татаровым диковинную рассеянность.

Вся атмосфера отдельного кабинета, где нам подавали ужин, была мне не по вкусу. Во время еды Фриденсон начал разговор и повел его напрямик, без всяких предисловий.

— Вы, – простецки заявил он, – горный инженер и управляющий, у вас есть возможность легально приобретать динамит. Нам требуются теперь взрывчатые материалы. Не могли бы вы доставить нам из Сибири несколько пудов динамита?

Меня раздражал этот разговор в присутствии Татарова, тем более, что в кабинет вело несколько дверей, то и дело отворявшихся входившими и выходившими официантами. Я отчетливо ощущал, что за одной из этих дверей, слегка приоткрытой, кто-то стоит и подслушивает. Я сердился на Фриденсона, впутавшего меня в эту историю, затеявшего переговоры в присутствии третьего лица и в подобной обстановке. И я ответил, что действительно свободно пользуюсь положенной нормой необходимых мне взрывчатых материалов, но пользование ими подлежит контролю. Существует специальный дневник, где регистрируется каждый расход динамита, а также когда и на какие цели его использовали и размер остатка в кладовой. А посему,

сказал я, я не могу взять на себя задачу обеспечения кого-либо взрывчатыми материалами.

Татаров все время молчал, вперив в меня изучающий взгляд. Но тут он вмешался в разговор и начал дотошно расспрашивать о кладовых книгах, о порядках регистрации динамита и его расхода. Мне это показалось странным, однако я это объяснил себе тем, что он интересуется подробностями, дабы обойти правила, и намеревается меня убедить, что я смогу исполнить их просьбу, невзирая на контроль.

Но по окончании ужина Татаров встал из-за стола, почти не попрощавшись, быстро направился к выходу, вскочил в извозчичью пролетку и уехал. Вышли и мы с Фриденсоном. Пройдя некоторое расстояние, я почувствовал, что за нами следуют два субъекта. Чтобы в этом убедиться, я взял под руку Фриденсона и перешел с ним на противоположную сторону улицы. Вскоре позади нас снова замаячили те же две фигуры. "Расстанемся, за нами следят", – прошептал я Фриденсону.

Я повернул налево, остановил первого попавшегося извозчика и поехал. Почти тотчас я установил, что за мною едет человек в другой пролетке. Адреса я извозчику не дал, просил сворачивать то налево, то направо, но избавиться от "хвоста" не удавалось. Тут у меня возникла идея. "Поезжай-ка, – сказал я извозчику, – на Николаевский вокзал". Там ставили памятник Александру Третьему и соорудили строительные леса, где в потемках легко было затеряться. Я приготовил деньги, и как только мы въехали на привокзальную площадь, бросил их извозчику, соскочил с пролетки и смешался с толпой пассажиров, валившей в эту минуту из вокзала. Затем я побродил среди лесов по обширному пространству строительной площадки и, убедившись, что за мною больше не следят, вернулся в гостиницу. Итак, в тот вечер мне удалось скрыться от филеров.

Что этим ночным преследованием я обязан Татарову – и тем более Фриденсону, – мне и в голову не приходило. Я уверял себя, что охранка еще до того

установила слежку за Татаровым или за Фриденсоном, а может быть, и за обоими, и меня заподозрили только потому, что я оказался в их компании. И еще я предполагал, что в ресторане кто-то, возможно, подслушал наш разговор и донес о нем. Укладываясь в тот вечер спать, я очень сердился на Фриденсона за его легкомыслие, столь не подобающее опытному революционеру.

И хотя я на сей раз спасся, у меня не было уверенности, что слежка за мной прекратится. Поэтому я решил переменить местожительство, а также имя и уйти в подполье. Я переехал в меблированные комнаты на Фонтанке, записавшись присяжным поверенным из Москвы: мой тамошний друг, адвокат, прислал мне свой паспорт. Чтобы замести следы, я сказал в гостинице при расчете, что уезжаю из Петербурга. Я нанял пролетку, поехал на вокзал, сдал вещи на хранение и вернулся за ними только к вечеру. Тем временем по ночам я продолжал встречаться с Ивановской в потайном месте, и вдвоем никто нас не видал. Я был уверен, что охранка отвязалась от меня.

6 и 7 марта я ходил в полуденное время в казенную лабораторию на Казанской с пробами солей, привезенных из Сибири. И вот тут, на Казанской, я внезапно увидел Ивановскую в черной густой вуали. Не подавая виду, что знаком с нею, я готовился пройти мимо, но она схватила меня за локоть и шепотом передала новости. Эта непредвиденная встреча в публичном месте обернулась для меня тяжелыми последствиями, хотя и была минутной. В обвинительной записке, с которой меня познакомили на первом допросе, шпики эту встречу описали так:

"Я с напарником...(имярек), исполняя поручение следить за Надеждиной (кличка Ивановской), шли за нею от Столярного переулка. Не доходя лаборатории министерства торговли и промышленности на Казанской, она остановила прохожего, который нам не известен, но которого мы опознали на предъявленной нам фотографии. Переговорив несколько минут,

они попрощались. Мой напарник последовал за Надеждиной, я — за неизвестным господином. Он вошел в лабораторию, а выйдя оттуда, направился к Невскому. Я двинулся за ним".

С этого момента мое свободное пребывание в Петербурге закончилось. Из обвинительного заключения следует, что с того дня два филера ходили за мною по пятам. Они обнаружили мою новую квартиру. Одно только сбивало охранку с толку: она знала мою истинную фамилию, в то время как теперь я числился под чужой. Я знал, что за мной следят, несколько раз уходил от шпиков, но очень скоро они опять нападали на мой след. Дело было весной, а я все еще носил сибирскую доху и меховую шапку, так что уже издали был заметен. Поэтому однажды я отправился в одну из лавок Гостиного двора и купил демисезонное пальто и шляпу, а шубу с шапкой оставил в лавке с просьбой прислать их на дом. Пройдя мимо своих преследователей (я уже знал их в лицо), я понял, что на сей раз они меня не заметили. В тот день они меня оставили в покое. В рапорте это звучало так:

"Господин, за которым мы следили, покинул лавку в рядах Гостиного двора через черный ход, и мы потеряли его след до следующего утра".

Для меня было несомненно, что оставаться в Петербурге нельзя. Я решил покинуть столицу. Накануне отъезда я вернул московскому приятелю его паспорт, досконально проверил все свои бумаги и вещи и все подозрительное уничтожил. У меня уже был билет до Киева, по николаевской железной дороге, где я должен был встретиться с главой особой организации по распределению оружия, созданной в расчете на грядущую революцию. Наутро ко мне пришли два молодых врача, оба сибиряки и активные революционеры, чтобы передать устные инструкции друзьям в Иркутске. Только они вошли в мою комнату на втором этаже — как из пустой смежной комнаты донесся шорох. Я понял, что туда специально не помещали жильцов, чтобы сыщики могли за мною следить и подслушивать

разговоры. Но, кроме этого единственного визита, я не принимал у себя в комнате никого.

Когда гости собрались уходить, я сам сначала вышел в коридор, чтобы посмотреть, нет ли там шпиков. В коридоре и на лестнице не было души, однако в смежном номере слышался тот же шорох. В замке торчал ключ. Я поспешил его повернуть, заперев таким образом комнату снаружи, а ключ положил в карман. Проводив гостей на улицу, я с радостью удостоверился, что за ними никто не следует. Когда я возвратился к себе наверх, из смежного номера неслись встревоженные крики: "Где ключ? Где ключ?!" Я вошел в свою комнату и затаился. Немного выждав, чтобы окончательно удостовериться, что мои гости в безопасности, я вышел в пустой коридор и положил ключ на пол возле запертой двери. Вскоре я услыхал голос горничной: "Вот же ключ, на полу!" Дверь рядом отворилась, и раздались поспешные шаги – из номера выскочили двое, упустившие свою добычу...

15 марта я поехал вечером на вокзал, считая, что избавился от всего, что могло возбудить какие-либо подозрения. В кармане у меня лежал мой настоящий паспорт, а все счета из меблированных комнат и записки, связанные с моей подпольной работой, были уничтожены. Я занял свое место в купе, разложил вещи и спокойно принялся ждать отправления. Однако после второго звонка в вагон вошли двое: кондуктор, а за ним некто в штатском.

Первый ко мне обратился и сказал, что меня просят в зал ожидания.

– Кто просит?

– Этого я не знаю, однако просят.

– Ведь был уже второй звонок, – сказал я.

– Не беда, – проговорил второй, – поезд не убежит. Вы тотчас сюда вернетесь.

Последовав за ними на перрон, я через окно своего вагона увидал, что носильщики снимают с полки мою поклажу. Тут мне все стало ясно. Как только меня ввели в жандармскую комнату и захлопнули дверь, двое

вывернули мне руки за спину, а третий принялся обыскивать. Отобрав браунинг, который я всегда носил с собой, и все содержимое карманов, меня посадили в пролетку между двумя караульными и повезли со всем багажом и найденными при мне вещами. Я понял, почему медлили с моим арестом до второго звонка: ждали, что кто-нибудь явится провожать и найдутся дополнительные улики. Но об отъезде я никому не сказал, кроме упомянутых мною двух молодых врачей, а с ними я предусмотрительно распрощался уже утром.

Приехали в охранку. Багаж разгрузили и унесли, а меня ввели в кабинет начальника сыска Герасимова. Тот начал допрос весьма дружелюбной беседой. На столе у одной из стен сложили несколько предметов, найденных в моих чемоданах, – продолговатую стальную буровую трубу и несколько больших склянок с образцами солей. Бур я купил вместо поломанного на рудниках, а образцы были из сибирских озер и предназначались для точных анализов в казенной лаборатории. Тогда еще шла война с Японией, отправка багажа в Сибирь малой скоростью была сопряжена с риском, что его по дороге затеряют, поэтому я предпочел везти эти предметы с собой.

Герасимов ткнул пальцем в сторону бура и спросил:

– Что это такое?

– Бомба, – ответил я, – а в склянках взрывчатый материал.

Герасимов бросил на меня пронизывающий взгляд и, так как я не улыбнулся, приказал принесшим мои вещи жандармам отойти от стола и никого не пускать в кабинет. Он долго толковал о Гапоне, революционерах, моих с ними знакомствах, явно рассчитывая разговорить меня. Я с самого начала выбрал себе линию поведения, которой затем придерживался во все время моего пребывания под арестом: давать сведения только о себе самом, в той мере, в какой эти сведения не касаются других людей, и не называть никаких имен. Таким образом большая часть вопросов Герасимова осталась без ответа.

После того, как он меня допросил, меня посадили в "предвариловку". Благодаря науке, которую я прошел во время моей подпольной петербургской жизни, первую ночь за решеткой я провел в глубоком сне. Наутро мне подали хороший завтрак, причем тюремщик доложил, что на обед будет бифштекс, и спросил, желательно мне получить прожаренный или сыроватый. Весь день со мною обращались с величайшей учтивостью и более не допрашивали. Однако поздно ночью два жандарма – тоже весьма учтивые – повезли меня в закрытой карете в другое место. Когда мы покатили через Неву, я понял, что это за место: Петропавловская крепость. Причина необычно вежливого обращения со мною в течение всего времени моего ареста разъяснилась только тогда, когда я вышел на волю. Оказывается, так обращались со всеми, заподозренными в принадлежности к боевой организации эсеров, ибо власти рассматривали их как своего рода аристократов революционного движения!

Глава восьмая

В КРЕПОСТИ

Из рассказов революционеров, выходцев из Сибири, и из русских книг, опубликованных за границей, многие были наслышаны о Петропавловской крепости и о страданиях людей, побывавших в заточении в этой страшной тюрьме за двести лет ее существования – со времен Петра Первого, построившего крепость, и до падения царского режима. При мне дурная слава ходила обо всех русских тюрьмах, но самой отталкивающей известностью пользовались крепости Шлиссельбургская на Ладоге и Петропавловская по ту стороны Невы, напротив Зимнего дворца. Мы знали, что многие осуждены на пожизненное заточение в этих стенах. Мы знали, какие великие русские люди – писатели и философы, в том числе и благородные декабристы – замучены в этих застенках. Чтобы вырвать признание, здесь пользовались и пыточной системой. Такого рода мысли вихрем проносились у меня в мозгу, когда за мной замкнулась тяжелая дверь и я принялся шагать взад и вперед по камере.

Надо сказать, что режим в крепости был одинаковым для всех, кто в ней сидел. Каждый узник помещался в одиночную камеру с холодными каменными стенами и маленьким окошком под высоким потолком, железной койкой и столиком. Личные вещи у заключенного отбирались, и возвращали их лишь при выходе на свободу. Одежда состояла из холщевых арестантских исподних, серого халата и тапок. В первый месяц заключения узнику разрешалось читать только Ветхий и Новый Завет. Надзиратели хранили полное молчание. Пища была скудной, зато всегда свежей: утром черный солдатский хлеб и кружка кипятку; в обед суп и несколько кусочков мяса с рисом;

вечером хлеб и кипяток. На деньги, которые у меня были, мне разрешалось прикупать чай и немного сахару. Дважды в неделю, по вторникам и четвергам, вечером давали два пончика из овсяной муки с малой толикой прекрасного клубничного варенья. По этим пончикам мы вели счет дням недели. Но более всего удручало меня отсутствие письменных принадлежностей. После многочисленных просьб мне ответили согласием, и через месяц–полтора я получил... грифельную доску и мелок!

На первый допрос меня вызвали через десять дней после ареста. Дверь камеры отомкнулась, тюремщик принес верхнюю одежду и бросил:

– Одевайтесь!

Со временем я узнал, что такое допрос в охранном отделении. Возили туда в закрытой карете с темно-синими занавесками. Мундиры, которые носили жандармы, тоже были темно-синего цвета. (Этот цвет стал мне настолько ненавистен, что по возвращении домой я сменил все синие портьеры и обивку). При выезде из крепости заключенный передавался на руки жандармскому офицеру под расписку. Во время поездки в карете узник сидел бок о бок с офицером с одной стороны и жандармским унтером – с другой.

Следствие по делу террористической организации вел генерал Иванов с помощником – товарищем генерального прокурора Трусевичем из министерства юстиции. Первый допрос смахивал на чаепитие, куда меня позвали как почетного гостя. Отрекомендовавшись, генерал сказал:

– Как видите, я вас пригласил сегодня по случаю великого праздника (был день Благовещения), так как не хочу вас долго задерживать под арестом. Курите. Может быть, чашку чая?

– Благодарю, я некурящий и чая не хочу, – отвечал я.

Первый допрос касался главным образом личности женщины, с которой год назад я вернулся из-за границы. Выше я уже рассказывал об этой поездке, когда на

границе за нами увязались шпики, следовавшие до самого Омска. Я отвечал, что женщина эта была моя сестра, студентка, занимавшаяся в Германии и вернувшаяся домой, так как нуждалась в лечении по поводу нервных припадков. Мои слова были приняты с большим интересом. Генерал начал подробно расспрашивать о месте, где больная излечилась, и о стоимости лечения.

– Это меня в самом деле интересует, – добавил он. – У меня есть родственница, страдающая подобным заболеванием.

Тут мне вспомнилось, что рассказывал доктор Гразони о жене Иванова. Теперь я и сам убедился, что генералу не терпится от нее избавиться.

Последующие допросы проводились сначала раз в неделю, потом раз в две недели, а затем все реже и реже и были все более запутанными. Доставив в жандармскую канцелярию, меня запирали в маленькой комнатке и держали там по пять-шесть часов и более, без всякого чтения и еды. Лишь затем меня вводили в кабинет к генералу. Тот допрашивал меня в основном по поводу моего знакомства и встреч с Надеждиной, то есть Ивановской, во время ее пребывания в Петербурге. Однажды генерал указал на разложенные возле его стола на полу боеприпасы и части снарядов:

– Все это обнаружено на квартире Ивановской при ее аресте.

После освобождения я встретился с Ивановской и выяснил, что это заявление было ложью. Но и ей говорили нечто подобное в отношении меня, а именно – что меня поймали с поличными, при мне, мол, были предметы, бесспорно доказывающие мою принадлежность к террористической организации.

Мне памятен очень важный допрос, придавший определенное направление моим догадкам о личности предателя. Допрашивал меня Трусевич, который задавал те же вопросы, что и Татаров на ужине с Фриденсоном в кабинете "Малого Ярославца": получал ли я динамит для рудничных работ, в каком количестве, как регист-

рировался его расход в кладовых книгах и т.д. Тут я заподозрил Татарова, а когда после нескольких месяцев моего сидения в крепости приехал из Сибири отец и получил свидание со мной, подозрения превратились в уверенность. Хотя нас разделяли прутья двух решеток и при свидании присутствовали два жандарма, отец сумел передать мне намеком, что пожаловавшие из Петербурга в Баргузин чины устроили у меня обыск, изучали бумаги и искали книги учета взрывчатых материалов.

Один из допросов в первые месяцы пребывания в крепости мне особенно запомнился. Поздней ночью меня разбудил стук отворяемой двери. Вошел тюремный инспектор и бросил:

– Пошли.

Он не принес мне верхней одежды. Стало быть, меня не собирались везти в охранное отделение. Я накинул свой арестантский халат, сунул ноги в тапки и пошел за инспектором. Это был длинный путь по узким, темным коридорам, и невольно подумалось о временах святой инквизиции: не в пыточную ли камеру меня ведут или на эшафот? Наконец мы пришли к какой-то двери, инспектор ее распахнул, и меня ослепило светом больших электрических ламп. За столом сидело несколько жандармских чинов, в форме и в штатском, а во главе стола восседал в парадном мундире при всех орденах генерал Иванов. Контраст между темными коридорами, по которым я только что шел, погруженный в мрачные мысли, и этой яркой освещенной комнатой со всем великолепием, веявшим от моих "опекунов", поразил меня.

Вопросы, которые мне задавали, были самые элементарные: имя, фамилия, звание и т.п. Пока я отвечал, в лицо мне вдруг ударил мощный луч света. Я поднял голову и различил напротив себя открытую дверь в другую комнату и в ней человека, которому я был виден, в то время как его лица я не мог рассмотреть, будучи ослеплен прожектором. По характеру показаний, которых добивался от меня Трусевич, и по расска-

зу отца было несомненно, что меня арестовали по доносу Татарова, и поэтому я предположил, что человек в дверном проеме не кто иной, как Татаров, приглашенный, чтобы меня опознать. По сей день не могу сказать, с какой целью было устроено это торжественное заседание и намеренно или случайно его участники облачились в парадные формы. Весьма возможно, что жандармское начальство собралось на банкет или на бал и вдруг решило заехать в крепость, чтобы внезапно учинить мне ночной допрос.

С первого же дня моего заключения я начал составлять программу на будущие годы, исходя из трезвого расчета, как поступает всякий коммерсант или промышленник в отношении своих дел. Правда, во время обыска при мне и в моих вещах ничего предосудительного не нашли, но если Татаров действительно предатель – а я был уверен, что это так, – то ввиду большого доверия, которое питали к нему в эсеровских кругах, он вполне мог пронюхать и о моей близости к Ивановской. Поэтому, учитывая суровость приговоров тех лет, я полагал, что меня могут осудить на десять или пятнадцать лет каторги, и потому разработал для себя программу занятий на будущее. Месяц–полтора у меня не было никакой связи с внешним миром. Мои друзья, которых не было со мною в Петербурге, полагали, что я уехал в Иркутск, им и в голову не приходило, что стряслась беда и я угодил совсем в другое место. Они начали меня разыскивать только после того, как узнали, что в Иркутске меня нет. Никто не знал о моем аресте, и лишь после обмена телеграммами между Петербургом и Иркутском охранка соблаговолила наконец подтвердить, что я сижу в заключении.

На второй месяц моего пребывания в крепости мне разрешили получить несколько книг из местной богатой библиотеки. Часть фонда сохранилась еще со времен декабристов. Ежедневно я посвящал четыре-пять часов занятиям английским языком. Английским я владел, но теперь поставил себе целью освоить его в такой степени, чтобы читать в подлиннике Шекспира,

полюбившегося мне после знакомства с ним в русском и немецком переводе. Час-два я читал научную литературу, один час выделил на чтение книг по национальному вопросу и немного времени – на художественную литературу. Остаток дня я делил между физическими упражнениями, пятнадцатиминутной прогулкой во дворе под присмотром надзирателя и послеобеденным отдыхом. Много шагов отшагал я, меряя камеру из угла в угол и думая свою думу. Через несколько месяцев после моего ареста сестре удалось получить разрешение подкрепить мой завтрак кружкой молока. Посылались мне с воли и новые книги,

Летом 1905 года в Петербурге установилась "политическая весна". Война с Японией близилась к концу, и тюремная администрация начала проявлять явные признаки либеральности. Без всяких затруднений мне передавалась литература по научным, экономическим и национальным вопросам. Летом, с наступлением хорошей погоды, жителей в моей камере прибавилось: вместе со мною тут обосновалось пять мух, и я с интересом наблюдал за их поведением и образом жизни. Каждой я дал имя и со временем научился различать их. В крепостной библиотеке я разыскал переписку Бенджамина Франклина с его друзьями в Великобритании. В этих письмах он рассказал, как сумел оживить мух, найденных им в бочке вина, которую ему прислали из Англии ко дню рождения. Подобно этому мне удалось спасти моих приятельниц-мух, когда они угодили в принесенную мне на завтрак кружку с молоком, и этот успех доставил мне много удовольствия.

Вскоре я сумел прочесть в оригинале "Ромео и Джульетту" и к концу лета начал штудировать французский. За планомерными занятиями и чтением я не чувствовал хода времени.

Меня перестали вызывать на допросы и лишь после продолжительного перерыва, в конце августа, снова привезли в жандармское управление и предложили ознакомиться с обвинительным заключением. Из него я узнал, что 16 и 17 марта охранка предприняла комби-

нированную облаву в Петербурге и Москве и арестовала всех членов боевой организации, а меня забрали на день раньше только потому, что я собирался уезжать. Вникнув в подробности, я, однако, заметил, что среди арестованных не было центральной в организации фигуры – Бориса Савинкова, а также старого революционера Тютчева. Отныне мне осталось ждать приговора.

В начале сентября в моей тюремной жизни произошло большое событие. Однажды утром дверь камеры отворилась, и со склада были принесены моя одежда и чемоданы. Кончилась пора сидения в крепости, длившаяся шесть месяцев. Расставшись с арестантским халатом и тапками, я облачился в свое платье и в знакомой карете покатил в другую тюрьму, известную в Петербурге под именем "Кресты" – из-за крестообразной конфигурации ее корпусов.

Этот поворот в моей жизни оказался совершенно ошеломляющим. Находясь в крепости, я не видел ни одной живой души, за исключением своего камерного надзирателя, ежедневно водившего меня во двор на прогулку, да двух жандармов, отвозивших меня в жандармское управление на допросы. Здесь же, в "Крестах", я и войти не успел, как служащая канцелярии опрокинула на меня целый ушат болтовни, а по дороге в камеру я узнал от надзирателя, что война с Японией кончилась и что несколько недель тому назад в Соединенных Штатах подписан мирный договор на унизительных условиях. Я также узнал, что страна возмущена, в армии и на флоте брожение и народ готовится бунтовать. Да, в самом деле превосходные новости!

Когда я начал разбирать чемодан, новый надзиратель заинтересовался моим черным костюмом и, погладив подкладку проговорил:

– Какая одежка добрая! Вон, в соседней камере, сидит важный господин, у него платье тоже красивое, как ваше.

Я понял, что надзирателю очень хочется сообщить мне секрет, и он ждет только моего вопроса.

– И кто же это?

Надзиратель оглянулся на дверь, притворена ли, и зашептал:

– Вы знаете Павла Николаевича? Его вместе с другими привезли сюда несколько дней назад.

То был Милюков, известный лидер кадетской партии, который позднее стал первым министром иностранных дел в правительстве Керенского. Его с некоторыми другими кадетами арестовали во время ночной сходки и вскоре выпустили.

Однажды вечером, в неурочное время, отворилось окошко камеры и подали еду – белый хлеб, фаршированную рыбу и еще несколько изысканных блюд. Дело было в канун еврейского Нового года, и ужин являлся презентом петербургской еврейской общины всем политическим заключенным-евреям. Вскоре окошко снова отворилось, и в нем появилась книга.

– Согласны принять? – спросил надзиратель.

Передо мной лежал сборник праздничных молитв.

– Да, приму! – сказал я.

– Это порядочно, – сказал надзиратель. – А вот другой, ваш сосед, тоже еврей, однако принять отказался, ему, говорит, не требуется.

Но улучшение условий моего содержания оказалось призрачным и мимолетным. Я узнал, что генерал Трепов, военный губернатор Петербурга, требует передачи моего дела из гражданского суда в военный. Эту новость сообщила мне мать, приехавшая ко мне на свидание из Сибири и успевшая переговорить с адвокатом, который должен был меня защищать. Рухнули все мои расчеты. Гражданский суд приговорил бы меня к десяти–пятнадцати годам тюрьмы или на худой конец к каторге, в то время как военный суд был делом куда более серьезным, и даже гадать не стоило, чем все кончится.

Со времени той моей встречи с матерью миновало пятьдесят лет, но я помню все подробности нашего свидания, словно это было вчера. Вероятно, она долго готовилась, прежде чем сообщить мне дурную весть – пристально заглядывала мне в глаза, целовала, но сле-

зы не уронила и к этой теме больше не возвращалась. Мы заговорили о другом. В тот раз я проникся глубокой гордостью за свою мать. Она родилась в Баргузине, в молодости познакомилась с декабристами, первыми русскими революционерами. Эти борцы за свободу и многочисленные их последователи – вот кто закалил ее характер.

От своего разговорчивого надзирателя я каждый день узнавал новое о стачках и надвигающейся революционной буре. И наконец наступил великий день – 17 октября! Я услыхал гул улицы, проникший сквозь стены камеры. В коридоре тоже царило необычное оживление. И вот и в камеру принесли отпечатанный манифест: свобода! Свобода слова, прессы, собраний! Народ получит конституцию, обещан также созыв народного собрания. Повсюду невероятное волнение и радость, распространился даже слух, что готовится всеобщая амнистия.

В один из этих дней ко мне пришел старший чиновник, кажется, из прокурорской канцелярии, который явился поздравить заключенных в связи с манифестом и помилованием. Но после того, как он заглянул в принесенные с собой бумаги и увидел, что мне вменяется, он смутился и понизил голос:

– К сожалению, я вижу, вы не входите в число тех, на кого распространяется амнистия. Все замешанные в вашем деле не подлежат помилованию.

Я ответил с некоторым раздражением:

– Стало быть, вы явились сообщить мне, что объявлена всеобщая амнистия, в соответствии с которой я должен остаться сидеть в тюрьме.

"Кресты" опустели. Осталась лишь небольшая группа заключенных, связанных с тем самым "делом", в котором обвиняли и меня. По-видимому, не стоило содержать большую тюрьму ради нескольких человек, и поэтому нас перевели в "предвариловку", где семь месяцев назад начался мой тюремный путь. Помню маленький эпизод накануне этого перевода. Надзиратель повел меня в баню. Мы шли через длинный двор и

повстречались с возвращавшимся из бани заключенным и сопровождавшим его тюремщиком. Поскольку мы оба остались в тюрьме, ясно было, что оба проходим по одному делу. Мы остановились и заговорили. Его надзиратель запротестовал:

– Запрещается разговаривать!

Тут вспылил мой конвойный:

– Дурак, ты разве манифеста не читал? Там черным по белому сказано: свобода слова!

Его оппонент растерянно замолчал, и мы продолжили разговор.

"Предвариловка" тоже была почти пуста. На следующий день после того, как меня туда перевели, ко мне пришел тучный рыжебородый господин и торжественно отрекомендовался:

– Позвольте представиться: я начальник мест предварительного заключения. – Он назвал свою фамилию.

Я пригласил его присесть на единственный находившийся в камере стул. И тут началась престранная беседа: он у меня спросил, что я думаю о ближайшем будущем и могут ли сторонники Троцкого захватить власть. (В то время Троцкий уже был активен и провозгласил свой лозунг перманентной революции). Мой собеседник выражался, как ярый радикал. Помню, что он мне сказал на прощание:

– Не верьте никому из них, даже Витте (в то время председатель правительственного кабинета). Пока не уберут их всех, не будет спокойствия в стране. А кое-кого из них , может, следует и повесить...

Из того, что нас, маленькую кучку, не выпустили, в то время как на волю вышли десятки тысяч, начальник тюрьмы, очевидно, сделал вывод, что мы самые важные революционеры – поэтому и пожаловал ко мне: ввиду перспективы фундаментальных перемен в стране полезно завязать с этими людьми дружеские отношения...

В "предвариловке" я провел всего десять дней. Многие ходатайствовали перед властями, в том числе перед графом Витте, и пытались втолковать им, что

праздничные настроения в стране обязывают распространить амнистию и на нашу группу, насчитывавшую в общей сложности семнадцать человек. Особенно трудно было преодолеть сопротивление Трепова, всесильного генерал-губернатора Петербурга, до этого – московского обер-полицмейстера, но в конечном счете уступил и он, и помилование получили все, кроме трех человек, у которых действительно были найдены взрывчатые материалы. В конце ноября эти трое предстали перед военным судом и были приговорены к пожизненной каторге.

28 или 29 октября ко мне пришел товарищ генерального прокурора поздравить с освобождением. От тюремного инспектора я узнал, что освобождена также Ивановская, которую держали на верхнем этаже, однако она больна и не в состоянии ехать одна. Я попросил передать ей, что тоже нахожусь здесь и жду ее. Таким образом, мы снова встретились в помещении тюремной канцелярии и по прошествии семи с половиной месяцев обнялись со странным чувством воли и свободы. В пролетке, на которой я повез Ивановскую к ее сестре (жене знаменитого писателя Владимира Короленко), я спросил у нее, известно ли ей, каким образом нас арестовали и кто нас предал.

– Понятия не имею, – ответила Ивановская.

– Нас предал Татаров, – сказал я убежденно. После Февральской революции были вскрыты архивы царской охранки и извлечена на свет божий масса свидетельств человеческой подлости. Тогда были преданы гласности списки мелких шпиков, а также несколько значительных имен, но всем им было далеко до трех самых крупных предателей в истории революционного движения России – трех человек, которые начинали как фанатичные и преданные делу революционеры.

Первый был Сергей Дегаев, изменивший революционной организации в 1880 году, ставший виновником арестов в 1881-м и тем самым почти уничтоживший

все движение. Два других были замешаны в революции 1905 года. Один из них – пресловутый Азеф, другой – Николай Татаров.

Подобно Азефу, Татаров, бывший студент, был опытным революционером. Выйдя на волю, я узнал от матери, что в Петербург приезжал специальный посланец ЦК партии эсеров в Женеве, чтобы выслушать из ее уст историю моей встречи с Татаровым. Несколько позже мне рассказал В. М. Чернов – центральная фигура в эсеровской партии (в сентябре 1917 года он был назначен министром сельского хозяйства в правительстве Керенского), – что товарищи в Женеве, во главе со старым революционером профессором Бахом, начали следствие против Татарова ввиду подозрений по поводу его связей с охранкой. В следственной комиссии участвовали известные в партии люди: Савинков, Чернов и Тютчев. Толчком к назначению следственной комиссии явилось странное письмо, переданное незнакомкой в черной вуали. Она принесла его одному из членов ЦК в Петербурге и после того, как вручила ему запечатанный конверт, ушла и больше не появлялась. В письме говорилось, что в рядах партии находятся два опасных шпиона: один – бывший ссыльный по имени Т. и второй – инженер "Азайф", приехавший недавно из-за границы. В письме было названо также несколько членов партии, арестованных по доносу этих двоих.

Произошло это в начале сентября 1905 года. Человек, принявший письмо, немедленно показал его Азефу, случайно оказавшемуся в той же квартире. Азеф тотчас расшифровал намеки:

– Т. – это Татаров, а под инженером "Азайфом" подразумевают меня.

Он был настолько убежден, что никто не поверит возведенному на него обвинению – ведь никто другой, как он, организовал покушение на всевластного министра Плеве и великого князя Сергея, – что вовсе не пытался утаить содержание письма, тем более, что оно давало случай подставить ногу его новоявленному конкуренту

по связям с полицией. Изучение жизни Татарова и его поведения за границей давало повод к серьезным подозрениям. Следственная комиссия установила, что Татаров вложил крупные средства в дело, связанное с издательствами, и проживал в дорогих отелях. Во время его допроса было доказано, что он лгал своим товарищам, скрыл свой женевский адрес, сообщив вымышленный, и т. д. Однако следственной комиссии не удалось бесспорно установить его связи с полицией, и поэтому ему разрешили вернуться в Россию при одном условии: сообщить свой адрес в ЦК. Однако последним звеном в цепочке подозрений, падавших на Татарова, явилось мое показание, которое я дал Чернову, а затем М.Р. Гоцу, одному из основателей партии в Швейцарии. (Он был тяжело болен и тем не менее выразил желание услышать от меня историю моей встречи с Татаровым).

Выяснилось, что на Ивановскую донесли оба провокатора – сначала Азеф, а затем и Татаров. При отъезде Ивановской из Женевы Азеф вручил ей паспорт на имя Надеждиной, который он сам же получил в петербургской полиции. Этот паспорт был найден в вещах ее дочери, заключенной в Петропавловскую крепость, и таким образом попал в руки охранки. Татаров знал о деятельности Ивановской в Петербурге, выяснил у Тютчева и Фриденсона ее адрес и сообщил обо всем охранке. Неудивительно, что по приезде Ивановской в Петербург ее тотчас обложили шпики.

Когда в ноябре 1905 года я вернулся в Иркутск, жена Фриденсона, тоже старая политическая ссыльная, провела меня в укромную комнату на своей квартире и шепотом спросила, правда ли, что я обвиняю Татарова в предательстве.

– Да, верно, – ответил я.

– Понимаете ли вы, что говорите? Татаров наш близкий друг, лучший товарищ моего мужа; это то же самое, как если бы вы заявили, что предатель – мой муж.

– Раз вы ставите вопрос так, – сказал я, – мне остается ответить, что предатель один из них: перед

тем как за мной началась слежка, я разговаривал в Петербурге за ужином с обоими.

Узнав о моих обвинениях, Фриденсон тотчас выехал на розыски Татарова. Впоследствии он рассказал мне о состоявшемся у них свидании. Если мне не изменяет память, Фриденсон разыскал Татарова в Киеве. Встреча произвела на него, по его словам, тяжелое впечатление. Вместо того, чтобы отрицать свою вину, Татаров принялся пространно рассказывать о нищете, в которой живет, о своих долгах и о том, что он ищет выхода из запутанного положения. Вера Фриденсона в порядочность друга рухнула.

Суд партии эсеров приговорил Татарова к смерти, и в конце марта 1906 года несколько эсеров во главе с Савинковым (знавшим Татарова с детства) выехали приводить приговор в исполнение. Татаров жил в Варшаве, у родителей. Отец его был священником православной церкви. Назаров, рабочий из Нижнего-Новгорода, явился на квартиру отца, связал родителей, а сына заколол кинжалом.

Глава девятая

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В начале 1906 года я сбрил длинную бороду, украшавшую мою физиономию при выходе из тюрьмы, и тем самым изменил до неузнаваемости свою внешность. Затем я раздобыл фальшивый паспорт. Так мне удалось выбраться из Сибири и вообще из пределов царской России и попасть в Берлин.

Надежды, что революция покончит с самодержавным строем и настанет время гражданских свобод, развеялись как дым. Силы реакции, веками угнетавшие Россию, почти немедленно вступили в борьбу за возвращение старых порядков. И двух недель не прошло, как по России прокатилась волна погромов, настолько однотипных, что трудно было усомниться в том, что они инспирируются из одного центра. За первый месяц погромов погибло четыре тысячи человек и еще вдвое больше получили увечья и стали инвалидами. Погром в Одессе длился кряду четыре дня. Более пятисот человек было убито. Тысяча пятьсот домов, принадлежавших евреям, были разрушены. В Томске, втором по величине городе Сибири, никогда не знавшем ничего подобного, 20 октября было убито 150 человек и еще тысяча погибла в результате поджога театра и вокзала. Последовавший затем еврейский погром продолжался трое суток. В знак протеста против этой бойни, организованной властями, была провозглашена всеобщая забастовка, – прежде всего в Москве, где на улицах появились баррикады и был взорван штаб охранки. В ответ на эти действия правительство начало карательные операции, распространившиеся и на другие части страны. Волна террора разлилась по России и докатилась до Сибири.

Несмотря на многочисленные жертвы, принесенные освободительным движением, вскоре стало ясно, что ему не удастся отстоять свободы, дарованные народу. По той самой Забайкальской железной дороге, по которой еще недавно возвращавшиеся с фронтов русско-японской войны солдаты катили навстречу революции, теперь перебрасывались карательные отряды под началом генералов, не снискавших славы на поле брани, но зато умевших расправляться с населением самыми варварскими методами. Всем было известно, что власти охотятся за каждым выпущенным на волю борцом за свободу, чтобы снова упрятать его за решетку. Поэтому всем революционерам пришлось либо уйти в подполье, либо покинуть страну; я предпочел покинуть Россию.

В то время я проживал в Иркутске вместе с младшей замужней сестрой; жила у нас в доме и крестьянская девушка лет двадцати, уроженка Баргузина, которую мы взяли в семью несколько лет назад. Наш маленький дом стоял на окраине. В последнюю неделю мы не решались даже ночевать дома – ни я, ни мой шурин, доктор Виктор Мандельберг, так как нам было известно, что нас разыскивает полиция. Ночлег нам поочередно предоставляли друзья. Однажды ранним утром, когда на дворе еще было темно, меня разбудила Татьяна, та самая девушка, что жила у нас в доме.

– Ночью приходила полиция, искала вас. Сегодня не ходите домой. – То же самое она поспешила сообщить и Виктору.

Назавтра я тайком встретился с сестрой и узнал подробности: действительно приходил полицейский чин с городовыми и интересовались нами. Услышав стук в дверь, сестра передала Татьяне наши все документы, и девушка спрятала их у себя на груди. Тщательно обыскав дом, один из полицейских сказал полковнику:

– Надо проверить и эту девицу.

– Что ж, попробуйте, – ответила она, – как бы не пожалели!

И они не тронули ее! Дойдя до ларя, они поинтересовались его содержанием.

– Ларь мой, – отрубила Татьяна и повернулась к ним спиной.

От нее потребовали, чтобы она глядела, как обыскивают ларь – во избежание претензий, будто что-то пропало.

– Пропадет, – сказала Татьяна, – буду знать, где искать вора.

Девушка она была гордая. Баргузинские крестьяне вообще отличались свободолюбивым и независимым духом.

В те дни я пережил еще раз чрезвычайно тревожные минуты. В одну из моих задач входило подделывать паспорта и удостоверения личности для товарищей, вынужденных скрываться, как скрывался и я сам. У меня была немалая коллекция казенных печатей и чистых паспортных бланков. Дома хранить все это я, разумеется, остерегался и каждый вечер припрятывал весь пакет на конюшне. И вот однажды утром, явившись за пакетом, я не нашел его в тайнике. Я перепугался, особенно когда узнал, что накануне там стирала чужая прачка. Я обсудил этот вопрос с Таней, и она обещала постараться разыскать и вернуть пакет. Хотя она и не знала, где живет прачка, но тотчас отправилась на розыски. И через несколько часов она вернулась с пакетом. Все оказалось в целости и сохранности.

Найдя прачку, Татьяна наплела ей историю про своего возлюбленного, которому якобы принадлежит пакет.

– Ты должна мне помочь, иначе он меня убьет, будет думать, что я потеряла, – заклинала она прачку. Несколько рублей довершили дело.

Дошло до того, что прятаться приходилось не только бывшим заключенным и тем, кто был на подозрении, но и многим другим, чьи имена так или иначе попали в списки охранного отделения. В нашей семье угроза ареста нависла не только надо мной и шурином, но и над

отцом, и он скрывался в юрте одного из своих приятелей бурятов. Шурин переехал на жительство в отдаленное село Иркутской губернии и долго отсиживался там. Я, как уже говорилось, уехал в Берлин.

Я остановил свой выбор именно на Берлине, потому что знал этот город еще со времен моей университетской учебы. И тем не менее я вдруг почувствовал себя так, словно очутился в вакууме. Внезапно я оказался оторванным от всяческой деятельности — и на инженерном, и на общественном поприще. Тут мне вдруг вспомнилось, что в Берлине существует бюро палестинской колонизации, которое было недавно основано и во главе которого стоял известный ботаник профессор Отто Варбург. Варбург заинтересовался сионистским движением под влиянием доктора Герцля и активно взялся за практическую деятельность.

Ничем не занятый, и я начал интересоваться Эрец-Исраэль и еврейской проблемой. Я вырос в еврейской семье, обладавшей живым национальным самоощущением, до одиннадцати лет меня учили ивриту и воспитывали в религиозном духе. Поэтому неудивительно, что уже само название "Эрец-Исраэль" вызывало отзвук в моей душе. Я начал строить планы путешествия в Палестину, хотя и был вынужден по разным причинам долгое время откладывать эту поездку. Помню, еще будучи школьником, я интересовался планом барона Гирша, известного французского еврея-филантропа, намеревавшегося перевезти евреев из Восточной Европы на сельскохозяйственное поселение, однако не в Эрец-Исраэль, а в Аргентину. Должен признаться, что брошюра доктора Герцля и его призыв основать еврейское государство, а также первый сионистский конгресс, собравшийся в 1897 году, — все это не слишком волновало меня тогда. Под влиянием моих учителей и друзей из числа ссыльных революционеров я увлекся идеями партии эсеров, выросшей на развалинах народнического движения.

Но уже тогда я понял, что программа социалистов-революционеров не может меня удовлетворить. Их "почвенная" идеология не устраивала меня, я уже начал ощущать ее туманность. От эсеровщины я постепенно склонялся к марксизму, но две причины удержали меня от вступления в партию: я не мог согласиться с постулатом, гласящим, что "бытие определяет сознание", но главным образом – с подходом российской социал-демократической партии к вопросу о национальных меньшинствах.

В 1903 году мои политические убеждения достигли стадии кризиса. То был год знаменитого лондонского съезда РСДРП, когда партия разделилась на большевиков и меньшевиков. Члены еврейской социал-демократической партии, известной под именем Бунда, поставили на повестку дня этого съезда национальный вопрос. Большинство делегатов заняло отрицательную позицию по отношению к любым национальным устремлениям. В знак протеста бундовцы покинули съезд, а вскоре и окончательно порвали с РСДРП. Правда, Бунд зашел слишком далеко в своем требовании полной автономии еврейской социал-демократической фракции внутри общерусской партии (требовании, которое съезд отверг), но не это обстоятельство помогло мне прозреть. Фактически меня оттолкнули сами споры, шедшие на съезде, и особенно статья, опубликованная после съезда в издававшемся в Женеве печатном органе партии – газете "Искра". Это была резкая передовица Ленина под заголовком "Положение Бунда в партии" (51-й номер от 22 октября 1903 г.). Ленин цитировал Каутского, добавляя, что совершенно согласен с ним. Мнение Каутского заключалось в том, что основные признаки нации – язык и территория; евреи, утратив как одно, так и другое, прекратили свое национальное существование. Ленин приводил и еще одно мнение – малоизвестного французского писателя-радикала, про происхождению еврея, в одинаковой степени нападавшего и на сионистов, и на антисе-

митов. Ленин разделял его точку зрения, выраженную таким образом: "Еврей в наше время не что иное, как порождение неестественного выбора, за который его предки цеплялись на протяжении восемнадцати столетий". Он считал, что идея еврейского национализма в политическом смысле реакционна и научно необоснованна. По его мнению, еврейский вопрос сводится к необходимости "ассимиляции или приспособления".

Вслед за этим в 56-м номере "Искры" (1 января 1904 г.) появилась статья Троцкого, написанная в грубом тоне и озаглавленная "Вырождение сионизма и его потенциальных наследников". Троцкий упоминал в этой статье Теодора Герцля и, в частности, выражался по его адресу следующим образом: "И тем не менее этот наглый авантюрист сорвал на конгрессе бурные овации. На этом конгрессе людей, присвоивших себе звание "представителей еврейской нации", не нашлось ни одной руки, которая заклеймила бы его отвратительную личность".

Эти слова были написаны после того, как Троцкий присутствовал на сионистском конгрессе, собравшемся в Базеле в 1903 году. В отличие от него я исполнился национальной гордости и, повстречавшись в Германии со студентами-сионистами из России, начал усиленно размышлять о национальном вопросе. В тюрьме я много читал на эту тему. Одним из произведений, которое произвело на меня сильное впечатление, была книга французского историка Лерроя-Буало: "Евреи и антисемитизм: Израиль между народами".

Повлияло на формирование моих взглядов и чтение трудов выдающегося русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, а также профессора Массарика. Я стоял в одинаковой мере за здоровый национализм и за социалистические идеи и никогда не ощущал в подобном образе мыслей двойственности или смешения понятий. И хотя я не вступил в партию "Поалей Цион", но поддерживал с нею тесный контакт.

Профессор Варбург был человеком материально независимым и в годы после революции 1905 года, о которых я сейчас рассказываю, занимался плантациями в Камеруне (в то время – германская колония в Западной Африке). Я отправился к нему и встретил немецкого университетского ученого старой закалки – милого, скромного и приятного в обращении. Вскоре мы близко сдружились. Узнав, что я занимаюсь изучением природных богатств отдаленных районов – и меня интересует Эрец-Исраэль, – он предложил мне работать в его институте, и более того: предоставил в мое распоряжение свою библиотеку и неопубликованные материалы.

В архиве Варбурга хранилась обширная работа профессора геологии Бланкенгорна из Марбургского университета, недавно возвратившегося из своей научной экспедиции в Палестину. Его отчет держался в секрете, однако профессор Варбург считал, что мне следует с ним ознакомиться, и в разговоре обронил, что до сих пор этот материал читали только два человека: возглавивший экспедицию в Эль-Ариш горный инженер Леопольд Кеслер, проживавший в Лондоне, и доктор Хаим Вейцман, химик из Женевского университета.

Бланкенгорн, который предпринял свои изыскания по заказу доктора Герцля, был широко известен в кругах геологов, а также специалистов по Ближнему Востоку. Фактически это была третья его поездка в Эрец-Исраэль: в первый раз он вел там исследовательские работы в 1894 году, потом в 1904-м. Другими участниками экспедиции Бланкенгорна был известный палестинский земледелец из Зихрон-Яакова Аарон Ааронсон и доктор Аарони, иерусалимский зоолог. Доклад Бланкенгорна чрезвычайно заинтересовал меня. Кроме детального геологического обзора страны и перечисления обнаруженных там минералов, я нашел в нем доскональное описание побережья Мертвого моря и анализы его вод, сделанные в берлинских лабораториях по образцам, которые привез Бланкенгорн.

Много лет спустя, в 1932 или 1933 году, уже

после того, как была начата добыча минеральных солей из Мертвого моря, мне посчастливилось принимать в Иерусалиме профессора Бланкенгорна и его супругу. Профессор был тогда уже в преклонном возрасте. Он спросил у меня, сумеем ли мы поплавать на лодке по Мертвому морю. Меня удивило это его желание, ведь он там бывал неоднократно.

— Само собой разумеется, я знаю берега Мертвого моря, как свои пять пальцев, — пояснил он, — но по морю я никогда не плавал. — Оказалось, что в те времена там не было ни одной лодки, которую можно было бы спустить на воду.

Меня в основном манило изучение Мертвого моря, так как в химическом отношении его воды очень напоминали озерные воды Восточной и Западной Сибири. До сих пор эксплуатация этих вод была главным моим занятием. Однако на построенных мною фабриках минеральные соли добывались и очищались методами, приспособленными к специфическим условиям сибирского климата, то есть к низким температурам.

Рассматривая анализы Мертвого моря, я подумал, что при эксплуатации этих вод следует использовать именно высокие температуры палестинского климата. Но пока это была лишь начальная идея. Ее осуществление требовало постановки опытов с большими объемами воды, досконального изучения Мертвого моря и его берегов, а также наличия метеорологических данных за достаточно продолжительный период времени — я не забыл свои первые просчеты в Сибири. Требовалось обследовать и остальные местные ископаемые, так как, по-видимому, они понадобятся для производственного процесса. Была и еще одна немаловажная проблема: под силу ли белому человеку жить в этой пустынной и знойной впадине, самой глубокой из всех существующих на земном шаре? Помимо всего прочего, в этих местах еще свирепствовала лихорадка.

Некоторое время я занимался своей работой в институте Варбурга и перечитал всю литературу об Эрец-

Исраэль, которая там имелась, чтобы найти ответы на эти и подобные им вопросы. Мне очень помог Абадаевич, молодой секретарь профессора.

От профессора Варбурга я также узнал, что он уговорил талантливого берлинского экономиста, доктора Артура Руппина поехать в Эрец-Исраэль в качестве его представителя и Руппин уже готовится открыть в Яффе переселенческое бюро. Руппину сообщили о моем интересе к годным для эксплуатации залежам в Эрец-Исраэль и о перспективности, на мой взгляд, добычи минеральных солей из Мертвого моря. Так мы с ним вступили в переписку. Д-р Руппин подробно отвечал на мои многочисленные вопросы и пополнил мои знания об окрестностях Мертвого моря и местных условиях работы. Надо, кстати, заметить, что в тот период весь район Мертвого моря, а также часть Иорданской долины принадлежали султану Абдул-Хамиду.

Из России доходили дурные вести. Командиров карательных отрядов наделили полной свободой действий и узаконили плетку. Во время забастовки железнодорожников казнили десять человек, работавших на строительстве линии Москва–Челябинск–Иркутск транссибирской магистрали. Невзирая на это, я осенью возвратился в Сибирь; правда, генералы-каратели за лето уже дело завершили и отправились восвояси в Петербург. Страсти поутихли. Принятый в мае закон о созыве Думы заставил власти позаботиться о создании более подходящей для выборов атмосферы.

По возвращении я узнал, что многих участников революционного движения, и даже тех, кто был лишь заподозрен в причастии к нему, нет в живых. Зверскими расправами отличились Меллер-Закомельский и генерал Ренненкампф. Два этих имени до сих пор ненавистны в Сибири, хотя с той поры миновало полвека. Позже Ренненкампф позорно прославился в годы Первой мировой войны: на его совести лежит гибель русских войск в Мазурских болотах в Восточной Пруссии, где Ренненкампфа наголову разбили немцы. Меня осо-

бенно потрясло известие, что по его приказу был повешен в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) мой близкий друг, инженер М. Д. Медведников, бывший главным инженером на местном железнодорожном перегоне. Он не имел ни малейшего отношения к забастовке железнодорожников и не был уличен в "политике". Его казнили только потому, что на него донес чиновник, приревновавший к Медведникову свою жену.

Повсюду, где появлялись карательные экспедиции, убивали и вешали без суда и следствия. Возвратившись в Сибирь, я узнал обо всех этих ужасах и был потрясен. Я не мог больше думать об Эрец-Исраэль, Мертвом море и всем том, чему научился у Варбурга. На долгое время я потерял покой и способность заниматься каким бы то ни было делом. Преступления Ренненкампфа не давали мне покоя. Меня обуревала жажда мести. Русский народ, так и не успев вкусить сладости свободы, погрузился в беспросветное уныние. Тирания торжествовала.

Зимою 1906 года Ренненкампф вернулся в Иркутск в чине командующего сибирскими войсками и поселился в доме, где я жил в юношеские годы. Но добраться до него было отнюдь не просто. Я знал, что из дому он выходит только в сопровождении охраны. Ни единым словом не обмолвившись о своих намерениях, я следил за каждым его движением. В свой план я посвятил лишь двух молодых людей, друзей моего детства. Я объяснил им, как умел, свое решение, и они согласились помочь мне.

Мы купили пару лошадей и сани и по очереди караулили у подъезда дома Ренненкампфа. Но никогда Ренненкампф не выезжал один. Его постоянно окружала вооруженная охрана, а когда он выходил из дому пешком, его со всех сторон прикрывали офицеры свиты.

Через несколько недель мы уже точно знали, куда он имеет обыкновение ездить по ночам и где ужинает со своими адъютантами. Из ресторана он возвращался пешком; охрана была поменьше, а сам он – навеселе.

Мы сочли, что наконец представляется возможность успешного покушения. Все мы были вооружены. Однако однажды утром мы узнали, что Ренненкампф исчез из Иркутска, укатив на экспрессе в Москву. Нам также стало известно, что, как и средневековые кондотьеры, он надевал под платье стальной панцирь.

Итак, он попытался бежать от своей судьбы. Но приговор ему уже был вынесен, и уготовленная ему пуля настигла его в Таганроге.

В последующие годы мой интерес к работе Бланкенгорна как инженера и как сиониста, казалось, окончательно ослабел. Меня занимали другие дела.

Я любил родную Сибирь, особенно тот живописный край, где прошла жизнь моих родителей и мое детство. Наша семья пустила там глубокие корни. До того времени, точнее – до Русско-японской войны, в Сибири не знали антисемитизма. Во всей Сибири, занимающей половину азиатского континента, тогда проживало около тридцати тысяч евреев – меньше, чем в рядовом польском местечке. Бедная населением и щедрая на природные богатства Сибирь не имела промышленности и притягивала людей инициативных и практически мыслящих.

Но притягательная сила Сибири определялась и факторами общественно-политического характера. В России тех дней, казалось, намечались ростки парламентаризма. Жестоко расправившись с революционным движением, власти спохватились, что надо успокоить общество, и даровали благонамеренным гражданам кое-что из прав, обещанных царским манифестом. 11 декабря 1905 года (по старому стилю) был издан закон о выборах в Думу, и власти сами проявили инициативу и начали предвыборную кампанию в первый российский парламент (первый – если не считать так и не состоявшейся Булыгинской Думы).

Когда стало известно о выборах во Вторую Думу, социалистические партии приняли решение не бойкотировать их. Я сам участвовал в этой кампании в Ир-

кутске и Чите. В Иркутске я помогал социал-демократам, а в Забайкалье, где находился мой округ, меня самого назначили в выборщики. В Иркутске соперничали три партии – кадеты, эсдеки и эсеры. Три их кандидата собрали почти равное число голосов, и потому дело решила жеребьевка; победа досталась социал-демократам.

Правительство снабдило губернаторов тайной инструкцией не допускать избрания левых депутатов. Депутат от Иркутска доктор Мандельберг вынужден был скрываться от ареста. После избрания он пользовался парламентской неприкосновенностью, нарушить которую не решалось даже правительство Столыпина.

С особым интересом я, разумеется, следил за выборами в Забайкальском округе, проходившими в Чите. Баргузинский уезд имел право избрать двух выборщиков – одного от городского населения, другого от сельского. Избрали А. А. Новикова, крестьянина, о котором я однажды уже упоминал, и меня. Но в момент выборов меня не было на месте, так как я был занят предвыборной борьбой в Иркутске. Поэтому из Иркутска я прямиком поехал в Читу на съезд выборщиков, так и не успев заскочить в Баргузин. Наконец мы, тридцать выборщиков, сошлись все вместе, чтобы избрать одного депутата в Думу. Большинство выборщиков были крестьяне – только пять человек представляли горожан. Как и в Иркутске, здесь боролись те же три партии – эсдеки, эсеры и кадеты.

Съезд выборщиков собрался дня за три-четыре до решающего заседания. Мы заседали дважды на дню. Кое-кто из крестьян выступать решался, но большинство были не мастера говорить. Выборщик от Читы был местный уроженец эсдек Шергов, молодой врач. Посланец эсеров, представлявший читинские села, не был сильной личностью, зато в самом городе во главе партии эсеров стоял А. Ф. Михайлов, мой старый друг, ветеран революционного движения, отец человека, ставшего позже министром финансов в сибирском правительстве Колчака.

Моей главной целью на выборах в Чите было добиться победы социалистов и предотвратить победу кадетов. Мне было безразлично, пройдет ли эсдек или эсер, однако, уступив просьбе моей сестры из Иркутска, стоявшей за меньшевиков, я решил отдать свой голос Шергову. О том же я попросил Новикова, второго выборщика от Баргузинского уезда. Однако в прениях я выступил с независимой социалистической позиции, которой придерживался и в прошлом.

Мое выступление было рассчитано в основном на присутствовавших крестьян. Я подробно остановился на помещичьем землевладении в России, рассказал, как Екатерина II одаривала землей своих приближенных, насколько негодна эта система и как велика необходимость положить ей конец. Простейшими словами я изложил собравшимся социалистические идеи. На каждом нашем собрании присутствовал губернаторский чиновник (хотя присутствие на съезде выборщиков любого постороннего лица противоречило закону), и я видел, что он пялит на меня глаза с выражением ужаса и ненависти.

Накануне выборов под вечер ко мне пришла делегация из четырех человек, чтобы поговорить о шансах на избрание в Думу депутата-социалиста. Делегацию возглавлял А.Ф. Михайлов. Трое других были эсеровский кандидат, один из уездных крестьян и вышеупомянутый Новиков, сельский выборщик из Баргузина.

– Нечего и надеяться, что Шергов пройдет, – сказал Михайлов. – Ни один крестьянин не отдаст за него своего голоса. Кандидат эсеров получит немало голосов, но все-таки мы не верим, что за него проголосует большинство. Нам известно, что вы сторонник Шергова, но каким окажется итог поддержки, которую вы сумеете ему организовать? Победа кадетов! Эсеры совещались с крестьянскими выборщиками, и нам кажется, что и те и другие будут согласны проголосовать за вас, так что ваше избрание обеспечено. Вот мы и предлагаем, чтобы вы соблаговолили выставить свою кандидатуру.

Я объяснил им, что смогу обдумать их предложение только в том случае, если Шергов сам откажется от выдвижения своей кандидатуры. Я передал Шергову содержание разговора и рассказал, каково мнение тех, кто приходил ко мне. Однако Шергов категорически отказался снять свою кандидатуру, заявив, что вся эта история — не что иное, как маневр эсеров.

Но тут возникло новое осложнение: пошел слух, что меня разыскивает полиция. Новиков, который был моим верным стражем, заклинал меня немедленно выехать из гостиницы, где я остановился. Я послушался и отправился ночевать к знакомым. Дело было ясно, как дважды два: слухи о возможности выдвижения моей кандидатуры дошли до губернатора, а чиновник, присутствовавший при наших предвыборных прениях, очевидно, доложил ему о содержании моей речи. В глазах властей я был неприемлем по двум причинам: прежде всего из-за моих взглядов (я открыто выступил как социалист) и, во-вторых, как еврей. Достаточно, что в Иркутске избрали эсдековского депутата — еврея; ни под каким видом нельзя было допустить, чтобы и от Забайкальского округа тоже прошел еврей. Поэтому власти были полны решимости убрать меня со сцены еще до выборов.

Я не ошибся в своих предположениях. В ту же ночь в гостиницу пришли, чтобы взять меня, однако не нашли. Назавтра, незадолго до начала выборов, я вошел в совещательную комнату через маленькую боковую дверь. Я знал, что здесь арестовать меня не посмеют, к тому же, возможно, властям уже стало известно, что я не собираюсь выставлять свою кандидатуру. В конечном счете победу одержал представитель кадетов, некий Коченеев, человек, мало кому известный и в прениях почти не участвовавший. Эсдек Шергов получил три голоса — свой собственный, мой и Новикова! Я остался еще на одну ночь в Чите — тайком, не показываясь в гостинице. Счет за меня оплатил Новиков, он же забрал мои вещи, и на следующую ночь я скрылся из города. Но поскольку меня не избрали, царские

чиновники утратили ко мне интерес. Не трогали меня и после того, как я вернулся в Баргузин.

Так или иначе, вскоре выяснилось, что мне не приходится жалеть о том, что я не удостоился почетного звания думского депутата. Правда, я тем самым лишился права титуловаться до конца своих дней "бывший думский депутат". Вторая Дума просуществовала недолго – ее разогнали через три с половиной месяца. В ночь на 3 июня 1907 года, в соответствии с приказом Столыпина, в Петербурге были арестованы все члены эсдековской партии по высосанному из пальца обвинению в военном заговоре. 4 июня Думу разогнали, а пять депутатов-социалистов отдали под суд и затем сослали в Сибирь.

Годы между выборами во Вторую Думу и Первой мировой войной я посвятил строительству фабрики по добыче минеральных солей в Минусинском уезде Западной Сибири. Занимался я также изучением местных природных богатств, усовершенствованием методов золотодобычи в речных руслах и инженерной работой на золотых приисках в Баргузинском уезде.

В этой моей работе был лишь один небольшой перерыв: в 1911 году я посетил Эрец-Исраэль.

Глава десятая

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

Итак, свершилось: я отправился в Палестину. С того момента, когда выяснилось, что я смогу предпринять это путешествие, я на несколько месяцев ушел с головой в изучение географии и истории этого края и перечитал все, что нашел о его экономическом положении. На пасхальные каникулы я поехал на несколько дней в Бирчингтон-он-Си на Айл-оф-Тенет в семью Герберта Бентвича. Это была семья музыкантов, популярная в то время как в Лондоне, так и в Эрец-Исраэль. Оттуда я уехал в Италию и отплыл из Генуи в Порт-Саид на судне "Норддойчер-Ллойд".

Палестина тогда входила в состав Оттоманской империи, и турки с большой тревогой следили за массами русских евреев, весьма лево настроенных и стремившихся обосноваться в стране, – шла эпоха первоначального освоения новой Эрец-Исраэль. Был введен тщательный контроль паспортов. Для въезда мне пришлось приобрести пресловутую "красную записку", причем стоит вспомнить, что тогда это было в новинку, ибо общепринятой сейчас системы паспортов и въездных виз еще не существовало.

Путь до Порт-Саида с заходом ненадолго в Неаполь, помнится, продолжался пять суток. Оттуда мы вышли на маленьком каботажном баркасе и на следующее утро бросили якорь в яффском порту. Вид этого древнего города, раскинувшегося передо мной, взволновал мою душу. Воспоминания детства и какие-то новые незнакомые чувства нахлынули на меня, когда я смотрел на близкий берег Эрец-Исраэль, колыбели еврейского народа.

Однако мое волнение было вызвано не только национальными эмоциями и не только ожиданием встречи

со Святой Землей. То была и моя первая встреча с древним миром, к которому я всегда испытывал особый интерес. Сам я родился, воспитывался и работал в новом крае, который совсем недавно открыл разбойный казак, переваливший со своей шайкой через Уральские горы, в стране без истории и фактически без прошлого. Когда уроженец Сибири попадает в старые европейские страны, такие, как, например, Великобритания или Франция, его покоряет вид замков, парков, соборов, парламентских зданий — свидетелей многовековой культуры. А ведь тут я готовился ступить на землю, чья история измеряется не веками, а тысячелетиями.

Яффа, известная нам с библейских времен, некогда была городом сидонийцев и за тысячи лет своего существования пережила многочисленные трагические метаморфозы. Временами она процветала и достигала вершин развития, временами разрушалась и влачила жалкое существование под игом чужеземных поработителей. Евреи жили здесь со времени покорения страны Иехошуа Бин-Нуном, но подлинно еврейским этот город стал лишь в 150 году до нашей эры, после победы Маккавеев над сирийцами.

В 68 году нашей эры Яффа была разрушена римлянами. К моменту появления крестоносцев в ней уже снова бурлила жизнь, но город то и дело переходил из рук в руки и тяжело пострадал. Затем о Яффе вообще забыли на много столетий. Менее чем сто лет назад это была деревушка, насчитывавшая всего пять тысяч жителей, в том числе сто двадцать евреев. Однако в 1911 году, ко времени моего приезда, здесь жило уже около пятидесяти тысяч человек, в большинстве мусульман, а евреев насчитывалось около восьми тысяч. Своим развитием Яффа была обязана главным образом плантациям цитрусовых, заложенным в ее окрестностях, а также железнодорожной линии, построенной в 1894 году французской компанией и соединившей город с Иерусалимом. Из года в год эта линия перевозила до двадцати ты-

сяч паломников, следовавших в Святой город.

Панорама, открывавшаяся перед путешественником с борта корабля, была весьма приятна для глаз, город живописно раскинулся по склонам прибрежных дюн. Впечатление, однако, быстро менялось, когда приезжий начинал карабкаться от берега к центру города по крутым, извилистым улочкам. Дома были жалкие, лишенные какого бы то ни было стиля, а понятия чистоты и санитарии попросту не существовало. Древних достопримечательностей не было в помине. Не осталось и следа от легендарной скалы, к которой некогда была прикована прекрасная Андромеда, дочь Кассиопеи, отданная на растерзание морскому чудовищу, но спасенная Персеем. Гавани, откуда отплыл корабль пророка Ионы, тоже не существовало более. Поэтому туристы в Яффе не задерживались, и я тоже остановился лишь на несколько дней, которые провел на северной окраине Яффы, в Тель-Авиве.

Мне довелось встретиться и много беседовать с главой сионистского поселенческого бюро, доктором Руппином и его коллегами. Я посетил Англо-Палестинский банк, осмотрел женскую школу, основанную моим другом Я.М. Файнбергом (тоже сибиряком, уроженцем Иркутска), и "Герцлию" – первую гимназию с преподаванием на иврите, строительство которой только что закончилось. Затем я продолжил свой путь в Иерусалим.

От Яффы до Иерусалима всего около семидесяти километров, но поездка поездом заняла четыре часа. Сначала железнодорожная линия тянулась долиной, среди живописных садов, потом запетляла, взбираясь на Иудейские горы, пока, наконец, не уперлась в Иерусалим – на высоте восьмисот метров над уровнем моря.

Как только я прибыл в этот волшебный и древний город, я, не теряя ни минуты, отправился его осматривать. Он был замечателен и разнообразен. В те времена город не был поделен на старый и новый – по той простой причине, что нового города еще не существовало.

И никакие границы еще не делили его – путешественник мог без всяких затруднений осмотреть все исторические места, священные для евреев, христиан и мусульман, – гробницы праотцов в Хевроне, церковь Рождества Христова в Вифлееме, церковь Успения, Стену Плача, мечети Омара и Аль-Акса. В Иерусалиме проживало тогда около девяноста тысяч человек, в основном евреи. Мусульман было примерно двенадцать тысяч. Среди христиан доминирующее положение занимали грегорианцы. Большинство евреев принадлежали к ортодоксальной общине, существовавшей на деньги, поступавшие из диаспоры. Ортодоксы носили длинные черные лапсердаки, подпоясанные кушаками, и круглые шапки, отороченные мехом.

Но уже в те времена в Эрец-Исраэль появились евреи нового склада, получившие современное по тому времени образование – рабочие и интеллигенция, покинувшие Россию после погромов. Наступление реакции вслед за революцией 1905 года подстегнуло эмиграцию еврейских переселенцев в Эрец-Исраэль. Тогда же сформировались два направления рабочего движения с определившимися идеологическими платформами: движение "Поалей-Цион" с лидерами Бен-Гурионом и Бен-Цви и движение "Цеирей-Цион" – его участники не были сторонниками социалистических идей. У тех и других в Яффо были свои центры, помещавшиеся в местных маленьких гостиницах. И уже в те дни социал-демократическое движение разделилось на две фракции: правую во главе с Бен-Гурионом, программа которой была принята на съезде в Рамле, и левую с "русской" программой, составленной еще за морем. Уже тогда выходила нелегальная рабочая газета. Но Гистадрута, занимающего сейчас значительное место в жизни Государства Израиль, тогда не существовало. Только в двадцатых годах оба движения социал-демократов объединились и создали влиятельную рабочую организацию.

У большей части иерусалимских древностей нет ясного исторического происхождения, и связанные с

ними предания более или менее сомнительны. Зато извилистые улочки Старого Иерусалима, куда с трудом проникает солнце, сводчатые перекрытия, превращающие весь город в одно гигантское здание, очаровывают каждого путешественника своим неподдельным своеобразием и прелестью старины. Пройти здесь могут только пешие да ослики. Иерусалим совершенно не похож на древние кварталы Рима или Афин.

Всякий, кто проходит по этим каменным мостовым, невольно ощущает, что Иерусалим на целые тысячелетия старше самых древних городов Европы.

Жемчужина города – Харм-эль-Шериф, именуемая также мечетью Омара. Но построена она лет через сто после смерти султана Омара. В сущности, это и не мечеть в общепринятом смысле слова, а грандиозный купол над священным камнем, с которым связаны древние предания – иудейские, христианские и мусульманские. Ибо святость Иерусалима предшествовала его покорению евреями, и царь Давид совершал здесь жертвоприношения, прежде чем сын его Соломон воздвиг Храм. Но и Второй Храм, и дворец Ирода были возведены на том же самом месте ввиду особой святости камня, на котором, согласно еврейскому преданию, свершилось жертвоприношение Исаака и с которого, по верованию мусульман, взошел на небо Магомет. И римляне, разрушившие Храм, построили здесь роскошную базилику в честь Юпитера. Когда страной завладели мусульмане, они воздвигли тут великолепную мечеть, а в эпоху крестоносцев эта же мечеть превратилась в христианскую церковь.

Уже во время путешествия по Средиземному морю я наметил себе расписание на три недели моих поездок по Эрец-Исраэль. Я решил сперва осмотреть древние города и исторические места, а затем посвятить большую часть времени двум вопросам, которые меня особенно занимали. Во-первых, я хотел провести рекогносцировку Мертвого моря с окрестностями и собрать образцы, чтобы определить перспективы добычи минеральных солей из его вод. Во-вторых, я хотел

ознакомиться с системой образования в стране. Это меня интересовало, поскольку мой отец много занимался вопросами просвещения. В 1920 году во всем Баргузинском уезде имелись одна казенная основная школа и два сельских училища, где обучали грамоте. Отец открыл в селах несколько школ для крестьянских детей, а в самом Баргузине – еврейскую школу. Он также заботился о нуждах этих школ. Отсюда и мой интерес к вопросам образования, которым власти внимания не уделяли. Я решил осмотреть начальные школы, существовавшие тогда в Эрец-Исраэль.

В Иерусалиме я посетил одного молодого человека, о котором мне рассказали, что он незадолго до моего приезда основал вместе с несколькими товарищами ивритскую гимназию. То была первая в городе средняя школа. Гимназия помещалась в нижнем этаже старого жилого дома в квартале Зихрон-Моше. Дом был маленький и запущенный. Несколько устарелых карт – вот и все, чем располагала школа; учебников не было вовсе.

Во время моего визита к молодому педагогу меня представили юной девушке, также участвовавшей в основании учебного заведения. В 1908 году, когда они открыли школу, у них было всего четыре ученика – два мальчика и две девочки. Правда, в Иерусалиме имелись и другие преподаватели, были и родители, готовые послать своих детей в гимназию, но средств на содержание штата учителей не хватало.

Этот педагог-энтузиаст, приехавший в страну за четыре года до нашей с ним встречи, был Ицхак Бен-Цви, ныне президент Государства Израиль*. Его супруга, Рахель Янаит, активно работала на поприще сельскохозяйственного образования, а также в женском рабочем движении и в партии ”Поалей-Цион”. С момента приезда в Эрец-Исраэль в 1908 году она обрела широкое поле деятельности в партии ”Поалей-Цион”, редакциях рабочей прессы, организации женских сельскохозяйственных училищ, преподавании и других областях.

---

* Ицхак Бен-Цви – с 1952 по 1963 гг. – президент Израиля.

Осмотр окрестностей Мертвого моря оказался затруднительным. Мусульмане Палестины были взволнованы появлением английской археологической экспедиции, которая производила раскопки в районе Иерусалима. Кто-то распустил слухи, будто экспедиция ведет подкоп под священную мечеть Омара и собирается ее взорвать. Властям пришлось выставить полицейские посты у английского консульства и контор британских граждан. Проживавшие в Иерусалиме англичане остерегались выходить на улицу. Полиция опасалась, как бы и меня не приняли за англичанина, и поэтому заявила, что выдаст мне разрешение на поездку к Мертвому морю только в том случае, если я найму телохранителей.

Имелись и опасения другого рода. Я был наслышан об агрономе Ааронсоне, участвовавшем в экспедиции Бланкенгорна, и хотел с ним познакомиться. Наша встреча состоялась как-то вечером в маленьком иерусалимском ресторанчике. Когда я рассказал ему, что собираюсь спуститься к Мертвому морю, он тотчас посоветовал отказаться от этого плана. По его словам, для северянина вроде меня ехать в это время года (дело было в июне) к Мертвому морю означало рисковать жизнью. Ааронсон предупредил меня, что в окрестностях Мертвого моря свирепствует малярия. Однако мое путешествие в Эрец-Исраэль было задумано именно ради знакомства с Мертвым морем. Поэтому я не мог уступить уговорам Ааронсона. Назавтра я сел в конную повозку, называвшуюся "дилижансом", и в сопровождении данного мне властями вооруженного полицейского покатил в Иерихон. Дорога, по которой я ехал, была проложена в 1898 году по распоряжению султана Абдул-Хамида в связи с визитом кайзера Вильгельма, выразившего желание спуститься к Мертвому морю (это был тот самый визит германского кайзера, во время которого он встретился с доктором Герцлем).

После четырех часов езды мы достигли Иерихона, расположенного метров на 300 ниже уровня моря, в

двух километрах от горы Каранталь, с которой связано предание о Христовом посте. На вершине горы стоит монастырь. У ее подножья бьет ключ. От стены хананейской крепости, рухнувшей в эпоху Иехошуа, не осталось и следа. Не нашел я там и следов роскошного дворца Ирода, а также воспоминаний о Клеопатре, получившей от Антония в дар "град финиковых пальм" и продавшей этот город царю иудеев. В 1911 году в Иерихоне было лишь несколько десятков домов и около тысячи жителей, но его здоровый, жаркий и сухой климат и богатая растительность сохранились прежними.

В Иерихоне спор с представителями власти по поводу выдачи мне разрешения спуститься к Мертвому морю и особенно в Неби-Муса, стоящей на холме близ иерусалимского тракта, возобновился. В конце концов я настоял на своем. Переночевав в Иерихоне, с восходом солнца я направился к берегу Мертвого моря.

Вид моря и окружающий ландшафт повергли меня в состояние шока. Мне приходилось бывать во многих заброшенных и пустынных местах, но ничего подобного я никогда в жизни не видел. Мертвое море – это широко раскинувшееся озеро, зеркало его неподвижных вод отливает зеленью. Сердце у меня сжалось от этой задумчивой красоты. К западу лежат Иудейские горы, пепельные в часы летнего утра, а к востоку, в Трансиордании, – горы Моава, меняющиеся в цвете ежечасно, от восхода солнца и до заката, когда в них вспыхивают алые блики, напоминающие "альпийское пылание" в горах Швейцарии. Длина Мертвого моря – 80 километров, ширина – семнадцать. Оно расположено на 392 метра ниже уровня моря*, а глубина его достигает 400 метров. Это самая глубокая впадина на суше Земного шара. Всякий, кто туда попадает, начинает ощущать разницу в давлении. К этому добавляется палящий летний зной.

---

* К 1980 году уровень Мертвого моря понизился прибл. еще на 5 м *(прим. ред.)*.

Я осмотрел северные берега моря, замерил удельный вес воды в разных местах и температуру воздуха и воды, чтобы установить возможность сооружения вдоль берега испарительных бассейнов. Замерил я также скорость течения в месте впадения в Мертвое море Иордана, поскольку для процесса добычи минеральных солей очень важно поступление пресной воды. Я осмотрел также пространства между Мертвым морем и Иерихоном в поисках залежей серы, которые упоминались в докладе Бланкенгорна.

На следующий день, после продолжительного совещания с местными чиновниками, я поехал утром в Неби-Мусу – верхом на лошади, в сопровождении двух вооруженных полицейских. Эта поездка была необходима, так как я хотел осмотреть битумные пласты, описанные Бланкенгорном: битум мог послужить топливом в определенных производственных процессах, связанных с добычей минеральных солей. В стране, лишенной угля и нефти, чрезвычайно важно было найти какой-то иной источник дешевого топлива.

Закончив рекогносцировку, я тихо и мирно возвратился в Иерихон. Вопреки мрачным предсказаниям, я на всем пути не встретил ни единой живой души. Традиционное празднество, которое устраивается в Неби-Мусе ежегодно и длится целую неделю, приходится на апрель; я же застал там лишь несколько караульных, охранявших постройки.

Забрав с собой образцы битума и воды из Мертвого моря для анализов и экспериментальной работы, я тем же путем вернулся в Иерусалим. Из Иерусалима на конной повозке я отправился в Галилею, мельком осмотрел несколько поселений, основанных бароном Ротшильдом, покатался на лодке по Генисаретскому озеру и немного побыл в Тверии, где дома напоминают мозаику, поскольку сложены из черного базальта, скрепленного белым цементом.

Одну ночь я переночевал в поселении Мигдал на берегу Генисаретского озера в качестве гостя управляющего Глинкина. Я знал его еще со времен моей юно-

сти, когда он был студентом-сионистом в Лейпциге, и был рад снова его повидать.

Глинкин утверждал, что Мигдал – это самое лучшее место в мире, где только можно поселиться. На самом же деле ночь была до того душной, что нам всем пришлось лечь спать на крыше. Но тут не было покоя от комаров и мошкары. Глинкин притащил из дому сетку – прикрыть лицо – и перчатки на руки. Я не позавидовал ему, живущему в столь "дивном месте".

Утром Глинкин показал мне громадный желтый плод и посетовал, что такие красивые и сочные плоды несъедобны, поскольку слишком кислы. То был грейпфрут, который занимает сегодня в экспорте Государства Израиль почетное место. В те времена никому не приходило в голову употреблять его в пищу.

Из Мигдала я поехал в Хайфу, чтобы после ее осмотра сесть на корабль, который отвезет меня в Египет, а затем назад в Европу.

Сегодня в Хайфе жизнь бьет ключом, полно промышленных и торговых предприятий, и ее порт – один из самых прекрасных на Средиземном море. Но в те времена все ее население составляло около 23 тысяч человек. Половина жителей были христиане, среди которых преобладали немцы, построившие для себя отдельную колонию на полпути между городом и горой Кармел. Тогда эта колония находилась за границами Хайфы, и на горе стояло лишь несколько домов. Главным среди этих построек был монастырь кармелитов с несколькими сотнями монахов; в год моего приезда закончилось его расширение на средства, пожертвованные набожным итальянским филантропом. В этом монастыре Наполеон разместил на лечение своих солдат, раненных при осаде Акко в 1799 году. На горе была также маленькая немецкая колония "Морской Кармел" и еще около двадцати частных домов.

На склоне горы полным ходом шло строительство Политехнического института, обращенного фасадом к Хайфскому заливу. Деньги на его постройку выделило

еврейское общество "Эзра" в Германии. Я вернулся в Европу тем же маршрутом, каким приехал. Маленькое суденышко привезло меня из Хайфы в Порт-Саид, оттуда я направился в Женеву, а затем – в Москву, откуда транссибирская железная дорога доставила меня в Иркутск. Дорога уже несколько лет как была закончена и теперь аккуратно функционировала. Раз в неделю ходил экспресс, на котором я доехал до Иркутска с большим комфортом. Поездка из Москвы в Иркутск длилась семь суток. Впечатления от путешествия в Эрец-Исраэль занимали меня и после возвращения в Сибирь, и я немедленно приступил к опытам с привезенными образцами воды и битума. Я привез также обильный материал относительно транспортных условий, рабочей силы и других вопросов, связанных с моими планами. Возникшая у меня идея добычи минеральных солей на Мертвом море начала обрастать плотью, но ее осуществление я вынужден был отложить, так как меня одолели другие технические замыслы, требовавшие полной отдачи сил и времени.

Глава одиннадцатая

РАСПУТИН И ВОЙНА (1915–1916 гг.)

В 1915-м, втором году мировой войны, в Баргузине появились раненые с фронта, беженцы и заложники. В Петербурге в то время правил Григорий Распутин, чья мрачная фигура усугубила трагичность участи последнего русского монарха.

В начале войны русские начали наступление на юго-западе, в Галиции, и вошли в прорыв в направлении Львова, в то время как их армии на северо-западе двинулись на Познань и Бреславль. Верховный командующий князь Николай Николаевич приказал выселить из пограничных уездов вдоль австрийской и немецкой границы все еврейское население, так как каждого еврея в этом районе подозревали в связи с врагом и шпионских действиях. Массу людей забрали в качестве заложников, жителей местечек согнали с насиженных мест и выслали в глубь страны. В мирное время власти остерегались заселять евреями Сибирь, однако теперь многие оказались сосланными за Урал. В Петербурге, Москве и некоторых провинциальных городах возникли общественные комитеты для оказания помощи этим несчастным.

В январе я поехал из Баргузина в Иркутск. Как обычно в зимнюю пору, я ехал на "кошеве" – обитых кошмою, широких и глубоких санях. Когда я проехал последнюю почтовую станцию, мне повстречалась партия из шестидесяти–семидесяти человек, бредущая пешком, под охраной конвоя. Одежда почти на всех была летняя, обувь городская и только на головах были намотаны платки и капюшоны, кое-как спасавшие лицо от жестокой стужи. До станции Татарово их везли поездом, а оттуда погнали пешком, тридцать километров по глубокому снегу. До Баргузина предстояло

одолеть еще 150 километров. Конвойные ехали верхом. Меня потрясло это зрелище, я понимал, что живыми до Баргузина доберутся немногие, да и те наверняка отморозят себе руки и ноги. Я обратился к командовавшему конвоем поручику, выразив свои опасения и добавив, что через несколько часов я буду на железнодорожной станции, где есть телеграф, и оттуда протелеграфирую губернатору в Читу и опишу ему все, что я видел.

– Уверен, – сказал я, – что вам влетит, как и всем остальным, ответственным за перегон людей подобным способом.

Я посоветовал ему остановиться на соседней станции в большом селе Турунтаево и ждать, пока я свяжусь с властями и будут получены новые инструкции. Поручик согласился. Приехав на железную дорогу, я послал длинную телеграмму губернатору, с которым состоял в переписке по поводу коммерческих вопросов, хотя лично знаком не был. Я изобразил увиденную мной картину, подчеркнув, какая участь ожидает ссыльных, гонимых подобным образом, и добавив, что виденное мною похоже на отступление наполеоновских солдат из охваченной пожаром Москвы. Я просил срочно распорядиться по телеграфу, чтобы ссыльных задержали и изыскали транспортные средства для их перевозки. Свое пространное послание я заключил словами: "Уверен, ваше превосходительство, что если бы вашим глазам представилось то, что видел я, вы бы тоже были потрясены и поспешили бы положить конец подобному способу переброски человеческих существ".

К вечеру я добрался до Верхнеудинска, расположенного на впадающей в Байкал Селенге и на железнодорожной линии Иркутск–Чита–Владивосток. В те времена это был город с населением двенадцать–пятнадцать тысяч человек. На следующее утро – в субботу – я отправился в синагогу, будучи уверен, что застану там большинство евреев Удинска. Местные еврейские общественники знали меня и позволили в перерыве

после чтения Торы обратиться к собравшимся. Я рассказал о том, что видел, и потребовал, чтобы были приняты меры для спасения несчастных. Тут же постановили собрать вечером заседание комитета общины. На этом заседании подсчитали количество одежды, необходимой для шестидесяти–семидесяти человек, – тулупы, валенки, шерстяные чулки, варежки, теплое белье и т.п. Наутро организовали сбор пожертвований натурой и деньгами, в тот же день купили все, что требовалось, и одежда, вместе с продовольственными припасами, была отправлена в село, где поручик обещал мне задержать ссыльных. Туда же выехали и представители общины, которые распределили на месте одежду и провиант. Так маленькая еврейская община отнеслась к людям, попавшим в беду. Я рассказываю об этом случае всякий раз, когда меня просят охарактеризовать сибиряков. В Сибири я неоднократно оказывался свидетелем подобных поступков со стороны евреев и неевреев.

На следующий день я изменил свой маршрут и вместо того, чтобы ехать на запад в Иркутск, повернул на восток в Читу – повидаться с губернатором Забайкалья. Я вошел к нему в приемную и тотчас получил аудиенцию. Губернатор был украинец, некто Кьяшко, человек добросердечный. Он поблагодарил меня за телеграмму и сказал, что уже отдал приказание перевезти ссыльных на санях. После того, как они прибыли в Баргузин (а за ними последовали и другие), отец собрал членов еврейской общины, и на этом собрании решили обложить всех местных зажиточных евреев месячным сбором на прокормление ссыльных. Нашли для них и жилье, а тех, кто остался без крова, расселили по своим домам. Ссыльные оставались в Баргузине до конца войны. Но еще много лет после этого, вернувшись на родину, они переписывались с баргузинцами.

Летом 1915 года я уехал в Петербург. Это была одна из моих регулярных поездок в горнопромышленный департамент по делам предприятия, которым я

управлял в Сибири. По приезде в столицу я убедился, что война сказалась на всех сторонах петербургской жизни. Однако в кругах интеллигенции и политических деятелей ощущалось волнение другого рода. Обсуждались не столько события на фронте, сколько положение дел в тылу и особенно — действия правительственной и военной верхушки. У всех на устах было имя Григория Распутина.

Его страшное влияние на государственные дела было секретом полишинеля. Об этом толковали все, мужчины и женщины, дома и в обществе. Гучков, лидер октябристов, открыто выступил на эту тему в Думе и, хотя воздержался от упоминания о связях Распутина с царским семейством, осудил его действия, после чего за Распутина взялась и печать.

Однажды утром в моем гостиничном номере зазвонил телефон, и некто произнес: "С вами говорит личный секретарь княгини Долгорукой. Княгиня желает встретиться с вами по делу. Горнопромышленный департамент сообщил ей вашу фамилию и адрес. Не могли бы вы посетить княгиню в гостинице "Астория" такого-то числа в таком-то часу?"

"Астория" тогда была самой новой и лучшей гостиницей, построенной напротив германского консульства. Фамилия Долгоруких была известна в России каждому. Уже в одиннадцатом–двенадцатом столетиях Долгорукие владели многочисленными землями, отличились в военных походах и в пятнадцатом веке были возведены в князья. Юрий Долгорукий служил советником при царе Алексее Михайловиче, сыне основателя династии Романовых. В мое время об этой семье говорили в основном из-за морганатического брака Александра Второго с молодой княгиней Долгорукой, родившей ему сына и дочь, которые получили титул князя и княгини Юрьевских. Но кто была эта княгиня и зачем я ей понадобился – это было для меня полнейшей загадкой.

В назначенный час я пришел в гостиницу "Астория". Служитель проводил меня в просторную гостиную

княгини. В комнате не было ни души. Я сел на кушетку и огляделся. На столе у окна стояли три фотографических портрета. Кто был изображен на двух снимках, я не мог разобрать из-за их малого формата, но в отношении более крупной фотографии в широкой раме, помещавшейся меж двух других, сомнений быть не могло: это был Григорий Распутин. В углу на маленьком столике стоял графин с вишневой наливкой – излюбленным напитком духовенства. Графин был уже наполовину опорожнен.

Вошла княгиня – женщина лет под сорок, черноволосая, красивая, со статной фигурой, одетая в домашнее платье. Она присела на кушетку рядом со мной и объяснила причину моего приглашения. У ее мужа, князя Долгорукова, имеются многочисленные поместья в России и за границей. Ныне из-за войны он потерял связь со своими именьями в Италии и Австрии и не получает дохода от них. Кроме того, он владеет золотыми приисками на востоке Сибири, расположенными неподалеку от предприятия, где я служу управляющим. Однако сам князь и его управляющие никогда там не бывали. Уже много лет, как дело отдано на откуп мелким арендаторам за крайне незначительные деньги. В горнопромышленном департаменте ей сказали, что я выступал с докладом в союзе горных инженеров в Петербурге о новом способе добычи золота из мерзлого грунта речных русел с помощью драги. На приисках, соседних с княжескими, подобная машина уже установлена. Супруг княгини, человек почтенного возраста, делами не занимается. Поэтому ей приходится самой заботиться о материальном положении семьи.

Ей хотелось услышать от меня, можно ли применить новый метод на приисках князя, велика ли сумма, которую надо вложить, и какой предполагается доход. Если я выскажусь положительно, у нее есть возможность основать акционерную компанию, и она хотела бы знать, соглашусь ли я в таком случае оказать необходимую техническую помощь.

Эта беседа имела продолжение в виде частых деловых встреч с княгиней. Вскоре я узнал, что княгиня была приближенной Распутина, вместе с вдовою генерала Игнатьева и Анной Вырубовой, задушевной подругой и камеристкой императрицы.

Княгиня была умна, но весьма словоохотлива. Она много рассказывала о политической жизни в Петербурге. Будучи приближенной Марии Федоровны, матери царя Николая, княгиня находилась при ней в Аничковом дворце до отъезда Марии Федоровны к ее семье в Данию. В один из своих визитов я спросил о вышеупомянутых трех фотографических портретах; она ответила, что это семейные фотографии. На одной был изображен Александр Второй в военном мундире, без лент и регалий, при одном Георгиевском кресте на груди, со своей молодой женой – княгиней Долгорукой, одетой в застегнутое до самого подбородка скромное белое платье (по обычаю студенток Бестужевских курсов, отчего эти платья и окрестили "бестужевками"). У царя на коленях сидела маленькая девочка, а возле матери стоял мальчик – князь Юрьевский, впоследствии ставший русским послом в Италии. Снимок поражал простотой, благородством запечатленных на нем лиц. Другая фотография изображала старика в мундире при орденах и Андреевской ленте: то был муж княгини, шурин Александра Второго. Я заметил, что княгиня, вероятно, горда своими родственными отношениями с царской семьей, на что она обиженно ответила:

– И вовсе нет. В глазах моего мужа брак этот – совершенный мезальянс. Ведь, как вам известно, Долгорукие ведут свой род от Рюриковичей, а кто такие Романовы? Возвеличившие себя плебеи!

Между двумя этими маленькими фотографиями возвышался портрет Распутина в русской рубахе, сшитой, насколько можно было судить по снимку, из плотного шелка и подпоясанной широким кушаком, в шароварах, заправленных в сапоги бутылками. По снимку наискось тянулась надпись корявым по-

черком. Я попросил разрешения переписать ее.

– Извольте, – сказала княгиня, – но зачем вам эта мужицкая надпись?

Я тем не менее переписал, стараясь скопировать и почерк: "Моей дорогой княгине Стефании от друга ее Григория". Буквы, как детские закорючки, грамматические ошибки – я окинул взглядом все три фотографии, и невольно подумал: вот вам вся история России. Справа – один из потомков Рюрика, основателя русской государственности; слева – один из лучших представителей дома Романовых, во всяком случае, один из самых безобидных царей. А посередке – новая Россия в образе Гришки Распутина.

Когда перед отъездом из Петербурга я пришел проститься с княгиней, она спросила, не желаю ли я быть представленным к чину: с помощью Григория Ефимовича ей это легко выхлопотать. Я вежливо отклонил это лестное предложение.

Два года спустя я снова встретился с княгиней Долгорукой, уже при совершенно иных обстоятельствах. Весною 1917 года я участвовал в съезде делегатов революционных органов Иркутской губернии и Забайкальского края, а посему ненадолго приехал в Иркутск и снял номер в гостинице "Модерн", лучшей в городе. Сибирь находилась тогда под управлением Временного правительства, созданного в Февральскую революцию, где большинство министров были эсеры. Должность верховного комиссара была поручена тогда молодому сибиряку эсеру Жене Тимофееву, которого я знал еще с детства.

Однажды ко мне в номер позвонили: "Говорит личный секретарь княгини Долгорукой. Княгиня находится здесь и просит вас зайти". Это был голос человека, два года тому назад разговаривавшего со мною в Петербурге в тех же выражениях. Я пошел и застал княгиню за чтением книги профессора Олара "История Французской революции". Перед тем как приступить к беседе, она показала на книгу: "Опоздала я с ее чтением.

Если б нам давали подобные книги в молодости, история России да и наше собственное положение, возможно, были бы совершенно иными". Она рассказала мне, что было с нею в дни революции и как она приехала в Сибирь, прибегнув в пути к помощи чехословацкого легиона. Я услыхал следующую историю:

Бегство княгини началось с того, что она ушла из Зимнего дворца пешком, с маленьким саквояжем, и сняла номер в гостинице "Северная", что напротив Николаевского вокзала. Ночью в гостиницу пришли с обыском. Княгиня оделась, отперла дверь и увидела солдат во главе с одноруким офицером, который подошел к ней и отрекомендовался. После допроса один из солдат сказал: "Надо ее обыскать". Офицер остановил его и спросил у княгини:

– Есть ли у вас с собою драгоценности, письма, документы?

– Нет ничего, кроме саквояжа.

– Честное слово?

– Да.

Офицер откозырял, повернулся и сказал солдатам:

– Пошли.

– Офицер этот был еврей, – заметила княгиня в заключение своего рассказа. – Он меня спас от смертельной опасности, и я никогда не забуду его благородного поступка.

Тут мне сразу подумалось, что ведь и я в те дни был в Петербурге и слышал, что в городе находится однорукий офицер по имени Трумпельдор, отличившийся в Русско-японской войне. Офицер-еврей – в те времена в России явление редкостное, поэтому я предположил, что княгиня говорит о нем. Проверить это предположение мне, однако, не удалось.

Из "Модерна" я отправился к верховному комиссару и рассказал Тимофееву о встрече с Долгорукой.

– Смотри, как бы ты не попал впросак, – сказал он. – Ведь мы следим за нею и ее телеграфной связью, которую она поддерживает с матерью Николая, проживающей теперь в Копенгагене.

До своего отъезда в Баргузин я встретился с княгиней еще два-три раза.

Весною 1918 года я жил в Иркутске. Однажды, придя домой обедать, я узнал от прислуги, что заходили какие-то двое, искали меня, но себя не назвали. В тот же вечер они пришли снова и принесли письмо от княгини Долгорукой, вернее – короткую записку, с просьбой оказать помощь ее подателям: они едут на прииски князя в Баргузинском уезде мыть золото, – так не могу ли я распорядиться выдать им необходимые подсобные материалы с моего прииска, расположенного по соседству. Оба гостя были рослые здоровяки лет под 30–35, но от расспросов, кто они и каким образом попали в Иркутск, я воздержался. Сибирская традиция не велит интересоваться у гостя его прошлым. Ведь мы и сами потомки ссыльных, очутившихся здесь в положении незваных гостей. Тем же обычаем руководствовались и крестьяне в сибирских селах: оказывали гостеприимство и кормили, не спрашивая у человека, откуда он и куда идет.

Оба моих гостя вскоре отправились в район золотодобычи (большую часть пути они проделали верхом) и проработали там до начала 1919 года, когда Сибирью завладел Колчак. На обратном пути они проезжали через Иркутск и заглянули ко мне поблагодарить за помощь.

В последний раз мне довелось услышать о княгине в Лондоне в июне 1927 года. Я обедал с приятелями в новом ресторане "Грин-Парк Отель" на Пикадилли. Метрдотель подошел к нам принять заказ. Я взглянул на него, и лицо его показалось мне знакомым.

– Скажите, пожалуйста, вы не господин Жозеф?

– Он самый.

– Это вы служили до революции метрдотелем в "Астории", в Петербурге? И знавали княгиню Долгорукую?

– Разумеется, знал и господина Распутина тоже.

– Не слыхали, где она сейчас?

— В прошлом году я заведовал рестораном в отеле "Пикадилли" и там встретил ее. Она приезжала из Копенгагена и скоро туда вернулась. Она сказала, что теперь постоянно живет в Дании.

Во второй половине 1916 года меня постигло тяжелое горе. Скоропостижно умер отец. Это была первая смерть в нашей семье. Мы все очень любили отца. Когда мы с братом стали взрослыми людьми, отец превратился в нашего старшего друга и товарища. Он советовался с нами во всем, никогда не навязывал своей воли и взглядов и не вмешивался в нашу личную жизнь.

Летом 1916 года я руководил работой драги. Лед на реке сошел, тонкий слой грунта на дне русла тоже оттаял, однако добычу начинали лишь в июне. Отец и брат с двумя детьми приехали навестить меня. Они пробыли на прииске с неделю. Отец сказал тогда, что, кажется, это его последняя поездка в тайгу, да и поехал он только потому, что обещал внукам показать таежные леса и хотел проститься со своими друзьями в уезде и людьми, которые работали на наших предприятиях. Я постарался отвлечь его от этих печальных мыслей — ведь ему тогда было всего 63 года, и здоровья он был завидного.

— Достаточно я в своей жизни потрудился, — сказал он мне, — пора на покой.

Неделю спустя я поехал проводить его на соседний рудник, которым заведовал брат. Выехали мы верхом утром, а приехали заполночь и на всем пути лишь дважды сделали привал — поесть и перевести дух. Отец был в хорошем настроении и много рассказывал о прошлом. Ехал он впереди нас, когда стемнело, он принялся напевать русские и бурятские песни. Помню, что накануне у меня дома отец подробно рассказывал о новой больнице (построенной на третьем руднике, расположенном ближе всего к Баргузину) и добавил:

— До того хороша, что я думаю переночевать там на

обратном пути. Фельдшер, правда, говорит, что у него лежат несколько заразных, но я этого не боюсь.

Я побыл в обществе отца еще день и вернулся к себе на прииск, а он на следующий день выехал на рудник, где находилась новая больница. Прошло трое суток. Под вечер я стоял на берегу, наблюдая за работой драги, как вдруг увидел всадника. Брат прислал мне письмо, в котором извещал, что отец тяжело заболел и просит меня срочно приехать. Тотчас оседлали лошадей, и я поскакал в сопровождении местного фельдшера, которого весьма ценил за его медицинские познания и опыт. Мы ехали всю ночь напролет. На каждой станции меняли лошадей, и то и дело к нам подбегал очередной посыльный брата поторопить нас – состояние отца ухудшается. Мы скакали день и еще ночь и наутро вышли к руднику, где находились отец и брат. Я увидел ползущий к небу столб дыма и понял, что отца уже нет в живых: дым шел от костра, разложенного, чтобы отогреть землю, скованную вечной мерзлотой, иначе невозможно рыть могилу. Дело было так. Из-за продолжительной езды верхом отец стер себе на ягодице кожу, и образовалась ранка. Фельдшер приложил мазь. Почти немедленно появилось покраснение, и у отца подскочила температура. Выяснилось, что фельдшер явился к отцу прямиком от постели одного из заразных больных и, по-видимому, даже не вымыл руки. На следующий день краснота распространилась на лицо, и за несколько часов до моего приезда отец скончался. С самого начала он знал, насколько серьезно его положение. Он велел послать за другом своей юности, работавшем на соседнем руднике, и передал ему квитанционную книжку и деньги, собранные в эту поездку на строительство общественного здания в Баргузине; он позвал также швею и попросил приготовить столько-то локтей полотна на саван. Предчувствие не обмануло отца. Хотя, отправляясь в путь, он был совершенно здоров, он тем не менее не приминул проститься со всеми, кто ему был дорог и близок!.. Брат рассказал, что в самом начале поездки, не успели они

выехать с рудника, направляясь ко мне, отец остановил лошадь и сказал: "Я должен вернуться. Забыл попрощаться со старым другом". Он повернул, поехал на местный погост, слез с коня и долго стоял неподвижно над могилой Н. Ф. Герасимова, одного из зачинателей сибирской промышленности, умершего много лет тому назад.

Итак, нам с братом выпало решить, как быть с похоронами отца. Гужевой дороги в город не было. Время летнее. Решили захоронить его в металлическом гробу в вечной мерзлоте, а зимою после ледостава перевезти гроб на санях в Баргузин. Всю ночь мы со слесарем сооружали гроб; не было у нас ни нужного инструмента, ни материала...

На заре мы похоронили отца. Мы спешили в Баргузин, чтобы облегчить матери тяжесть страшной вести — она еще не знала о нашем несчастье. В город мы приехали после трех суток безостановочной езды.

Неделю я пробыл с матерью, а затем вернулся в тайгу, к драге.

Зимою мы перевезли прах отца в Баргузин. Когда мы проезжали маленькое село Нестериха в семи километрах от города, где отец построил училище для местных ребятишек, нам навстречу вышли крестьяне, спустили гроб с саней и понесли его на руках до самого Баргузина.

Глава двенадцатая

ЛЕНИН И ТРОЦКИЙ

Годы войны прошли для меня в трудах и заботах. Лишь зиму 1915 года я провел в Петербурге, где случайно попал в окружение Распутина. Почти все остальное время я работал в тайге на приисках. Золото было необходимо для военных нужд, и всех занятых в этой отрасли освободили от службы в армии. Телеграфной связи с внешним миром мы не имели, а письма доставлялись верховыми раз в восемь–десять дней.

Поэтому Февральская революция оказалась для меня неожиданностью. Из Москвы поступила телеграмма с намеками на близкую политическую бурю. Я выехал в Баргузин и, добравшись туда через пять дней, связался по телеграфу со столицей. Так я узнал о событиях в Петрограде. Тогда я собрал крестьянских вожаков, занимавших враждебную позицию по отношению к старому режиму, а также некоторое число революционеров и ссыльных рабочих-социалистов. Из числа рабочих моей химической фабрики близ Баргузина мы составили ревком и приступили к ликвидации старого строя и основанию новой власти. Несколько бывших матросов, ссыльных с броненосца "Потемкин", надели на рукава красные повязки – они стали революционной милицией. Раздобыв типографский набор, мы начали издавать газету. В Баргузине и больших окрестных селах шли сходки и служились благодарственные молебны.

Мне особенно запомнились два народных собрания. Одно состоялось в Баргузине после церковного богослужения. Русские жители вышли праздновать праздник свободы, и при встрече с евреями, возвращавшимися из синагоги, обнимались с ними, плача от радости. Все вместе спешили в зал собрания. Там

на сцене сидели священник и раввин, и после одного из выступлений, растрогавшего присутствующих, священник встал и всенародно облобызался с раввином.

Помнится мне и митинг, собранный на первый день христианской Пасхи в большом селе Читкан крестьянскими вождями Агафоновым и Новиковым, входившими в состав ревкома. В тот день в Читкан устремились толпы крестьян из всех ближних сел. Мы роздали им номер наших "Известий ревкома", выходивших от случая к случаю и печатавшихся ручным способом, – номер с подобранными к митингу материалами. Передовица, сочиненная автором этих строк, называлась "Христос воскрес". В ней я старался подчеркнуть, что наша революция вполне сходится с духом учения Христова, а посему ее должен поддержать каждый христианин. Я полагал, что это простейший способ заронить в умы крестьян, в большинстве своем абсолютно неграмотных, некоторое представление о сущности развертывающейся революции. Митинг должен был состояться в церкви, и на подходе к ней меня встретили мои друзья-крестьяне, члены революционного комитета. Когда мы подошли к церкви, забили в колокола. Агафонов забрал у меня пачку газет для раздачи собравшимся и, оставив себе один номер, поднялся на помост. После короткой речи он развернул газету и начал громко, с упором зачитывать собранию передовицу. Каждый раз, когда он произносил в тексте "Христос воскрес", все широко крестились. Митинг прошел дружно и сердечно.

Агитация в пользу революции в Баргузине не обошлась и без нескольких забавных эпизодов. Одна из трудностей заключалась в том, что в последние годы дистанция между населением и представителями власти, за малыми исключениями, почти исчезла. Между теми и другими установилась дружеская простота в отношениях. Поэтому нелегко было устранить бывших царских чиновников. Например, крестьянин Новиков, назначенный нами уездным комис-

саром, отправился в канцелярию своего предшественника с соответствующим постановлением ревсовета. Чиновник так сердечно его принял, что Новиков постеснялся предъявить ему свой мандат. Оба долго сидели и беседовали о всякой всячине, и только когда чиновник поднялся и пошел за чем-то в другой конец комнаты, Новиков резво уселся в хозяйское кресло и проговорил:

— Знаете что? Раз я уж сел сюда, то тут и останусь. — И предъявил постановление ревсовета.

Исключение составляли только двое: крестьянский староста и инспектор горного района, бывший казацкий хорунжий. Против старосты крестьяне имели зуб, поскольку он частенько сажал их в холодную. Один из крестьян, член ревсовета, мстительно требовал, чтобы старосту арестовали и посадили в ту же холодную. Я опасался, что если старосту посадят в холодную, живым оттуда ему уже не выйти. Поэтому я предложил отправить его в Читу на усмотрение губернского ревкома. Товарищи с этим согласились, а крестьянин, настаивавший на холодной, встал раздосадованный и вышел из ревсовета.

Инспектор вообще отказался подчиниться приказу ревсовета и заявил, что обжалует его в Чите. Посоветовавшись, мы поручили Агафонову пойти к нему домой с двумя членами революционной милиции, бывшими ссыльными рабочими, объявить, что он снят с должности, и потому обязан сдать оружие и немедленно выехать за пределы уезда. Если откажется — арестовать и отправить под конвоем в Читу, в губернский ревком. Агафонов исполнил поручение; инспектор не стал упрямиться и сдал оружие.

В состав ревсовета входили представители окрестных сел из числа людей, известных своими оппозиционными настроениями. Заседания ревсовета были для этих людей своего рода уроками политграмоты, и тут тоже не обходилось без курьезов. Однажды мнения по определенному вопросу разделились, и мне пришлось опрашивать каждого в отдельности о его

позиции. Когда я обратился к представителю одного из дальних сел, тот ответил:

– Товарищ председатель, село наше Бодон, оно маленькое, и своего мнения у нас не имеется. У кого сила, за того и стоим.

Это было бурное и волнующее время. Испытать такое раз в жизни интересно и поучительно, но мне было суждено пройти через это дважды.

Временное правительство разработало программу постепенной ликвидации старого государственного уложения. Более всего меня взволновала декларация о предоставлении абсолютного полноправия евреям. Еврейство Сибири почти не страдало от антисемитизма и не знало погромов, кроме волнений в Томске в 1905 году, и тем не менее глубоко переживало преследования евреев в европейской части России и их униженное положение. И вот одним росчерком пера евреев приравняли ко всем прочим людям и сделали их полноправными гражданами России, перечеркнув века унижений и насилий над шестью миллионами душ. После шести месяцев напряженной общественной работы я почувствовал, что не могу больше сидеть в провинции, вдали от центра, что должен быть поближе к очагу всех этих замечательных событий. Толчком послужила декларация о полноправии евреев. И во мне родилось желание непременно внести какой-нибудь собственный вклад в устройство новой России. Война с немцами была в полном разгаре. Я обратился к еврейской молодежи, которая не была мобилизована, с призывом вступать в ряды воинов добровольцами и сам поехал в Петербург, чтобы присоединиться к действующей армии.

В Петербург я приехал в середине октября 1917 года (по старому стилю) и убедился, что жизнь в столице и развитие событий резко отличаются от того, что я себе представлял по газетам и рассказам. Меня встретил не дух радости и победы, а состояние подавленности во всех сферах – политической, стратегиче-

ской и экономической, и в этом крылась серьезнейшая опасность.

Большевики оправились после июльского поражения, когда Ленин потерпел неудачу в своей попытке захватить власть. Ему пришлось бежать от ареста, и он все еще прятался в Финляндии. Однако Троцкий и другие большевистские вожди, арестованные после июльских событий, теперь разгуливали на свободе и действовали весьма энергично. Троцкий направлял Совет рабочих и солдатских депутатов, влияние которого усиливалось со дня на день и под давлением которого Керенскому пришлось перейти на оборонительные позиции.

Положение на фронте было удручающим. Со времени Февральской революции враг продвинулся вглубь России, фронт приближался к Петрограду, а в городе шла открытая большевистская агитация против Временного правительства. Большевики обратились к солдатам в окопах с лозунгом о немедленном прекращении войны и братании с солдатами противника. Газета "Солдатская правда" приобрела большую популярность и способствовала подрыву дисциплины.

Тяжким было и экономическое положение. В витринах больших магазинов красовались всевозможные деликатесы и предметы роскоши, но тут же рядом тянулись длинные очереди, в которых женщины часами стояли за куском невыпеченного хлеба и селедкой.

Я поселился на квартире у знакомой, которую знал еще с детских лет. Она получила образование в Париже и, будучи студенткой Сорбонны, вышла замуж за студента инженерной школы. Она не принадлежала ни к одной из политических партий, но ее муж уже в молодости был членом большевистской группы в Париже, во главе которой стоял тогда Троцкий. После Февральской революции оба переехали в Россию. В Петрограде ее мужа удостоили звания старого большевика, и он вращался в высоких партийных кругах. Живя у него в доме, я получил

возможность побывать на нескольких закрытых собраниях и был достаточно хорошо осведомлен о происходящем.

Имелся у меня и другой ключ к ознакомлению с закулисными событиями. Ведущие оппозиционные партии, с которыми боролись большевики, стремясь раздавить их, были эсеры и социал-демократы – меньшевики. С крупной кадетской партией большевики не слишком считались, а к левому крылу эсдеков – меньшевикам-интернационалистам не испытывали особенной вражды. Во главе этого крыла стоял Мартов, и среди других его вожаков был мой шурин, доктор Мандельберг, депутат Второй Думы от Иркутска.

Созыв Учредительного собрания очень затянулся из-за отсутствия принятого устава, а также из-за тяжелого положения на фронте и политических угроз, и поэтому правительство создало "предпарламент", заседавший в Мариинском дворце. Сюда я тоже получил доступ и присутствовал на нескольких совещаниях. Очень скоро я пришел в недоумение: я увидел, что произносившиеся там речи не соответствуют тяжелому положению страны, в котором я сам мог убедиться! Свое недоумение я до некоторой степени, правда, относил за счет собственной близорукости и провинциализма. Но и это объяснение меня не успокаивало.

Чтобы разобраться в сложной политической борьбе, развернувшейся между большевиками и социалистическими партиями, участвовавшими во Временном правительстве, я должен был досконально изучить события, произошедшие со времени Февральской революции, в итоге которой было создано правительство Керенского. Из приходивших в Сибирь газет невозможно было составить верного представления об этих событиях.

23 февраля в Петрограде состоялось международное женское собрание. В этот день была объявлена забастовка, в которой участвовало более ста тысяч

женщин, в большинстве своем – работниц текстильных фабрик. Эта стачка не была связана с политикой. Ее вызвала нужда – следствие затянувшейся войны.

В последние месяцы перед Февральской революцией доверие к правительству и верноподданнические чувства к царю и его семейству исчезли не только в кругу интеллигенции и состоятельных людей, но и у сословного чиновничества, чему весьма способствовали связанные с Распутиным скандалы и его губительное влияние на двор и русскую политику. Революцию с восторгом приняли все слои населения. И вместе с падением царя и его правительства рухнул весь старый строй – без всяких внешних усилий, как слетает с больного дерева гнилой плод.

Но именно для революционных партий революция оказалась неожиданностью. Они были совершенно не готовы к ней. Их вожди находились большей частью за границей или в сибирской ссылке. Неудивительно, что на первом этапе революции власть перешла в руки умеренной оппозиции. Правда, вожаки рабочих и несколько интеллигентных большевиков, находившихся в этот момент в Петрограде, в их числе Молотов, немедленно взялись сколачивать "совет рабочих депутатов", куда позднее вошли и солдатские делегаты, однако в этой идее не было ничего нового. Уже в революцию 1905 года в Петербурге возник "совет рабочих депутатов" во главе с Троцким. Уже тогда он бросил лозунг "перманентной революции" и разработал основы большевистской партии, хотя официально не примкнул еще к фракции Ленина.

В 1917 году в совет рабочих депутатов вошли представители всех социалистических партий, большевики, эсдеки и эсеры, но большевики были в меньшинстве. Ленин и Троцкий в это время находились за границей – Ленин вернулся в Россию лишь через месяц после революции, а Троцкий через два месяца.

Временное правительство, основанное после свержения царского режима, было составлено из представителей социалистических партий (меньшевиков и

эсеров), вместе с представителями либералов и кадетов, во главе с эсером Керенским. Это коалиционное правительство ставило себе целью создать подлинно демократический строй. Влияние большевиков в то время было ничтожным, и свои усилия они направляли на то, чтобы помешать действиям Временного правительства и сосредоточить власть в руках совета рабочих и солдатских депутатов. И действительно, влияние советов постепенно начало сказываться. 8 апреля 1917 года в Петроград приехал Ленин – после того, как с ведома немецких властей пересек Германию в запломбированном вагоне; с его приездом усилилась активность большевистской партии. Месяц спустя приехал из Америки Троцкий и тотчас вошел в совет рабочих депутатов.

На праздновании Первого мая и особенно на первом Всероссийском съезде советов стали очевидны агрессивность большевиков и их методы борьбы. Правительство согласилось на созыв съезда, поскольку большевики были в совете в меньшинстве, а остальные социалистические партии поддерживали Временное правительство. Разрешение созвать съезд преследовало также цель добиться одобрения требования Керенского о возобновлении наступления на фронте, чего ожидали от России ее союзники. Он получил это одобрение 3 июня. В ответ съезд, под влиянием большевиков, организовал "беспартийную демонстрацию за мир". Эта демонстрация с полной несомненностью выявила подлинные намерения большевиков: лозунги, которые несли демонстранты, гласили: "Долой тайный сговор с союзниками!"

Наступление началось 1 июля и поначалу увенчалось успехом, но закончилось тяжким поражением. Некоторые дивизии, разложенные непрерывной агитацией, отказались выступить на подмогу сражающимся частям. Большевики находились в меньшинстве и в избранном на съезде исполкоме, но несмотря на это, сумели воспользоваться затруднительным положением правительства. Используя неудачи на фронтах и прод-

вижение германских войск, они начали атаку изнутри.

Прежде всего они чрезвычайно усилили свою агитацию и в тылу и на фронте. К этому моменту в их распоряжении было более сорока газет. 16 июля вооруженные рабочие и кронштадские матросы окружили Таврический дворец, где заседал ЦИК, и потребовали ареста двух членов совета – эсеровского министра Чернова и эсдека Церетели. Это первое выступление, по-видимому, было преждевременным и не было согласовано с вождями, потому что Троцкий произнес речь перед разбушевавшейся толпой и с трудом добился освобождения Чернова. Однако назавтра, 17 июля, большевики начали планомерное наступление под предводительством Ленина. Правительство Керенского оценило серьезность ситуации и приняло контрмеры. В ту ночь с фронта был переброшен Волынский полк, занявший Таврический дворец, где в это время шло заседание ЦИКа. Ленину удалось бежать, но Троцкий вместе с некоторыми другими вожаками был арестован. Партию большевиков объявили контрреволюционной организацией, и, казалось, ее разрушительной деятельности был положен конец. Через два месяца, однако, выяснилось, что это не так. В конце августа правительству пришлось отбиваться от мятежного генерала Корнилова, двигавшегося на Петроград, чтобы расправиться с большевиками. Корнилов рассчитывал на поддержку со стороны правительства Керенского, но вскоре стало ясно, что Корнилова вдохновляют монархические круги и что его намерения направлены не только против большевиков, но и на подавление революции вообще и восстановление самодержавия. Керенский оказался вынужденным выступить против Корнилова в союзе с большевиками, то есть избрать меньшее из двух зол. Петроградский совет мобилизовал солдат и рабочих и призвал на помощь кронштадских матросов – тех самых, что не так давно окружили Таврический дворец и пытались арестовать Чернова и Церетели.

Дивизия кавказцев под командованием Корнилова

была разбита. Эта победа, однако, обошлась правительству Керенского очень дорого. Большевики выручили его из беды – теперь пришло время платить по счету. Из заключения были освобождены Троцкий с сподвижниками, арестованные после июльского восстания, а те, что были на воле, с удесятеренной энергией взялись за агитацию и приготовления к захвату власти. Вскоре им удалось заполучить большинство в петербургском совете рабочих и солдатских депутатов. Затем пришла очередь московского совета и советов нескольких провинциальных городов. С этого момента большевики выдвинули требование созвать второй съезд советов. Но теперь правительство усмотрело в таком съезде смертельную опасность. Было ясно, что большевики рассчитывают завоевать большинство и, после избрания угодного им исполкома, возобновят попытку захвата власти. Поэтому Временное правительство, состоявшее к тому времени только из представителей социалистических партий (кадеты вышли из коалиции), предложило созвать вместо всероссийского съезда советов Всероссийское демократическое совещание, где будут участвовать, помимо представителей рабочих советов, также делегаты городских советов, земства, профессиональных союзов и кооперации. Подобное совещание – утверждало правительство – явится куда более демократическим, нежели съезд рабочих советов, ибо большинство общественных органов, о которых шла речь в связи с предполагаемым совещанием, были только что переизбраны на базе общего избирательного права.

Это совещание действительно было созвано в Москве в конце сентября 1917 года. Оно избрало "Временный совет республики", где большевики опять были в меньшинстве. Этот совет, которому предназначалось функционировать до созыва Учредительного собрания, получил у широкой публики прозвище "предпарламент" и в начале октября начал заседать в Петрограде в Мариинском дворце. Именно

эти заседания я и посещал, приехав в Петроград.

Как упоминалось, я встретил там доктора Мандельберга и выразил ему свое удивление по поводу характера выступлений и работы "предпарламента". Кое с чем он согласился.

— Раз вам хочется услышать нечто более занимательное, — сказал он, — советую послушать Троцкого в петроградском совете.

Он раздобыл для меня постоянный пропуск на заседания совета. Троцкого я хорошо знал. В 1902 году его везли через Иркутск, и в пересыльной тюрьме он сидел в одной камере с моим братом, социал-демократом. После побега из Верхоянска он, по дороге за границу, пробыл некоторое время в Иркутске. Там я встречал его в доме у сестры и в доме у Мандельберга, который вместе с Троцким был избран делегатом на Лондонский съезд РСДРП — тот самый, где произошел раскол между большевиками и меньшевиками. Троцкий с Мандельбергом присоединились тогда к меньшевикам; через год Троцкий передумал и перешел к большевикам.

В первый же вечер после того, как я побывал на заседании петроградского рабочего совета, и после речи Троцкого я прозрел и понял смысл происходящего в стране и что ей уготовано. Троцкий не только воспламенил своих слушателей подстрекательством против правительства и открытой проповедью в пользу восстания: он отдал распоряжение военным заводам раздать рабочим оружие. В конце октября он вернулся в "предпарламент", в котором некоторое время отсутствовал, занятый делами в рабочем совете, и выступил с воинственной речью, закончившейся заявлением, что его партия больше не будет участвовать в работе этого выборного органа.

Помню, что после одного из заседаний "предпарламента", проходивших, как правило, по вечерам, я встретил Мандельберга и сказал ему:

— Мне кажется, вы совсем не понимаете, что творится в стране. Чернов и другие произносят высокопарные

речи, а в петроградском совете сидит Троцкий и открыто раздает оружие.

Ход событий убыстрялся, но я не мог себе представить, что большевистская революция — этот Рубикон русской истории — дело ближайших сорока восьми часов. В эти двое суток события развернулись молниеносно.

В памяти у меня запечатлелась одна любопытная беседа тех дней. 6 ноября (по новому стилю) я встретился с Евгением Францевичем Роговским, губернатором Петрограда. По национальности поляк и юрист по образованию, Роговский был членом партии эсеров. Он провел несколько лет в тюрьме, был сослан в Сибирь и некоторое время работал в Иркутске помощником М.А. Кроля, известного своими печатными трудами и впоследствии избранного делегатом от Иркутска в Учредительное собрание. Кроль был моим старым другом, и с Роговским я состоял в дружеских отношениях. Это был светловолосый красавец, очень доброжелательный, спокойный, с обходительными манерами. В кругу друзей его ласково звали Женечкой. Он был активным участником Февральской революции в Иркутске и проявил известный административный талант. Когда он приехал в Петроград в качестве делегата на съезд эсеров, Керенский назначил его губернатором столицы. Я несколько раз разговаривал с ним в те дни по телефону. Он пригласил меня к себе в канцелярию и назначил дату: 6 ноября. Услыхав, что я собираюсь ехать назад в Иркутск, он сказал, что тоже готовится ненадолго в Сибирь, так как партия выдвинула его кандидатуру в Учредительное собрание. В то время трудно было раздобыть билет на сибирский экспресс, и он пообещал взять два билета.

В назначенный час я пришел к нему в канцелярию. Его лицо, как обычно, не выражало никаких признаков тревоги. Я спросил о политическом положении, и он ответил:

— В эту ночь я не спал. Ездил закрывать большевистские газеты, сегодня в киосках вы их не найдете. Это

начало новой системы борьбы с ними. Редакторы и печатники пойдут под суд по обвинению в подстрекательстве к мятежу и изменническим действиям. Положение не так плохо, как полагают; мы их одолеем.

В этот момент Роговскому доложили, что прибыл адъютант Керенского. Я хотел было откланяться, но Роговский попросил меня остаться, а вошедшему адъютанту сказал:

– Говорите при нем, это один из наших.

Офицер коротко отрапортовал о положении, которое в то утро ухудшилось и в центре, и на окраинах. Закончил он, однако, утешительно:

– На нашей стороне юнкера, полк велосипедистов, велосипедный отряд и еще несколько подразделений.

Когда адъютант вышел из кабинета, Роговский сказал мне:

– Я специально попросил вас остаться, чтобы вы убедились, что положение не такое уж отчаянное. Мы с ними справимся.

Я промолчал, хотя вовсе не был настроен столь оптимистически. Я жил в доме у активного коммуниста, встречал там и других его товарищей по партии и знал положение вещей.

Пятнадцать лет спустя, в 1932 году, мне случилось приехать в Берлин вместе с немецким инженером, работавшим со мной в Эрец-Исраэль. Дело было накануне выборов в Рейхстаг, и мой спутник вовсе не скрывал, что собирается проголосовать за Гитлера. Пропаганда нацистов и их демонстрации на улицах, пестревших боевыми лозунгами, свидетельствовали об их силе и дерзости. В моих глазах положение в Германии было чрезвычайно серьезным. В тот же день я обедал с немецкими профессорами и рассказал, что наблюдал в городе в утренние часы, но мои собеседники принялись доказывать, приводя различные аргументы и данные статистики предыдущих выборов, что нет никакой угрозы переворота и оснований для тревоги. "И тут то же, – сказал я себе, – юнкера, полк велосипедистов и велосипедный отряд!" Подобное происходило в истории уже неоднократно, и

так оно, повидимому, останется в будущем. Ибо люди в силу своей природы склонны к оптимизму и не в состоянии видеть признаков надвигающейся опасности.

Я вышел из канцелярии губернатора с тяжелым сердцем и таким чувством, будто все мы движемся к кратеру вулкана: еще немного, и жерло разверзнется, хлынет лава и затопит всю страну, творя неисчислимые бедствия.

Должен признаться, что в то время я сам был весьма близок к большевистской идеологии. Я видел, что окончательно разрушена экономика страны, и чувствовал, что так дальше продолжаться не может. Большевики требовали кардинальных перемен, хотя пока и не имели возможности провести свои принципы в жизнь. Власть еще не находилась в их руках, и гражданская война со всеми ее ужасами еще не началась. Мои хозяева замечали некоторую симпатию с моей стороны к их линии, доверяли мне и не скрывали от меня своих планов.

Положение на фронте ухудшалось. Войска жаждали только мира, обещанного им большевиками, и делегаты приезжали с фронта требовать выполнения этого обещания. Приближалась четвертая зима в окопах. Дезертирство приняло массовый характер. Среди солдат распространялись листовки с призывом покинуть окопы, как только выпадет первый снег. Петроградский совет, в котором большевики располагали большинством, открыто требовал передачи власти в руки ЦК рабочего совета, призывал экспроприировать у помещиков их владения и распределить землю среди безземельных крестьян, установить контроль над промышленностью, а также немедленно начать переговоры о мире.

Тем временем немцы заняли Ригу, и Петрограду угрожала опасность. Некоторые правительственные учреждения были эвакуированы в провинциальные города, и обсуждалось даже предложение о переезде в Москву самого правительства.

Ленин следил за происходящим из Финляндии и

теперь дал указание сделать решающий шаг. По его распоряжению 28 октября было созвано тайное совещание большевистской верхушки; Ленин тоже прибыл туда – инкогнито. На этом совещании решено было захватить власть.

В конце октября все органы петроградского совета и большевистской партии были переведены в Смольный. Правда, в Смольном находились и члены совета меньшевики и эсеры, но на деле Смольный был главным штабом восстания. Здание укрепили, заготовили провиант и боеприпасы и завезли много оружия.

На всех заводах шли собрания. Распространялись тысячи листовок. Предстоящее восстание перестало быть секретом, к нему призывали во всеуслышание. С часу на час положение вычерчивалось все более определенно: большевики готовятся к захвату власти, правительство отступает, и почва уходит у него из-под ног.

ВЦИК рабочих советов принял решение о созыве второго Всероссийского съезда советов, назначив срок – 7 ноября. Делегаты-социалисты сопротивлялись этому решению, но не могли устоять перед нажимом большевиков. Этому дню предстояло стать одной из роковых вех в истории России, хотя мнения расходятся – на благо ли это или во зло. Пропаганда и подготовка к съезду велись в лихорадочном темпе. Значительное место в плане восстания было отведено и 4 ноября, так как эта дата была объявлена "Днем петроградского совета", якобы днем сбора средств в пользу печатных органов рабочих советов. На деле же этот день был выбран для проведения смотра большевистских сил перед началом переворота. Страсти бушевали, и этот водоворот захватил всех. Большевики мобилизовали своих лучших ораторов, повсюду шли бесконечные собрания. Десятки тысяч заполнили здание цирка, Народный дом и другие общественные места. Общее возбуждение достигло кульминации, когда Троцкий потребовал от масс поклясться в

верности рабочим советам. В народ был брошен лозунг: "Долой правительство Керенского! Конец войне! Всю власть советам!" На одном из таких митингов я внятно ощутил, что политическая драма подходит к финалу.

Судьба восстания в большой степени зависела от гарнизонных войск Петрограда и Петропавловской крепости. Большевики постарались их распропагандировать, чтобы привлечь на свою сторону. Уже в середине октября командующий хотел отправить большую часть отрядов на фронт, поскольку не доверял им, но об этом узнал ВЦИК рабочих советов и потребовал доказательств, что фронт действительно нуждается в этих войсках и что это распоряжение – не политический маневр. Постановили также организовать Военно-революционный комитет при петроградском совете, который будет следить за действиями генерального штаба с правом утверждения или отмены приказов командующего. Таким образом был создан контрольный орган для надзора за генеральным штабом и войсками. Это был конец. Как выяснилось впоследствии, на тайном совещании, проходившем под председательством Ленина близ Петрограда, в этот комитет были избраны Ленин, Троцкий, Каменев, Сталин и Дзержинский. Главой комитета был назначен Троцкий. Этот комитет сыграл решающую роль в свершении переворота. Он помещался в Смольном, на верхнем этаже, и члены комитета находились там круглосуточно. Сюда по ходу переворота поступали все донесения, и отсюда исходили все распоряжения.

В ночь на 6 ноября Роговский закрыл все редакции и типографии большевистской прессы. Вышеупомянутый комитет сорвал наложенные им печати, открыл типографии, разместил в них отряды революционных войск, и газеты вышли. 6 и 7 ноября революционный совет назначил комиссаров во все части петроградского гарнизона, на все оружейные склады и все крупнейшие заводы Петрограда и его окрестностей. Оружие из арсеналов отпускалось теперь только по приказу

комиссаров. В частях, которые еще колебались, была усилена агитация. Уже 5 ноября гарнизоны Петрограда и Петропавловской крепости перешли на сторону большевиков. Приказы правительства войскам и органам власти передавались в ревком – по телефону или через вестовых, и тем самым лишались всякой эффективности. Разведка у большевиков была организована превосходно. На все железнодорожные станции были назначены комиссары, следившие за передвижениями войск. Революционно настроенные солдаты захватили почту и телеграф. В ночь на 7 ноября отряды революционных войск заняли, почти не встретив сопротивления, большую часть правительственных учреждений, включая государственный банк. Утром 7 ноября стало известно, что на рассвете эти отряды начали стягиваться к Зимнему дворцу, где размещалось Временное правительство, – там были почти все, кроме Керенского, выехавшего в это утро из города с целью организовать военную помощь столице. Вечером того же дня Керенский произнес большую речь в "предпарламенте", требуя одобрения чрезвычайных мер против большевиков. После долгих прений было принято решение осудить действия большевиков, но главное требование Керенского не поддержали. В Зимний дворец собрали офицеров, юнкеров, ударный женский батальон, несколько сот казаков и несколько пушек. Развели на Неве мосты, кроме Дворцового. Крейсер "Аврора", который стоял на Неве и экипаж которого считался неблагонадежным, получил приказ выйти в море. Но об этом узнала большевистская разведка; ревком послал на крейсер своих представителей, чтобы склонить экипаж к неподчинению правительству. И действительно, экипаж крейсера решил не сниматься с якоря и перешел в подчинение ревкома.

Зимний дворец еще не был взят, и члены правительства пока еще находились в нем, но большевики уже были уверены в своей победе. 7 ноября председатель ревкома Троцкий объявил на заседании петроградского совета: "Правительство Керенского упразднено.

До второго Всероссийского съезда советов правительственные функции в стране перейдут в руки революционного комитета". Это заявление получило широкую огласку, и к вечеру большевистские отряды начали разоружать посты юнкеров вокруг Зимнего дворца.

Глава тринадцатая

НОЧИ В СМОЛЬНОМ

После того, как было опубликовано воззвание Троцкого к народу свергнуть Временное правительство, распространился слух, что в Зимнем дворце идет бой между отрядами, защищающими дворец, и красными солдатами и матросами. Неудивительно, что мы с нетерпением ждали вечера, чтобы отправиться в Смольный на заседание совета. Нам сказали, что предстоит не обычное заседание петроградского совета, а открытие второго съезда рабочих и солдатских советов России.

Как всегда, председательствовал Троцкий. Атмосфера была напряженная, наэлектризованная. Дан, один из меньшевистских лидеров, доложил о работе центрального исполкома. Он предостерег съезд от опасности, кроющейся в большевистской линии, — брошенный правительству вызов может привести к тому, что с фронта вернутся войска и подавят рабочее движение. Он еще говорил, когда председательствующему сообщили, что прибыла делегация петербургского городского совета и просит слова. Троцкий поначалу воспротивился, но в конечном счете представителю делегации предоставили слово. На трибуну поднялся представитель городского совета и с волнением заявил, что в эту самую минуту идет артиллерийский обстрел Зимнего дворца, в стенах которого находятся мужчины и женщины, прославившиеся в борьбе за свободу, чьи имена известны всей России, в том числе Екатерина Брешковская, "Бабушка русской революции", а также Вера Фигнер, двадцать пять лет протомившаяся в казематах Шлиссельбургской крепости. Выступавший умолял немедленно прекратить обстрел Зимнего дворца.

Когда он кончил говорить, к собранию обратился Троцкий и сказал примерно следующее:

– Товарищи, мы занимаемся тут вопросами чрезвычайной важности, и у нас на вес золота каждая минута. Мы не можем тратить время на подобную ерунду. – Помню, что тут он ввернул грубую издевку. – Переходим к следующему пункту повестки дня.

Усилия посланцев городского совета ни к чему не привели, и их вывели из зала. На следующий день выяснилось, что по Зимнему действительно было выпущено несколько снарядов из Петропавловской крепости.

В грубости Троцкого я неоднократно убеждался – и когда однажды сам поспорил с ним в далекие иркутские времена, и когда он вел резкую полемику со старыми ссыльными из числа народников и народовольцев, и когда публиковал свои статьи в "Искре", первом печатном органе РСДРП. Тем же языком он разговаривал на собраниях петроградского совета. Но в тот вечер седьмого ноября 1917 года, когда он чувствовал себя идолом переполнившей зал толпы, он показался мне еще более отвратительным, чем в Сибири и в Италии.

Биография Троцкого хорошо известна – в той же мере, что и биографии Ленина и других революционных вождей России. Троцкий сам подробно описал свою жизнь в книге, насчитывающей в немецком переводе 569 страниц. Его юношеские годы подробно описаны Максом Истменом, а недавно вышел первый том объемистого труда Исаака Дойчера о Троцком.

Детство и юность Троцкого прошли в совершенно иной среде, нежели детство и юность Ленина. Ленин родился в дворянской семье и получил нормальное университетское образование. Троцкий родился в зажиточной еврейской семье, занимавшейся сельским хозяйством, в маленьком селе Яновка Херсонской губернии, близ Черного моря. Он учился в гимназии сначала в Одессе, затем Николаеве. Поступил в Одесский университет на математический факультет,

но учеба его не заинтересовала, и он вскоре бросил ее. С восемнадцати лет он посвятил себя целиком политической пропаганде и работе в революционном подполье.

Он основал новое движение под названием "Союз рабочих юга России", но с его арестом в 1898 году это движение прекратило свое существование. Четыре года Троцкий провел по разным тюрьмам, дважды его ссылали в Сибирь (в 1900 и 1905 годах), и дважды он бежал – первый раз через два года, а во второй через несколько недель. В 1902 году он добрался до Западной Европы и там познакомился с Лениным.

Сам я встречался с Троцким неоднократно. Первая наша встреча состоялась в 1902 году во время его бегства из Верхоленска, когда он некоторое время скрывался в Иркутске по пути в Европу. О его высылке я узнал за два года до этого, в 1900 году, когда он сидел в иркутской пересыльной тюрьме перед отправкой на место поселения. Там же сидел мой младший брат за принадлежность к эсдекам, и они оказались в одной камере. Так, во время свиданий с братом я с ним и познакомился. Троцкого отправили сначала в Усть-Кут на берегу Лены, но затем его участь была смягчена, и он, вместе с женой и ребенком, был переведен в местечко Верхоленск, километрах в двухстах от Иркутска.

Еще находясь в Усть-Куте, Троцкий начал посылать статьи в иркутскую демократическую газету "Восточное обозрение", издававшуюся сибирским сепаратистом Ядренцовым. Его первые публикации были скромными зарисовками местного быта. Затем пошли блестящие биографические записки и великолепные критические статьи, трактовавшие творчество русских и европейских писателей, классиков и современников. Эти его статьи вызвали большой интерес. Помню, с каким нетерпением мы ждали выхода каждого номера "Обозрения" и как заглядывали в оглавление, чтобы прежде всего узнать, есть ли в номере статья за подписью Антида Отэ – это был

литературный пвсевдоним Бронштейна-Троцкого*.

В Иркутске я несколько раз встречал его в доме моей сестры М. А. Цукасовой и в доме доктора Мандельберга (сам Мандельберг в это время находился в ссылке). Присутствовал я и при его бурных спорах со старыми ссыльными. Здесь, в Иркутске, его приодели, снабдили деньгами и выправили паспорт на новое имя: Т р о ц к и й. Он сам выбрал себе это имя по фамилии надзирателя одной из тюрем, в которых сидел, – не то в Одессе, не то в Москве.

Приехав в Лондон и встретившись с Лениным, Троцкий отправился в Женеву и начал работать в редакции "Искры". На Лондонском съезде РСДРП в 1903 году Троцкий с доктором Мандельбергом были делегатами от "Союза социал-демократических рабочих Сибири". Во время знаменитого "раскола" Троцкий пошел за меньшевиками и нападал в своих статьях на Ленина. В 1905 году он вернулся в Россию, был избран председателем рабочего совета в Петербурге и стал движущей силой этой организации и всего революционного движения. В ноябре, вскоре после того как я вышел из тюрьмы, я слышал его речь в рабочем совете столицы с проповедью идеи "перманентной революции".

Затем я встречал его дважды в доме моей младшей сестры, жены доктора Мандельберга, в итальянском городе Нерви. Насколько мне помнится, дело было в 1912 году. Троцкий объезжал колонии русских ссыльных в Италии и выступал с лекциями на политические темы. Помню, как однажды он приехал к нам поздно вечером и остался ночевать. День был пасмурный и дождливый, а Троцкий приехал в открытом автомобиле. Его воротничок был за-

---

* Троцкий сам рассказал, каким образом пришел к такому странному псевдониму: невзначай открыв итальянский словарь, он наткнулся на слово "Антидотэ"; разделив это слово пополам, он превратил его в имя Антид и фамилию Отэ.

брызган грязью, поэтому я достал свой, чистый.

Однако никак не могу сказать, чтобы я любил его. Недолюбливали его и многие другие. То, что я не питал к нему симпатий, не объяснялось его политическими воззрениями. Плеханов, основатель Российской социал-демократической партии и первый редактор "Искры", терпеть его не мог и настаивал на том, чтобы его имя не появлялось в газете. В своей книге Дойчер приводит слова Плеханова: "Сотрудничество с Троцким в "Искре" вызывало у меня чувство омерзения". В. Зензинов, один из эсеровских вождей и вожаков боевой организации, так описывает выступление Троцкого на заседании петербургского рабочего совета в октбяре 1905 года:

"Речь его была блистательной. Правда, его приемы театральны, но когда человек тебе не нравится, легко впасть в предвзятость. Троцкий был великим оратором. Фон-Доминский и Авксентьев (лидеры и лучшие ораторы партии эсеров) обращались к сердцам своих слушателей и будили в них чувства братства. Троцкий же обращался к разуму и к ненависти. Он был слишком опасен, чтобы с ним соперничать. Когда он нападал на людей, он стирал их в порошок".

Этот человек был блистательным оратором, бесподобным полемистом и выдающимся литератором. Бернард Шоу писал о нем в 1922 году: "Он превосходит Юниуса и Берка". Он самозабвенно сражался против несправедливого строя, он посвятил свою жизнь улучшению участи обездоленных. И тем не менее у него были черты характера, заставлявшие многих ненавидеть его. На мой взгляд, это объясняется тем, что с раннего детства, с начала учения в школе, где он немедленно оказался среди лучших, он знал, что у него огромные способности и что он превосходит всех своих сверстников. Возможно, его талантливостью можно было оправдать его характер, но вместе с тем это чувство превосходства было отвратительно. У него была масса поклонников, устремлявшихся за ним с энтузиазмом, но подлинно

близких друзей не было. В школе он ни с кем близко не сошелся, то же самое было на протяжении всей его жизни. Дойчер утверждает, что его единственным приятелем был Раковский, да и то лишь короткое время...

Обо всем происходившем в ночь на 7 ноября в Зимнем дворце годы спустя мне рассказал Пинхас Рутенберг. Его, активного эсера, и иркутского инженера Пальчинского Керенский в те дни назначил помощником заместителя премьера. В ту роковую ночь в Петрограде царил полнейший хаос. В Зимнем дворце происходила неописуемая неразбериха. Рутенберг рассказывал мне, что ему пришлось силой вытащить нескольких министров из кресел и вывести из дворца через единственный, еще остававшийся свободным выход.

Триумфальное заседание съезда советов продолжалось до самого утра. Вскоре после полуночи появился "гонец", прихода которого председательствующий, по всем признакам, дожидался. Он принес весть, что Зимний взят и все находившиеся в нем министры арестованы и препровождены в Петропавловскую крепость. Однако Керенского среди них не оказалось. Он ускользнул и ушел в подполье. Этим "гонцом" был Антонов, старый товарищ Троцкого по фракции в Париже, я его знал по подпольной кличке Овсеенко. Он командовал отрядами, осаждавшими Зимний дворец. Делегаты социалистических партий встали с мест и покинули зал в знак протеста. Раздался крик: "Слава Богу, избавились!" – И Троцкий присовокупил: "Хорошо, что этот мусор убрался!"

Это был конец.

...Корабль нового строя вышел в бурное море, и к штурвалу встал сам капитан – Владимир Ильич Ленин. Его бегство из Петрограда после провала июльской демонстрации и терпеливое выжидание в глухом углу в Финляндии, в то время как дело делалось и события разворачивались, – вполне соответствовали характеру этого человека. Он во всем отли-

чался от Троцкого. Скрываясь от ареста после июльского провала, он абсолютно игнорировал то впечатление, какое все это может произвести на его сторонников и противников. Ленин не считал зазорным поступиться своим достоинством и не выставлял свое мужество напоказ. Под стать этим чертам была и его внешность, настолько заурядная, что, попадись он мне на улице, я, вероятно, не обратил бы на него ни малейшего внимания. Однако в разрезе его узких глаз таились упрямство, самоуверенность, сильная воля и беспощадность.

В ту ночь было составлено первое советское правительство. До сих пор власть находилась в руках реввоенсовета, отныне она сосредоточилась в руках "Совета народных комиссаров". Большевики свалили Временное правительство почти без кровопролития, однако жители Петрограда не полагались на прочность нового режима. Считали, что он протянет несколько дней, самое большее – несколько недель или месяцев. Повсюду говорили, что Керенский идет походом на Петроград, а через двое суток после триумфального заседания съезда советов в Смольном эти слухи появились и на страницах небольшевистской печати.

Тем временем новый режим занялся ликвидацией своих главных противников, иначе говоря – эсеров. Это партия создала теперь "Комитет спасения родины и революции", составленный из представителей организаций, действовавших до большевистской революции, во главе с петроградским городским советом. Его поддерживали также юнкера, студенты и молодые интеллигенты. 10 ноября группа юнкеров заняла здание центральной телефонной станции и сосредоточила в нем боеприпасы и провиант. На следующий день мы увидали – я и мои хозяева, – как революционные солдаты и матросы окружают дом. От мятежников потребовали, чтобы они сдались. Они отказались. Началась пальба из винтовок и пушек. Осажденные открыли ответный огонь. Перестрелка была нешуточная, и нам

пришлось искать укрытия. Через час-другой выяснилось, что наступающие не продвигаются, и дело было поручено штабу Петропавловской крепости.

Теперь события приняли серьезный оборот. Весь квартал был очищен от посторонних, и засевшим в здании предъявили ультиматум. Ответа не последовало. Тогда на место была стянута артиллерия и отдан приказ открыть огонь. Тяжко было смотреть на безнадежное упорство обреченных. Юнкера сдались только после того, как снаряды разнесли стену. Несколько человек пробовали спрятаться, но солдаты в слепой жестокости выбросили их из окон верхних этажей на мостовую. Другие бежали в сторону Невы – но и этих похватали на мосту и сбросили в реку. Всех, кто был заподозрен в малейшей связи с мятежом, забрали, отправили в Петропавловскую крепость или выдали кронштадским матросам, – и больше их не видели. То было началом страшной гражданской войны. После "бескровной революции" началась оргия жестокости; она быстро охватила всю страну и привела к массовой бойне, чинимой обеими сторонами.

В те считанные недели, что определили судьбы новой России, я находился в самом центре событий, и когда, наконец, надумал покинуть Петербург, настроение мое резко отличалось от того, с каким я сюда ехал. Полное значение лозунга "Вся власть советам" еще не выявилось – истинная картина определилась лишь после того, как большевики прибрали к рукам всю страну. Однако уже в эти самые первые дни я находился под тягостным впечатлением вопиющей бесчестности большевистской агитации, кормившей массы фальшивыми сообщениями и выставлявшей события в выгодном для себя свете. Я был потрясен также той чрезвычайной и ненужной жестокостью, с которой расправились с юнкерами, после того как они сдались и их разоружили. Мы хорошо помнили бесчеловечность царского режима. В наших глазах она была главной чертой старого строя, из-за

нее-то он и был так ненавистен нам. И вот внезапно мы узрели перед собою то же жуткое проявление самоуправства, которому, как мы надеялись, пришел конец после первой победы революции: дикое насилие над простым народом, ненужное и необузданное.

Перед отъездом я решил зайти к одному из знакомых, принадлежавшему к совершенно другому классу и другому миру. Мне было любопытно, что он сейчас поделывает, а главное – как себя чувствует в эти бурные дни. Всякий раз, наезжая в Петербург, я посещал Бориса Константиновича Полежаева. Сначала это были строго деловые визиты, но в последние годы я заходил к Полежаеву уже по привычке и из любопытства – это был один из самых странных и редкостных людей, которых я знавал за свою жизнь – а знал я таких немало. В некотором смысле Полежаев напоминал горьковского Фому Гордеева. В период, о котором я сейчас рассказываю, ему было уже за сорок. Его отец был сибиряком, из города Енисейска, горным инженером, управлявшим золотыми приисками в уезде. Разбогатев, он оставил Сибирь и поселился в Петербурге. Борис получил в Петербурге юридическое образование и со временем унаследовал, разумеется, капиталы отца.

Будучи тогда совсем еще молодым человеком, он внезапно стал одним из богатейших людей России. В Петербурге ему принадлежали обширные земли, известные ранее под именем "Лиговского имения", а затем включенные в городскую черту. Он владел несколькими крупными поместьями в Минской губернии и в Крыму, было у него и несколько заводов. Кроме всего этого, ему принадлежала большая часть акций французско-русского банка.

Наше знакомство тоже было наследственным делом, совсем как его имущество. У наших отцов имелось общее предприятие, хотя лично они никогда не встречались и, насколько я знаю, не обменялись даже письмом. В золотоносных провинциях Баргузинского уезда Полежаев-отец приобрел большой участок –

25 километров речного русла, богатого золотом. Ни он, ни сын его никогда там не бывали, золото добывалось примитивным способом, добычей руководили из конторы в далеком Енисейске. Эксплуатация предприятия в тайге требует совершенного оборудования и штата опытных работников. Контору также необходимо было держать на месте или хотя бы рядом, в Баргузине. В силу этого между администрацией Полежаевских приисков и штатом работников моего отца постепенно возникли деловые отношения. Они продолжались много лет, и отсюда дружеские связи, сложившиеся между конторами в Енисейске и в Баргузине.

Со временем, когда я сам стал управляющим золотыми приисками в этом районе, я пришел к мысли, что единственный действенный способ увеличить добычу золота заключается в механизации работ. В 1911 году, будучи в Петербурге, я решил отправиться к Полежаеву-сыну (отца уже не было в живых), чтобы убедить его в выгоде применения драги на принадлежавшем ему речном участке. Мои уговоры на него, однако, не подействовали:

– Что толку? Мы и без того заняты сверх меры. Машины стоят бешеных денег, и кто знает, не выйдем ли мы с убытком.

Такой ответ меня не устраивал, – участок реки, на котором я сам вел работы, был не настолько велик, чтобы оправдать установку драги. Оборудование стоило крайне дорого, и я хотел быть уверенным, что затраты оправдаются лет за пятнадцать, самое большее, двадцать. Поэтому я сделал Полежаеву другое предложение: не согласится ли он передать эксплуатацию своего речного участка мне – в обмен на долю в прибылях? Таким образом, говорил я, он обеспечит себе больше доходов и меньше хлопот. Он согласился, и мы подписали контракт.

Так было положено начало моему знакомству с этим чудаковатым человеком. Женился он на портнихе своей матери, после чего мать перестала пус-

кать его к себе в дом. Особняк его отца на Васильевском острове был одним из самых роскошных в Петербурге, но он никогда никого туда не приглашал. Еще при жизни отца у Бориса был собственный дом в аристократическом квартале на Большой Морской, и деловые встречи происходили там. После кончины отца Борис переехал на Васильевский остров, а на Большой Морской бывал два-три раза в неделю, где, лежа на отцовском диване, принимал посетителей.

Тем не менее дом не был совсем заброшен: в бельэтаже оставались привратник с "гувернером", привезенным в свое время из Енисейска присматривать за маленьким Борисом да так и оставшимся при нем в роли закадычного друга. Этот человек никогда не был одет по-человечески, а вечно донашивал старое господское платье. В отсутствие гостей он сидел на стуле подле Бориса. Старик уже совершенно оглох, однако меня узнавал и впускал без церемоний. То и дело он тащился в переднюю, куда выходил "кабинет" Бориса, чтобы проверить, нет ли новых посетителей. Ввиду своей глухоты он разговаривая кричал. Найдя однажды в передней ожидающую приема даму, он вернулся и, не притворив за собой двери, заорал:

— Боря, там сидит какая-то старая б... и хочет тебя видеть!

На это Полежаев отозвался своим обычным невозмутимым "да".

Одна из странностей Полежаева состояла в том, что он отказывался пользоваться электричеством. Его комнаты освещались исключительно свечами. К политике он был абсолютно равнодушен и никогда на эту тему не заговаривал. Насколько я могу судить, не интересовали его и коммерческие дела, и он продолжал ими заниматься только потому, что они достались ему от отца.

Однажды, направляясь в Петербург, я проезжал через Енисейск и остановился там на ночлег у полежаевского управляющего — друга моего отца. Это был замечательный русский человек, воплощение честности и

порядочности. Он показал мне большой кирпичный дом.

– Вот комната, в которой родился Борис Константинович, – сказал он. – Сами видите, дом требует капитального ремонта, а нет – так через несколько лет в нем и жить будет невозможно. Если сейчас ремонтировать, обойдется недорого, может, тысячи две. Когда свидетесь с ним в Петербурге, повлияйте на него, пожалуйста, чтобы распорядился. С вами он очень считается, может быть, и послушает.

Но когда я рассказал Полежаеву, что провел ночь в его родном доме, и прибавил, что будет жаль, если дом разрушится без ремонта, он с полной серьезностью и без тени улыбки ответил:

– Какой прок в Енисейске от домов? По-моему, они там ни к чему.

Тем дело и кончилось. Причем в его ответе не было никакой позы: он на самом деле искренне полагал, что существование таких городов, как Енисейск, неоправданно. Почему, в таком случае, домам в них не разрушаться?

Серьезен он был всегда. Не вспомню, чтобы он когда-нибудь улыбнулся. Во время вышеупомянутого визита я коснулся и другой темы. Я уже знал, что золота в том году добыто больше обычного и прибыль от прииска будет соответственно больше. Я знал заведующих прииском и знал, что это простые и честные люди. Поэтому, поздравив Полежаева с хорошим годовым доходом, я добавил, что люди работали трудно, самоотверженно. Не считает ли он, что им полагается небольшая премия?

– Премия?! – воскликнул Полежаев. – А если б я вышел с убытком, они бы его разделили?

Однажды Полежаев угостил меня сигарой. Я поблагодарил и сказал, что курю только сигареты. Он пошарил в ящике своего письменного стола и медленно поднялся с кресла:

– Пойдемте, я знаю, где их искать.

Мы прошли через зал в маленькую сумрачную комнату с двумя кроватями.

— Спальня родителей, — заметил он. Постели не были застланы, словно спавшие в них люди только что встали. В то же время я различил толстый слой пыли, покрывавшей все предметы.

Полежаев принялся выдвигать ящики комодов, пока не нашел сигареты, и, протянув мне одну, сказал: "Отцовская!" Должен признаться, что я принял это преподношение без большой охоты, но отказаться было неудобно. Он даже не заметил, что я не раскурил полуистлевшую сигарету и выбросил ее тут же на пороге.

— Когда же скончались ваши родители? — спросил я.

— Семь лет назад, — прозвучал ответ.

Я вспомнил, что его отец и мать умерли почти одновременно, с разницей в несколько дней, и понял, что с этого момента никто не заходил в их комнату.

Умонастроения этого человека несколько для меня прояснились, когда я провел с ним один вечер в Гурзуфе. Я уже упоминал о своем плане по поводу драги. После многомесячных разговоров мы наконец составили черновик контракта. Все было приготовлено для его подписания, и мы договорились зайти на следующий день к нотариусу, чтобы заверить документ. Но когда я заехал за Полежаевым, он мне внезапно объявил, что к нотариусу идти не может. И не потому, что передумал, а потому что должен сегодня ехать с семьей на несколько месяцев в Гурзуф! Я просил отложить отъезд на день, чтобы можно было покончить дело с контрактом.

— Не могу. Уже заказали спальный вагон. Придется вам ехать со мной в Гурзуф.

Естественно, я был ошеломлен. Все мои планы рушились. Самолетов тогда еще не знали, поездка в Крым была делом долгим. Но делать было нечего, пришлось ехать за две тысячи километров ради подписи на контракте.

В Гурзуфе мы расположились в роскошной виле Полежаева. Настал наконец вечер, когда он согласился покончить с делом. Хозяин лежал на кушетке,

а я, сидя рядом, зачитывал, по его просьбе, текст контракта. Внезапно он прервал меня:

– Постойте, Михаил Абрамович... Позвольте задать вам один вопрос. Не кажется ли вам, что жить – скучно?

Я обалдело на него уставился. Лицо у него было серьезное и печальное. Я проговорил:

– Да нет, с чего бы мне скучать? Жизнь у меня до отказа заполнена работой и многими другими делами.

– А мне кажется, жить скучно, очень скучно.

В течение нескольких минут я был не в силах возобновить чтение. Я разглядывал стертые подошвы его башмаков, поношенный костюм и вспомнил, что другого на нем никогда не видел. А ведь это был один из крупнейших русских богачей, к тому же с университетским образованием!..

В свой последний приезд в Петроград я прежде всего – еще до начала большевистской революции – зашел к Полежаеву и застал его в дурном расположении духа.

– Анархия во всем городе, – пожаловался он, – даже свечей не достать!

Он рассказал мне, что накануне был у него знакомый, который служит в Зимнем по хозяйственной части.

– Велено ему готовить попойку на сорок сволочей, но говорит, все золотые и серебряные блюда я припрячу, иначе растаскают.

Под "сволочами" Полежаев подразумевал, разумеется, Керенского, его министров и адъютантов...

– Ничего, скоро здесь будет кайзер Вильгельм, этот быстро наведет порядок.

Война продолжалась, и положение в Петрограде действительно переменилось. В момент, когда Полежаев отпустил свое замечание насчет Вильгельма, он никак не подозревал, что через считанные дни объявится другая фигура, которая наведет в городе свои порядки.

Мой второй визит к нему, накануне отъезда, был очень коротким. На Морской я его не нашел, а спросив привратника, где он, не получил ответа. Тогда я спросил, где сейчас находится "гувернер"; привратник указал мне на невзрачный домишко по соседству. Я направился туда и позвонил. Дверь чердачной квартиры приоткрылась, и в щель выглянул "гувернер". Узнав меня, он скрылся, затем вернулся и впустил.

Я стоял в маленькой бедной комнатушке. Верный слуга, присутствовавший при рождении Бори, теперь предоставил ему убежище в своем жалком жилище. Полежаев был в полном отчаянии. Говорил он шепотом. Он боялся всех и вся и меня тоже. Через семь или восемь лет я получил письмо из Лиона. Полежаев писал мне, что ему удалось переправить семью во Францию, они сидят без копейки, и просил помощи, даже намекнул, что согласен уступить мне свою часть прибылей от приисков. Он, по-видимому, полагал, что еще вернется в Петроград к своим капиталам. Затем прибыло второе письмо — о смерти жены. Вскоре скончался и он сам. Со временем я узнал, что две его дочери служат в частных домах прислугами.

Глава четырнадцатая

НА ПУТИ К НОВОЙ ЖИЗНИ

На протяжении почти трех лет – с начала 1918 до конца 1920 года – мир пристально следил за происходящим в Сибири. В сентябре 1918 года из-под власти большевиков освободилась почти вся Сибирь, а также значительные пространства европейской России. Большевиков выбили с Урала и Поволжья, из Екатеринбурга и Уфы. Деникин, установивший свой контроль над обширными территориями на юге России, двинулся в поход на Москву. К Петербургу со стороны Финляндии приближался Юдевич. Оба они признали верховную власть правителя Сибири адмирала Колчака. Страны Антанты и широкая общественность самой России уповали на скорую ликвидацию большевистского режима.

Сибирь находилась тогда в центре внимания не только из-за военных успехов в борьбе против большевиков. С нею были связаны два драматических события, ставшие вехами в истории Российского государства. В ночь на 16 июля 1918 года в Екатеринбурге была казнена царская семья. Тем самым был положен конец династии Романовых, которая правила Россией 300 лет. А через полтора года, в ночь на 17 февраля 1920 года, в иркутской тюрьме расстреляли адмирала Колчака, правителя Сибири, властвовавшего в течение короткого, но бурного периода над той частью России, которая была освобождена от большевиков. Вместе с ним был расстрелян и глава его правительства. Хотя сопротивление большевикам еще некоторое время продолжалось, их власть постепенно укреплялась, и в конечном счете они подчинили себе всю Сибирь.

С переходом Иркутска в руки большевиков в го-

род прибыл их управленческий аппарат. Как-то вечером ко мне пришли шесть или семь человек. Один – коротышка в высоченной папахе, которой он словно пытался компенсировать свой малый рост – представился мне:

– Я председатель Чека. Мы только что приехали в город. Вы позволите осмотреть вашу квартиру?

Такая вежливость меня удивила:

– Конечно. Я думаю, вы вправе сделать это, не спрашивая меня.

В то время я жил в большой и удобной квартире своего двоюродного брата, уехавшего на время из города. У него имелась обширная библиотека. Таких квартир в Иркутске было немного. Со мною находились две пожилые женщины: старая революционерка, осужденная по "делу 193-х", прошедшая все круги ада царской каторги, а затем вышедшая замуж за врача, поселившегося в Баргузине, и другая – оказавшая нам с матерью гостеприимство, когда в революцию 1905 года я освободился из заключения. С нею была ее дочь, приехавшая из Петрограда.

Одна из женщин провела "гостей" по дому. После осмотра председатель Чека заявил, что он сожалеет, но должен отобрать у меня квартиру.

В памяти у меня всплыли слова, сказанные большевикам моей матерью в аналогичной ситуации в Баргузине.

– Не беда, – сказал я. – В своей жизни я уже повидал комфорт, теперь пришла ваша очередь. Однако я думаю, что, согласно недавно опубликованному закону, право конфискации квартир принадлежит исключительно особой комиссии при горсовете.

– Что верно, то верно, – ответил коротышка, улыбаясь. – Поэтому позвольте представить вам председателя этой самой комиссии. Он нас сопровождает.

Тут его перебила бывшая революционерка:

– Неужели вы хотите сказать, что собираетесь конфисковать клинику врача?

Дело в том, что на входной двери висела табличка с именем владельца квартиры, доктора В. М. Муратова. На другой табличке значилось название журнала, где я в то время работал редактором. Председатель Чека осклабился еще веселей:

– Раз уж приходится отбирать квартиру у редактора, важно ли, что это еще и квартира врача? Докторов у нас навалом.

Я сообразил, что к печатному слову мой гость питает некоторое уважение. Мы начали обсуждать подробности. Сколько времени мне потребуется, чтобы съехать с квартиры? Не менее десяти дней, отвечал я. Он был весьма этим удивлен и ответил, что может предоставить не более двадцати четырех часов. Теперь уж и я не мог скрыть, что ошеломлен, и спросил, куда, в таком случае, он предлагает нам переехать.

– А сколько вам требуется комнат? – спросил он внезапно.

– На нас четверых – по крайней мере три.

– Выдели гражданину три комнаты, – сказал он председателю квартирной комиссии, и тот немедленно написал распоряжение. Правда, эти комнаты оказались в разных концах города.

– Но как же мне перевезти вещи? Ведь в Иркутске невозможно сейчас достать никакого транспорта.

– Будет вам транспорт, – был ответ. И председатель Чека приказал одному из членов своей свиты подать мне к следующему утру грузовик.

В конце концов он дал нам на сборы еще сутки, а когда пришло время съезжать, явился без провожатых. В эту минуту меня более всего тревожила судьба библиотеки.

– Не могу вывезти все книги в такой короткий срок, – сказал я ему, – и, кроме того, они не поместятся в выделенной мне комнате.

– Оставьте их на месте, – ответил он. – При мне с ними ничего дурного не случится, и, когда захотите, можете прийти и забрать их. Телефона я вас тоже не намерен лишать. Пока пусть остается здесь, но как только

я получу свой аппарат, вам его вернут. У меня нет намерения воспользоваться моим правом на конфискацию.

Должен признаться, я был немало поражен такой степенью участия и любезности. Ведь в России и за ее пределами Чека пользовалась репутацией совершенно иного рода. Однако поведение этого маленького человечка вызывало симпатию. Служанка, присланная ко мне матерью из Баргузина, оставалась на квартире еще несколько дней и после говорила, что беспокоится за здоровье председателя Чека: все дни ничего не ест, кроме нескольких приготовленных ею бутербродов и пустого чая.

Под конец он спросил, не соглашусь ли я оставить прислугу у него, ведь мне все равно некуда ее поместить. Сама она согласилась с этим предложением, а я получил разрешение два-три раза в неделю приходить на квартиру, чтобы помыться в ванне. Чем лучше я узнавал этого человека, тем большим проникался к нему уважением. Я чувствовал, что и он относится ко мне с доверием. Несколько раз я сумел убедить его выпустить людей, арестованных Чека. Однажды ко мне пришла рыдающая женщина и в отчаянии рассказала, что мужа забрали и завтра собираются расстрелять. Я знал ее мужа – это был газетчик, приехавший из Омска и просившийся в мой журнал. Однако, проверив его прошлое, я отказался его принять, так как выяснилось, что сначала он подвизался в большевистской прессе, а потом с тем же пылом служил Колчаку!

Тем не менее я пошел просить за него председателя Чека: сказал, что не стоит тратить на него пулю или четыре метра тюремной камеры. Председатель Чека достал дело и углубился в чтение. Затем спросил:

– Согласны поручиться за него?

– Ни в коем случае!

Председатель Чека разразился громовым хохотом:

– Раз так, зачем же вы добиваетесь его освобождения?

Я ответил, что если б речь шла о стоящих людях, я, возможно, и поручился бы, а этот, наверно, найдет себе в городе других гарантов. Вскоре этого человека выпустили на волю.

Кроме книг, на старой квартире оставалось много моих вещей, и я приходил за ними, когда мне вздумается. У меня до сих пор сохранился пропуск за подписью председателя Чека: "Настоящим подтверждаю, что М. А. Новомейскому разрешается ходить в дом и комнату председателя Чрезвычайной комиссии в любое время дня и ночи".

И еще: за весь период моего пребывания в Иркутске, до самого отъезда в апреле, этот председатель Чека не подписал ни единого смертного приговора. Как-то вечером, когда я к нему пришел, я застал у него приезжего в военной форме. Мне он был представлен в качестве чекиста из центра. Это был молодой человек, в высшей степени самоуверенный и заносчивый. На правах инспектора он объезжал все отделы Чека в сибирских городах, положив себе за правило в каждом городе приговаривать к смерти двоих-троих и лично проверять, чтобы приговор был приведен в исполнение, – для острастки. В Иркутске его выбор пал на двух сидевших в тюрьме местных жителей. Однако мой приятель, председатель Чека, был против подобных свирепых методов. Как ни трудно в это поверить, он вообще был противником смертной казни.

Помню две жуткие ночи в эти месяцы в Иркутске. Первая – в начале боев между гарнизоном агонизирующего омского правительства и бандами нового "Политического центра". Я получил известие, что отряды Семенова прорвались из-за Байкала и вышли к иркутскому вокзалу. Эти банды наводили ужас на весь край: их появление означало убийства и грабежи. Особенно они лютовали над евреями, убивая каждого, попадавшего им в руки. Весть об их приближении ввергла в панику иркутских евреев, а также неевреев, известных своими демократическими настроени-

ями. В ту ночь никто из них не сомкнул глаз. Я тогда еще жил в просторной квартире моего двоюродного брата, вместе с двумя старыми дамами, и вскоре к нам присоединились другие женщины – приятельницы и соседки, которые искали у нас убежища. Чтобы как-то рассеять их страх, я почти всю ночь занимал их картами – милой старой игрою в "дурака". С рассветом мы узнали, что банды Семенова разбиты и многие головорезы взяты в плен.

Вторая кошмарная ночь настала месяц спустя, 7 февраля 1920 года. В эту ночь была решена участь Колчака. Остатки его войск уходили длинными вереницами на восток, забрав с обозом семьи и толпы попутчиков. Но железнодорожная линия была перерезана чехами, а большая часть городов и сел вдоль дороги уже находилась в руках большевиков. Поэтому колчаковские колонны двинулись по льду замерзших рек. Из Омска они вышли к Енисею, спустились по нему на север, а затем по притокам повернули на юг, стараясь обходить крупные населенные пункты. Этот ледовый маршрут был выбран еще и из других соображений: по берегам рек стояли села, где можно было разжиться провиантом. Остатки колчаковской армии забирали все, что попадется под руку, и ничего, разумеется, при этом не платили. Жители сел дрожали от страха при их появлении, но и сами солдаты немало намучились во время этого жуткого похода. Пока они дошли до Иркутска, их ряды сильно поредели, и они потеряли своего предводителя – колчаковского генерала Каппеля, который отморозил ноги и в дороге умер.

7 февраля нам сообщили, что советские власти потребовали, чтобы колчаковцы сложили оружие, на что их новый командующий Войцеховский ответил требованием выдать золотой запас и освободить адмирала Колчака. В противном случае он угрожал обстрелять Иркутск. Мы хорошо знали, как слаба военная сила большевиков, размещенная в Иркутске, и были так же хорошо наслышаны о зверствах войск гене-

рала Каппеля повсюду, куда они приходили. Наши страхи усилились, когда в тот же день нам сказали по секрету, что ввиду угрозы Иркутску решено не продолжать допрос Колчака, сидевшего в иркутской тюрьме, а также не отправлять его на суд, готовившийся в Москве, а поскорее расстрелять.

Мы снова пережили бессонную ночь и наутро узнали, что Колчак расстрелян, а войско Каппеля уже покинуло окраины Иркутска и уходит в сторону Байкала.

...В советских учреждениях Иркутска служило много ветеранов-сибиряков, знакомых мне с детства. Но я уже чувствовал, что мне больше нечего делать у себя на родине. Поэтому я подал прошение разрешить мне выезд за границу.

Знакомые уговаривали меня остаться. Мне предложили заманчивую и ответственную должность в горной промышленности. Но я отказался. Подрастает новое поколение, сказал я. Пора нам, старикам, освободить место молодым.

Итак, я получил визу. Она была подписана Янсоном, председателем местного ревсовета.

Я действительно не видел смысла продолжать работу в Сибири. Кроме того, мое решение о выезде за границу было продиктовано и конструктивными мотивами. Я твердо решил уехать в Эрец-Исраэль, чтобы внести свой вклад в строительство обещанного евреям национального очага, так как был убежден, что моя профессиональная подготовка и опыт руководства горными предприятиями в районах отдаленных, трудных и неразвитых могут пригодиться делу сионизма. В Эрец-Исраэль в то время не было ничего похожего на настоящую индустрию, и мысль, что я окажусь одним из ее создателей, вдохновляла меня.

Я уехал из Иркутска в марте 1920 года и прежде всего направился в Баргузин попрощаться с родными и близкими. Это была нелегкая поездка. Бои между бандами белых и большевистскими войсками были в полном разгаре. Дороги и леса от Иркутска до

Байкала кишели солдатскими отрядами, анархистами и просто уголовниками, и все они занимались разбоем. Но я хорошо знал Байкал и зимою не раз пересекал его по льду. Поэтому я решил спрямить дорогу и ехать не трактом, а через Байкал.

Расстояние от Иркутска до Баргузина в объезд озера – около 450 километров, а напрямик – раза в четыре короче. На мне была кожанка, на манер тех, что носили большевики. Один из моих друзей-крестьян, знавший Байкал как свои пять пальцев, взял на себя заботу о транспорте. У него была одноконная санная повозка. Он обещал благополучно провезти меня и через большевистские заставы. И действительно, нас однажды остановили, но мой друг выручил меня. Уронив равнодушным хриплым голосом "Это один из наших", он предъявил мой фальшивый паспорт. Нищий крестьянин, его жалкие сани и кожанка, которая была на мне, – все это выглядело настолько заурядно, что не вызвало никаких подозрений. В конце концов мы добрались до Баргузина целыми и невредимыми.

Баргузин был отрезан от Иркутска уже несколько месяцев, и все это время у меня не было никакой связи с родными. Приехав в родной город, я застал его жителей в страхе и подавленности. Недавно прибывший сюда большевистский комиссар по имени Морозов успел уже расстрелять двух человек – священника Иванова и девятнадцатилетнего офицера – еврея Герзони, обоих – без всякой видимой причины и повода. Можно было лишь предположить, что расстрел русского священика и еврея должен был засвидетельствовать большевистскую беспристрастность и нелицеприятность. Но комиссар этим не ограничился. Он решил навести порядок и за пределами Баргузина и нагрянул в дом одного из золотопромышленников. Там, чтобы произвести впечатление на хозяйскую дочку, он у нее на глазах расстрелял отца. Позже на почте был найден текст телеграммы, отправленной им свое-

му начальству после расстрела Иванова и Герзони: "Только что вывел в расход забавную парочку".

Наслышался я и о бандах Каппеля, проходивших через Баргузин. Весть об их приближении повергла в страх местных жителей, и многие попрятались, в том числе моя мать и сестра с детьми. Они нашли убежище в отдаленном селе, но, к несчастью, банды решили идти в Читу именно через это село. Они забрали принадлежавшего матери коня с упряжью и сани. Но самым ужасным было то, что они увели с собой двенадцатилетнего сына сестры, сделав его возчиком. Напрасно молила мать оставить мальчишку и коня – ее не слушали и требовали, чтобы призналась, почему бежала из города в село.

Мать ответила прямо:

– Потому что наслышались о вас плохого. Но не забудьте, что я все оставила в амбаре: мясо, муку, жито и еще много всего.

Матери действительно было жаль этих людей. Тем не менее они увели и мальчика, и лошадей, но остальных не тронули. Добавлю, что племянник в тот же вечер сбежал и благополучно вернулся к семье.

В середине апреля, попрощавшись с близкими и друзьями и в последний раз побывав на могилах отца и знакомых, я возвратился в Иркутск. Несмотря на весеннее время, Байкал был еще скован прочным льдом. Поездка теперь была менее опасной ввиду стабилизации политического положения.

В конце мая я выехал из Иркутска в составе кооперативной делегации, отправлявшейся в Монголию закупать скот. До Верхнеудинска ехали поездом, оттуда водою по Селенге и через двое суток добрались до пограничного городка Кяхты. Кяхта испокон веков служила местом привала для караванов, перевозивших чай из Китая в Сибирь, а затем в Европу. Среди местной администрации я встретил друзей молодости, которые помогли мне перейти мост, отделявший русскую Кяхту от китайского Меймачина. Привожу текст сохранившегося у меня пропуска:

"Пропуск № 3287
Подателю сего пропуска, товарищу М. А. Новомейскому разрешен выезд и вывоз личных вещей.
Выдано в Троицко-Савске (Кяхте) 28 мая 1920 года".

Следовали подписи городского коменданта и "уполномоченного по особым делам".

Я получил также письменное разрешение на вывоз браунинга. Так я выбрался в Китай. Приехав в Тяньцзинь, я узнал, что чуть не стал жертвой нового режима. Врагом моим оказался один из иркутских знакомых, примкнувший к большевикам. В результате его доноса в Кяхту было отправлено распоряжение арестовать меня и доставить назад в Иркутск, но мне повезло: я уже находился по ту сторону границы.

Перед отъездом я узнал об одном из самых отвратительных и диких эпизодов Гражданской войны. Незадолго до моего прибытия в Кяхту белогвардейцы уничтожили там военнопленных. Дело было так. После убийства Колчака в иркутской тюрьме белые перебросили подальше на восток взятых ими в плен большевиков, а также тех, кто сидел в заключении в забайкальских тюрьмах. Этапы арестантов двигались чрезвычайно медленно, а красные уже настигали отступавшие войска. В конце концов в Кяхту согнали около двух тысяч заключенных. Большевики приближались, белым ничего не оставалось, как бежать через границу, но освободить пленных они не пожелали и расстреляли всех.

Уничтожение пленных было поручено молодому офицеру. Однако вывести в расход две тысячи человек без долгих приготовлений, да еще так, чтобы население этого не заметило, оказалось нелегкой задачей. Офицер использовал самые разные способы убийства, и все равно это заняло несколько ночей. Заключенных расстреливали из винтовок, пистолетов и пулеметов, забивали насмерть железными прутами и свинчаткой. Завершив эту кровавую баню, белые перешли через границу в Меймачин, надеясь найти убежище в Китае.

Однако властям Меймачина стало известно об этом

злодеянии, и как только офицер был опознан, его тут же казнили. Тело вышвырнули на улицу на съедение собакам, и так оно провалялось два дня и две ночи. Кровожадные люди есть, конечно, и среди китайцев, но китайский народ в целом честен и добросердечен. Жители Меймачина берегли добрые отношения со своими русскими соседями по ту сторону пограничного моста в Кяхте.

После короткого пребывания в Меймачине, выполнив формальности и получив китайскую транзитную визу, я отправился в дальнейший путь. В легкой крытой одноконной повозке, в компании еще одного пассажира, я выехал в сторону Урги – священного города и столицы Внешней Монголии, ныне Улан-Батора.

250 километров мы проехали за двое с лишним суток. Улан-Батор представляет собой фактически не один город, а два, разделенных незастроенным пространством в несколько километров. По одну сторону расположен монгольский город, большую часть населения которого составляют буддийские монахи, ламы. Другая часть – китайский торговый город, где в то время проживало и некоторое число русских купцов. Монахи составляли около двух третей всего населения. В монгольской части города – множество храмов. Здесь была резиденция "живого Будды" – наместника Будды на земле, местного духовного вождя, и многие молодые монголы съезжались сюда для завершения религиозного воспитания.

В одном из храмов Урги находится пятнадцатиметровая статуя святого Бурхана, выполненная из позолоченной меди. Все приезжие ходят ее смотреть, а в праздники Ургу переполняют паломники.

В Меймачине и Урге я встретил много знакомых семей из Сибири, оставивших свои дома в начале Гражданской войны и поселившихся в Монголии, с которой они прежде поддерживали торговые связи. Но они недолго продержались после моего отъезда. Я еще находился в Тяньцзине, когда узнал – приблизительно через месяц после того, как покинул

Ургу, – что Унгерн-Штернберг, прозванный "безумным бароном", ушел от большевиков в пределы Монголии, захватил Внешнюю Монголию и основал свою резиденцию в Урге. Проходя через Меймачин, он расстрелял всех попавшихся ему евреев, не пощадив ни женщин, ни детей. В Монголии он продержался год, но в 1921 году был схвачен большевистскими войсками, привезен в Новосибирск (прежний Новониколаевск) и казнен.

Йз Урги я продолжил свое путешествие на новом транспортном средстве, которым недавно начали пользоваться при переезде через пустыню Гоби: на форде, трофее мировой войны, с шофером-китайцем. Чтобы избежать риска, связанного с поломкой мотора или какой-нибудь другой аварией в пустыне, эти автомобили не ходили в одиночку – от Урги до Калгана на другом краю пустыни около тысячи километров. "Колонна" состояла из трех-четырех машин, трогавшихся в путь лишь после того, как все шоферы набирали пассажиров. По дороге, которая представляла собой петляющую по пустыне колею, было несколько жалких заправочных станций – будок с запасом горючего, тавота, резервных частей и топчанами для ночлега пассажиров.

Никогда не забыть мне этой поездки. Ощущение было такое, будто катишься по поверхности жесткого гигантского шара, без конца и краю. Ничего, кроме пересохшей земли, – ни кустика, ни травинки. Твердый, плотный пласт, то желтый, то красноватый. Удивительны в этой пустыне ночи с темным небом, на котором ярко сияют мириады звезд. В шестом часу утра мы уже отправлялись в путь и не спали допоздна. В дороге не останавливались, если только не лопалась шина или не требовался какой-либо ремонт.

На четвертые сутки мы поднялись, объезжая холмы, на высоту около тысячи метров, и после пустынного однообразия перед нами предстала во всем великолепии обширная плодородная долина, зеленеющая нивами и садами. Город Калган, северные ворота Китая,

находится у великой Китайской стены. В древности это был крупный торговый центр, через него проходили караваны, перевозившие чай с Дальнего Востока в Европу. К моменту моего приезда в городе насчитывалось около сорока тысяч жителей, были здесь и русские коммерсанты.

От Калгана до Пекина 180 километров. Этот путь я проделал поездом, но в Пекине не задержался, а поехал дальше в Тяньцзинь, Шанхай и Харбин. В Тяньцзине мне пришлось наблюдать поведение иностранных деловых людей, видеть, как они обращаются с китайцами, и отныне для меня больше не было загадкой, почему на исходе девятнадцатого века в Китае вспыхнул крупный мятеж и отчего так ненавидят там европейцев и американцев. Однажды, например, возвратившись в гостиницу, я увидел, как управляющий-американец издевается над метрдотелем, колотит его по голове и пинает ногами. А ведь этот китаец, – не отвечавший на побои, – был человеком тонкой души и прекрасного воспитания, и все постояльцы относились к нему с уважением.

Позднее я узнал, что причиной избиения был поданный американцу с запозданием стакан виски! Но даже еще не зная об этом, я вскипел и вмешался. Подойдя к американцу, я спросил, как осмеливается он так обращаться с человеком. Помнится, я был настолько взбешен, что обозвал его животным. Он закричал, что это не мое дело: это его китайцы и нечего мне вмешиваться. Думаю, он и на меня накинулся бы с кулаками, если б не видел меня несколько раз за обедом в обществе промышленника и судовладельца Циммермана, который в то время был одной из крупнейших фигур на Дальнем Востоке и самым почетным гостем отеля. Американец еще орал и грозил мне, когда в дверях вдруг появился Циммерман и потребовал, чтобы он оставил меня в покое. Ради пущей безопасности он увел меня к себе в номер и рассказал, что китайцы, прибежав к нему, сообщили, что моя жизнь в опасности. Этот американец, сказал он, во хмелю

способен на все. Так или иначе, Циммерман советовал переменить отель; не дожидаясь моего согласия, он позвонил в другую гостиницу и заказал для меня номер. Мой довод о наличии у меня браунинга его совершенно не убедил, и он послал со мной одного из своих слуг в роли телохранителя.

В конце концов я уступил и переночевал в другом месте. Но на следующий день я позвонил американскому консулу и попросил меня принять. Тут следует объяснить, что незадолго до моего отъезда из Иркутска (еще в период правления Колчака) меня посетил американский представитель Джойнта во Владивостоке с письмом за подписью Лансинга, государственного секретаря США, которым он уполномочивался изучить положение военнопленных и евреев в Сибири и предоставить соответствующий отчет американским представителям в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в госдепартамент. Этим специальным посланцем был доктор Франк Розенблат. Перед возвращением в Соединенные Штаты Розенблат пригласил меня в американское консульство в Иркутске и передал мне вышеупомянутое письмо с полномочиями, поскольку в то время я возглавлял национальный совет еврейских общин в Сибири и на Дальнем Востоке. Одно из поручений, которые дал мне доктор Розенблат, заключалось в том, чтобы повидать американского посла в Пекине и вручить ему подробный доклад.

Теперь я решил воспользоваться этим обстоятельством и пойти к американскому консулу в Тяньцзине. Каково же было мое изумление, когда, войдя в кабинет, я застал его за беседой с тем самым субъектом, с которым вчера поссорился! Но американец тут же вышел. Я сообщил консулу о своей общественной миссии и намерении встретиться с послом в Пекине, а затем пожаловался на управляющего гостиницы и рассказал, как он обращался с метрдотелем. Из первых же слов ответа я понял, что консул не только в курсе дела, но и соответствующим образом подготовлен.

— Не соблаговолите ли вы объяснить, что вам до этой истории? — сказал представитель Соединенных Штатов Америки. — Насколько мне известно, он бил не вас и не вашего родственника. Если китаец недоволен, он может обратиться в суд, не так ли?

Я отвечал, что речь идет о человеческих отношениях и что любой обязан защитить человека от издевательств. К нему же я обратился по той причине, что виновный — американский подданный. Однако мои доводы не возымели действия, и я так и ушел ни с чем.

Я решил обратиться к прессе. В Пекине в то время проживал некий русский по имени Толмачов, сын старой революционерки и моей доброй приятельницы из Иркутска. Жена Толмачова служила в министерстве иностранных дел Китая, и у молодой четы были многочисленные друзья из числа высших чиновников столицы, воспитанников английских и американских колледжей. Я поехал в Пекин, но свидеться с американским послом мне не удалось: время было летнее, и он находился на своей загородной вилле. Ввиду того, что через день-два я собирался уезжать из Китая, я передал Толмачову два письма и две английские газеты, выходившие тогда в Пекине, и рассказал ему о происшествии.

О том, чем эта история закончилась, я узнал только в Эрец-Исраэль. Толмачов писал мне следующее: "Как я заранее и предполагал, обе газеты отказались поместить ваше письмо. Придется вам утешиться тем, что члены "Молодого Китая" энергично действуют, готовя почву для изгнания всех иностранцев из Китая и освобождения своей родины от чужеземного ига. Они твердо убеждены, что одержат победу еще при вашей жизни". И так оно и было.*

---

* Размышляя об этом инциденте сегодня, я думаю, что моя реакция объясняется главным образом незнанием жизни. Я ведь приехал в Тяньцзинь из Сибири, где царила атмосфера равенства и братства. Кроме того, я был тогда помоложе, чем сегодня, и с того времени поумнел...

Одно из самых сильных и ужасных впечатлений, вынесенных из моего пребывания в Тяньцзине и Шанхае, это воспоминание о невероятной жаре. В жизни мне пришлось много поездить по свету. Я родился и вырос среди гор, покрытых вечными снегами, в районе вечной мерзлоты. Долгие годы я жил и работал на южной оконечности Мертвого моря, в том месте, где, согласно легенде, стояли Содом и Гоморра, и которое с тех пор проклято Богом и людьми. Во время Второй мировой войны мне пришлось побывать на экваторе. И, однако, никогда и нигде я не испытывал того страшного отупения, в которое человек впадает в Тяньцзине и Шанхае в июле месяце. Прежде чем сесть за письменный стол в гостиничном номере, я раздевался догола – любая одежда мгновенно становилась мокрой. На улице не ощущалось даже легкого дуновения. К вечеру каждый, у кого был автомобиль, выезжал за город, развивая возможно большую скорость, чтобы хоть немного проветриться.

Через несколько недель я выехал в Харбин. Побыв там недолго, я направился дальше во Владивосток. Харбин, североманчжурская столица, в немалой степени обязан своим развитием русским эмигрантам, которые установили торговые связи с Великобританией и широко развернули экспорт сырья. Хотя большинство русских уже покинули Харбин, их влияние ощущается и по сей день.

Владивосток, расположенный километрах в пятистах от Харбина, был в то время последним углом России, еще не захваченным большевиками. Я приехал туда в августе 1920 года и нашел среди членов местного правительства несколько старых знакомых из Иркутска, работавших в свое время в "Политическом центре" и других учреждениях Сибири. Строй тут был демократический, жители пользовались полной свободой, но от прежнего энтузиазма не осталось уже и следа.

По возвращении из Харбина я отправился в порт Дайрен, находившийся некоторое время под рус-

ским контролем, пока, в соответствии с Портсмутским договором, он не отошел к Японии. Там я сел на корабль "Ллойд-Триестиго" и отплыл в Египет.

Разруха и падение нравов, распространившиеся к концу войны во всех странах, не обошли и Италии. На нашем судне процветало воровство. Вещи, оставленные без присмотра, бесследно исчезали. Началось с малого: пропала тюбетейка, затем рубашка и чьи-то брюки. Дальше – больше: стали исчезать ценные вещи. У одного из пассажиров пропали из каюты золотые часы с цепочкой – прощальный подарок от товарищей по работе в Сибири. Всякий раз, когда я сообщал капитану об очередной пропаже, он меня успокаивал обещанием, что все найдется. Зная трудное положение в Эрец-Исраэль, мы в Китае купили плетеную садовую мебель – несколько кресел и два круглых стола, но к концу плавания недосчитались двух кресел, а за день до прибытия в Порт-Саид исчез и стол. Я снова пожаловался капитану. В последнюю ночь, сказал я, нам придется привязаться веревками, иначе пропадут и люди. Последовал знакомый ответ: "Не волнуйтесь, когда придет время сойти на берег, все отыщется". Разумеется, ничего не отыскалось, все пропало. Позднее я узнал, что капитан был в сговоре с экипажем и получал долю от продажи украденного.

На палубе ехало и несколько евреев из Сибири. Все они направлялись в Эрец-Исраэль. Путешествие длилось сорок дней. По дороге мы ненадолго заходили в Гонконг, индийские порты, на Цейлон и в Аден. 7 октября 1920 года мы прибыли в Порт-Саид. На следующую ночь, через четыре с половиной месяца после отъезда из Иркутска, я пересек Суэцкий канал и 8 октября на рассвете приехал в Тель-Авив, новый еврейский город в Эрец-Исраэль. В моей жизни наступил переломный момент. Позади осталась снежная Сибирь, моя любимая родина; впереди ждала новая страна, новые люди и новые условия существования. Естественно, я волновался и гадал – что уготовит мне судьба?..

Часть вторая

У БЕРЕГОВ МЕРТВОГО МОРЯ

Глава первая

НА ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ

Итак, в мае 1920 года я покинул родную Сибирь и в октябре того же года приехал в Тель-Авив, насчитывавший тогда около 14 тысяч жителей. О положении в Эрец-Исраэль того времени можно судить по официальному докладу "О гражданском управлении Палестиной в 1921 году", представленному мандатной комиссии Лиги Наций сэром Гербертом Сэмюэлем, первым верховным комиссаром в эпоху британского мандата. "Даже случайно забредший сюда путешественник не может не заметить... что это отсталая и малонаселенная страна... Примитивные методы земледелия... нет лесов... Обширные пространства покрыты движущимися песками, которые грозят распространиться и засыпать пригодные для земледелия почвы. Ни Иордан, ни Ярмук, которые могли бы служить источниками энергии, не используются. Введенные турками законы... привели к гибели многих ремесел, не поощрив ни единого. Численность населения во всей Палестине сегодня не превышает 700 тысяч человек, — меньше, чем во времена Иисуса проживало в одной только Галилее..."

Пробыв недолго в Тель-Авиве, я поспешил к предмету моих грез – Иерусалиму – и оттуда спустился к Мертвому морю. По дороге я убедился, как незначительны перемены со времени первого моего приезда в 1911 году. Тогда я ехал на пароконном дилижансе — теперь сообщение осуществлялось с помощью нескольких старых фордов – из остатков военного автомобильного парка времен мировой войны. Однако, по мнению пассажиров, это был сомнительный прогресс: дилижансы хоть и неторопливо, но все-таки двигались, а теперь приходилось то и дело сидеть

на обочине дороги в ожидании, пока шофер починит разбитую и негодную машину.

Поэтому из Иерусалима к Мертвому морю я предпочел поехать верхом. Ко мне присоединился мой старый петербургский приятель Исраэль Розов, – я встретил его в Тель-Авиве. Мы выбрали не обычную дорогу, а решили повернуть к Бет-Лехему и оттуда – на монастырь Мар-Саба, высеченный в скале и издали напоминающий замок, висящий на горном обрыве. Строительство этой мрачной крепости восходит к пятому веку нашей эры. В течение многих столетий Мар-Саба служил местом, где отбывали наказание провинившиеся греческие монахи. Когда мы заглянули в монастырь, то застали там не более пятнадцати человек, – их сочли виновными в еретических настроениях и прегрешениях против нравственности. Дисциплина здесь была суровейшая. Монахи не занимались, как в других монастырях, возделыванием земли или рукоделием; грязные и запущенные, они проводили время в полном безделии. Единственное, что им оставалось, – это кормить заглядывавших сюда перелетных птиц.

Я избрал этот маршрут, чтобы осмотреть залежи фосфатов, о которых упоминалось в исследовании профессора Бланкенгорна. Проводником нам служил надежный паренек по имени Иекутиэль. Отъехав километров восемь от Иерусалима, мы свернули с тракта на Бет-Лехем и двинулись на восток, в Иудейскую пустыню. Езда по бездорожью была нелегким делом, но мы не могли налюбоваться совершенно потрясающим видом, открывшимся на Мертвое море и горы Моава по другую его сторону. Путь до Мар-Сабы занял около трех часов, а спустя еще три часа мы очутились на берегах Мертвого моря. До этого я повидал несколько пустынь и в каждой находил особую, только ей свойственную красоту и очарование. Иудейская пустыня тоже очаровала меня своим диким пейзажем. Тропа, спускающаяся от Мар-Сабы, кружит и вьется, и тот, кто едет по ней на восток, видит перед собой

всю долину Мертвого моря и южную оконечность Иорданской долины. На некоторых участках тропа настолько крута, что нам приходилось слезать с лошадей и спускаться пешком. Мы вышли к тесному ущелью вади Маклих, неподалеку от стоящего на вершине Неби Муссы, и оттуда спустились к северному побережью Мертвого моря. Так мы очутились в точке, расположенной почти на 400 метров ниже уровня Средиземного моря и на 1200 метров ниже Иерусалима.

Тут все оставалось таким, каким было в мой первый приезд. То же запустение и тот же ландшафт, поразивший меня девять лет тому назад и вряд ли изменившийся за тысячелетия, миновавшие после гибели Содома и Гоморры. Несмотря на октябрь, было очень жарко и не чувствовалось никаких признаков приближающейся осени. Зеленовато-голубой цвет воды, алые блики в горах Моава и мертвое безмолвие, простертое над окрестностями, вызывали странное тягостное чувство, уже знакомое мне по первому приезду.

Однако и сюда дошли отзвуки великих перемен, совершившихся в мире за это время. В 1911 году на всем побережье я увидел лишь одну жалкую лачугу, окруженную тростником, и такая же лачуга под сенью финиковых пальм стояла на берегу Иордана, в священном для христиан месте омовения Спасителя. В этих хижинах ютились арабы, готовившие туристам крепчайший черный кофе, который подавался в малюсеньких чашечках. Теперь на берегу стояло несколько дощатых бараков, море бороздила большая моторная лодка и несколько весельных. Как бараки, так и эти "плавсредства" остались со времен войны – турецкие и германские войска покинули их при отступлении.

Мои мысли сосредоточились на предстоящей работе, ради которой я приехал в Эрец-Исраэль. Я хотел создать в этой отсталой стране химическую промышленность, но какой выбрать путь, чтобы добиться поставленной цели? Осуществление этой задачи имело бы огромное значение для возрождения общественной и

национальной жизни в Эрец-Исраэль. Более того, разработка запасов поташа, брома и других минеральных солей Мертвого моря необычайна важна для мировой экономики, особенно для английской промышленности. До Первой мировой войны химической промышленности в Англии почти не существовало. Снабжение поташем зависело от монопольных германских предприятий (в Штасфурте и Эльзасе). Однако в последние годы Англия делала серьезные усилия, чтобы исправить положение и создать у себя современную химическую индустрию.

Задача, за которую я взялся, была нелегкой, но я приступил к ней, имея за плечами долгий практический опыт. Без юношеской восторженности, трезво взвесив все возможности, я принялся за дело. Я понимал, что главные трудности на моем пути будут не технического, а политического порядка. Хотя весь район Мертвого моря входил в зону, оккупированную генералом Алленби, с юридической точки зрения эта территория не являлась британской. Решение о политическом будущем Эрец-Исраэль не было принято. Поэтому представлялось особенно важным, какие аргументы я смогу привести в пользу своего плана добычи минеральных солей методом фракционного испарения. Прежде всего следовало построить на берегу Мертвого моря экспериментальный цех и приступить к регулярным метеорологическим наблюдениям, так как до сих пор не было надежных данных о температурах и влажности в этом районе. Записи считанных путешественников, побывавших здесь, давали весьма скудные сведения. Правда, я нуждался в капиталах, чтобы построить опытную установку, содержать ее, а также чтобы иметь возможность как следует подготовиться к ведению переговоров с властями о концессии на эксплуатацию вод Мертвого моря. Однако я был уверен, что если одолею этот первый, начальный этап, то добьюсь своего и сумею заручиться поддержкой крупнейших финансовых магнатов, особенно еврейских.

Да и сионистские учреждения, недавно получившие согласно Декларации Бальфура официальный статус, несомненно, поддержат меня. Словом, я приступил к делу. Вскоре мне удалось завязать первое знакомство с британскими властями в стране. В этом мне помог адвокат Гарри Сакер, с которым я подружился во время моего посещения Англии в 1910 году. Он жил тогда в Манчестере и был членом редакции "Манчестер Гардиан". Родители его были сионистами и дали сыну соответствующее воспитание. Гарри Сакер был одним из верных помощников доктора Вейцмана, преподававшего в то время химию в Манчестерском университете и готовившего почву для Декларации Бальфура. Группа выдающихся сионистов в Манчестере включала Саймона Маркса, Исраэля Зифа, Герберта Сайдботтема и Сэмюэля Ландмана. Вскоре после получения англичанами мандата на Эрец-Исраэль Сакер поселился в Иерусалиме и стал одним из ведущих юристов страны.

Когда я изложил ему свои планы относительно добычи поташа из вод Мертвого моря, он загорелся и сказал, что усматривает в этом важную веху на пути развития страны. С тех пор он содействовал мне юридическими советами, а также помогал осуществить мой план и со временем стал одним из директоров компании "Поташ"*. Прежде всего Сакер представил меня бригадному генералу сэру Уиндему Дидзу, служившему тогда первым секретарем новой администрации, созданной верховным комиссаром Гербертом Сэмюэлем. Его должность была равнозначна посту

---

* Через некоторое время Сакер вернулся в Англию, и вместо него юридическим советником стал его компаньон Ш. Горовиц, широко образованный и инициативный человек, тоже из группы манчестерских сионистов. Он особенно много сделал для Еврейского университета, а свой дом передал в дар Сионистской организации. Горовиц скончался в 1955 г. во время заседания университетского совета, на котором присутствовал.

премьера в правительстве. В первый раз, однако, я встретился с Дидзом неофициально, посетив его дома для частной беседы. За чаем я рассказал, как, на мой взгляд, можно использовать Мертвое море. Я также попросил дать мне вооруженную охрану для поездки в Трансиорданию, и он ответил согласием, так как полиции в подлинном смысле этого слова в стране не существовало, а дороги были опасны, особенно в том отдаленном районе.

Дидз был замечательным человеком: он обладал энциклопедическими знаниями и оригинальным умом. Было ему тогда лет сорок, ходил он в холостяках и жил вместе с матерью. Он был не только официальным заместителем верховного комиссара, но и его другом. Вместе с тем он был верным сторонником Декларации Бальфура и борцом за ее осуществление. За те два года, что он пробыл в стране, он последовательно содействовал возвращению евреев на их историческую родину, потому что твердо верил, что создание национального очага для еврейского народа, рассеянного в диаспоре, в конечном счете обернется на благо Великобритании и всего человечества.

Я помню, однако, и нашу последнюю встречу в Иерусалиме, после того, как он подал заявление об отставке. Герберт Сэмюэль заклинал его остаться, но Дидз не согласился, ссылаясь на то, что устал от бюрократической рутины. Я выразил свое огорчение по поводу того, что он собирается покинуть страну.

— Я оставляю эту должность и надеюсь никогда больше не заниматься административной деятельностью, — сказал Дидз, — однако сионизму я смогу быть полезным в других местах и в большей степени, нежели мне это удалось здесь.

Он сдержал свое обещание. В течение пяти последующих лет он вел активную пропаганду в пользу сионизма в Англии и других странах. Кроме того, он организовал широкую социальную помощь жителям трущоб в Лондоне. Сам он весьма скромно жил в одном из лондонских пригородов. Когда

я в начале тридцатых годов приступил к основанию компании "Поташ" и предложил ему пост одного из ее директоров, он вежливо, но твердо отказался: написал мне, что не собирается менять свой образ жизни. 400 фунтов стерлингов в год — это та сумма, которой он привык обходиться, и директорский оклад совершенно ему не нужен.

В 1944 году, во время Второй мировой войны, я находился в Лондоне и зашел к Дидзу. До сих пор помню оказанный мне прием: госпожа МакКэннон, его верная помощница, подала мне скромное угощение. Сам хозяин ограничился стаканом чая из термоса, сухарями и ломтиком сыра. Когда я сделал какое-то замечание по этому поводу, Дидз сказал, что большинством своих физических недомоганий люди обязаны жирной еде и долгому спанью. Он сам спит не более четырех-пяти часов в сутки.

Однако такой спартанский образ жизни вряд ли шел ему на пользу — он выглядел больным. И тем не менее продолжал тратить силы и время на дело сионизма. В 1948 году, в возрасте 74 лет, Дидз возглавил "Англо-израильское общество" и всячески старался расширить круг друзей молодого Государства Израиль. Во время моего последнего приезда в Лондон я с глубокой скорбью узнал, что Дидз скончался (2 сентября 1956 года). Да, в его глазах наш мир был миром произвола и упадка.

С верховным комиссаром сэром Гербертом Сэмюэлем я познакомился в начале 1921 года. Он дал мне понять, что я не смогу получить концессию на эксплуатацию Мертвого моря ранее, чем Лига Наций облечет Англию мандатом на управление Эрец-Исраэль. Более того, он подчеркнул, что неизвестно, когда это произойдет. После этой беседы я пришел к выводу, что надо предупредить события и "застолбить" наше присутствие на берегу Мертвого моря, не дожидаясь утверждения мандата и юридического права на добычу минеральных солей.

Время от времени я вспоминал бараки и лодки

на берегу и думал о людях, опередивших меня и закрепивших свое присутствие на Мертвом море. Я узнал, что лодки и бараки принадлежат арабу-христианину Ибрагиму Хасбуну, откупившему их у британских военных властей. Во время войны Хасбун занимался поставкой пшеницы из Трансиордании турецким войскам, но затем ему удалось войти в доверие к сэру Герберту Сэмюэлю в качестве "специалиста" по вопросам, связанным с Трансиорданией. Военная администрация продала ему лодки, а также сдала в аренду земельный участок, на котором он построил барачный лагерь и таким образом обзавелся собственным маленьким "портом".

Мне пришло в голову, что это обстоятельство может послужить мне лазейкой, чтобы добиться законных прав и для себя. Я стал искать встречи с Хасбуном. Мне посоветовали обратиться в лавку на одной из иерусалимских улиц. Над входом красовалась вывеска на французском языке: "Торговый дом Ицхака Коэна". Коэн оказался простым и прямодушным человеком; он знал арабский, но недурно владел и французским и был связан с влиятельными арабами. В числе знакомых Коэна были Муса Казым-паша, глава Арабского исполкома, его двоюродный брат Джамаль-паша, а также Ибрагим-паша Хашемит, впоследствии премьер правительства Трансиордании. Коэн снабжал их различными товарами и тканями, а также ссужал деньгами*. Интересовавший меня Хасбун тоже числился в списке его знакомых. Коэн представил меня и служил переводчиком во время нашей беседы.

Переговоры с Хасбуном оказались плодотворными. Мы подписали контракт, который ввел меня во владение всем имуществом на берегу Мертвого моря, бараками и лодками, а также перепоручил мне аренду зе-

---

* Спустя несколько лет Ицхак Коэн передал все дела своим служащим, а сам переехал на жительство в Рамат-Ган, где и скончался в преклонном возрасте.

мель, на которых стояли бараки, – все это за 1500 фунтов стерлингов наличными. Кроме того, я взял на себя выплату его задолженности Англо-египетскому банку в Иерусалиме в размере 3500 фунтов стерлингов. С банком я заключил соглашение о сроках погашения долга. Все стороны остались довольны: господин Хасбун положил в карман 1500 фунтов стерлингов и избавился от забот о долге; английская администрация, неосмотрительно поручившаяся за Хасбуна перед банком, освободилась от ответственности; я же без больших хлопот получил законный доступ к Мертвому морю. Правда, за это пришлось заплатить большие деньги. Но от лодок я рассчитывал получить доход, организовав перевозку грузов, и под это предприятие взял взаймы 5000 фунтов стерлингов у Джеймса Ротшильда, приехавшего в страну в качестве представителя "Еврейского общества содействия колонизации Палестины". Я изучил экспортно-импортные отношения между западным берегом Эрец-Исраэль и Трансиорданией, в чем мне с большим удовольствием помог сам Хасбун, так как согласно нашему договору он стал одним из директоров предприятия. Власти также одобрительно отнеслись к моему плану. Я установил, что компании следует заняться импортом шерсти и пшеницы, а вывозить различные потребительские товары.

Этот ход позволил мне сразу взяться за дело: в моем распоряжении оказалась моторная лодка, и я мог ходить на ней на замеры и заниматься исследованиями, не опасаясь противодействия с чьей-либо стороны. Весною 1921 года я предпринял, с помощью Хасбуна и Коэна, четырехдневное путешествие вокруг Мертвого моря, к которому я привлек группу в двадцать человек, в том числе сына верховного комиссара и его молодую жену.

Поездка оказалась чрезвычайно интересной. Мы побывали в вади Зерка с его горячими источниками, искупались там во внутреннем бассейне с горячей водой, а потом окунулись в море, чтобы освежиться.

Осмотрели ручей Арнон, который течет в теснине среди почти отвесных красных скал, и поднялись до водопада в горах. В провизии у нас не было недостатка, так как снабжением заведовал Коэн, щедро обеспечивший нас всем и погрузивший на палубу двух живых овец, чтобы мы не страдали от недостатка свежего мяса. Однако, когда мы шли вдоль восточного побережья, произошел неприятный инцидент. Внезапно в горах Моава раздались ружейные выстрелы и по воде защелкали пули. К счастью, стрелок промахнулся. Хасбун приказал рулевому повернуть прочь от берега. Когда мы отошли метров на сто, он проговорил:

– Теперь мы вне опасности. Пускай себе палит, нас не достанет. У него только и есть, что старое турецкое ружье.

Хасбун хорошо знал местные нравы и был опытен в делах подобного рода. Через несколько минут мы заметили араба, стоявшего на вершине одного из холмов и стрелявшего по нашей лодке.

– Зачем же он стреляет, если нет шансов попасть? – спросил я Хасбуна.

– Так, хочет позабавиться... – отвечал Хасбун.

Итак, пока все шло прекрасно.

Поэтому я решил сделать следующий шаг и заполучить в аренду необходимую для моих целей большую территорию.

"29 июля 1921 года, Иерусалим

Его превосходительству верховному комиссару
Дом правительства
Иерусалим

Сэр,

В продолжение беседы, которую я имел сегодня утром с Вашим превосходительством, и в дополнение к черновику договора, который будет подписан между администрацией Палестины и мною о перевоз-

ках и мореходстве на Мертвом море, в соответствии с чем администрация Палестины согласилась сдать мне в аренду определенные земельные участки, находящиеся в руках господина Хасбуна, прошу администрацию передать мне в долгосрочное арендное пользование, помимо вышеупомянутых участков, соседнюю с ними территорию, согласно обозначениям на приложенной ниже карте...

Данные земли будут использованы для добычи минеральных солей из Мертвого моря, к чему я намереваюсь приступить после получения соответствующего разрешения. Итак, я прошу о передаче мне этих земель в долгосрочную аренду, на условиях, которые будут согласованы между администрацией Палестины и нижеподписавшимися.

Имею честь, сэр, оставаться Вашим покорным слугою

М. Новомейский".

Ответ из Дома правительства поступил незамедлительно. Он был датирован 2 августом 1921 года. В нем содержалось согласие на все, что касалось транспортной компании и полицейской защиты. "Администрация признает важность охраны тракта к Мертвому морю, – говорилось там, – и хотя она не собирается брать на себя ответственность за это, сделает все возможное для обеспечения безопасности Вашего предприятия". Мне также прислали "черновик контракта, который администрация готова подписать", и – "небольшие поправки к черновику от 27.7.1921 г. с приложенной копией..."

Увы, позже мне пришлось убедиться, как велика дистанция между добрыми намерениями и их осуществлением. Кроме того, письмо содержало весьма неприятный абзац, о котором речь впереди.

Что касается полицейской защиты, то сэр Герберт Сэмюэль любезно предложил обратиться к полковнику Эрнесту Ричмонду, его советнику и "специалисту" по арабским делам. Но беседа с полковником оказа-

лась весьма неприятной. Оказалось, что среди новой администрации есть люди совсем иного сорта, чем сэр Уиндем Дидз: многие англичане намеревались удушить дело сионизма, уничтожив его в самом зародыше. Ричмонд был заклятым врагом политики национального очага и со временем недвусмысленно выразил это в статье, которую опубликовал в периодическом издании "Девятнадцатый век" (июльский номер за 1925 год). Он объявил Декларацию Бальфура плодом происков "мирового еврейства" и безумия британских политиков и защищал позицию арабов. Несмотря на это, он продолжал оставаться в Палестине. Во время нашего первого разговора Ричмонд заявил без обиняков, что власти не могут заниматься охраной работников и имущества частного предприятия и что о безопасности я должен заботиться сам. Этот разговор пролил свет на те огромные затруднения, с которыми сталкивался верховный комиссар. Сэр Герберт Сэмюэль был добрым евреем, но он был также верным слугою Великобритании и, получив назначение на свой пост, счел себя обязанным сохранить полную нелицеприятность и без предубеждений подойти к выбору помощников. Так что среди высших чиновников администрации Эрец-Исраэль оказались люди как с проеврейскими, так и с проарабскими настроениями.

Однако еще в большей степени, чем недоброжелательность Ричмонда, меня встревожил загадочный абзац в правительственном письме. Пункт 2 гласил:

"Как уже говорилось на заседаниях, в которых Вы принимали участие, администрация не вправе выдать Вам разрешение на поиск полезных ископаемых и концессию на их разработку, пока не вступят в силу хартия и мандат. Что касается добычи поташа и других минеральных солей из Мертвого моря, то в этом направлении уже предприняты шаги другими частными заинтересованными лицами".

От этого абзаца меня бросило в дрожь. Этот пункт не только связал мне руки в отношении поиска новых

залежей, но из него, кроме того, вытекало, что имеются "частные заинтересованные лица", которые еще до меня "предприняли шаги".

Я попытался выяснить, что это означает, и сэр Герберт Сэмюэль отослал меня к лондонскому министерству колоний. Итак, я поехал в Лондон; эта поездка была необходима тем более, что я рассчитывал найти там финансовую поддержку моему предприятию. В Лондоне я встретился с Гарри Сакером, и мы вдвоем отправились в министерство колоний. Там нас свели с Р. В. Верноном, главой палестинского отдела. Вернон принял нас приветливо, отнесся положительно к моему плану, но и он не мог гарантировать, что министерство колоний со временем утвердит соглашение между властями и компанией "Торговля и перевозки", которую я основал. До вступления в силу мандата больше ничего нельзя было сделать. Что касается загадки "заинтересованных частных лиц", то об этом Вернон не проронил ни слова.

Перед отъездом в Лондон мне удалось справиться с делом совершенно иного свойства. Осенью 1921 года я сумел вывезти из Сибири мать и остальных моих родственников, всего двенадцать человек; в октябре того же года все они благополучно прибыли в Страну: мать, одна из сестер — вдова с детьми — и вторая сестра с мужем и детьми. После смерти отца (в 1916 году) я стал главой семьи и обязан был заботиться об остальных. Поэтому я постарался привезти своих близких в Страну, сделал все, чтобы дать им возможность обосноваться на земле и заняться сельским хозяйством. Исходя из своего жизненного опыта и взглядов я считал, что земледелие — самый верный способ обеспечить здоровый образ жизни. Эту точку зрения, которая гармонировала с сионистскими стремлениями вернуть еврейский народ к нормальному и естественному существованию, разделяла и поддерживала моя мать. Еще до приезда родных я поездил по Стране в поисках места, где они смогли бы пустить корни и начать новую жизнь, и остановил свой

выбор на Хадере, насчитывавшей тогда около 150 человек населения.

Два обстоятельства побудили меня остановиться на этом поселении. Во-первых, именно здесь в свое время поселились билуйцы, пионеры сионистской колонизации Страны (восемь из них еще были тогда живы). Во-вторых, Хадера произвела большое впечатление на моего отца, побывавшего здесь в 1914 году, за несколько месяцев до начала мировой войны. Он справлял в Хадере Пасху и восторженно описал это в своем дневнике. Я купил в колонии большой участок с пахотными землями, виноградниками и плодоносящим миндалем, где стоял тот самый дом, в котором праздновал Пасху мой отец. Приехав в Страну, родные поселились в этом доме. Племянники с двумя приятелями из Сибири взялись за работу на полях и в виноградниках, а сестра ухаживала за садом, коровами и птицей. Сельскохозяйственные работы были им знакомы еще с баргузинских времен. Постепенно они сроднились со Страной, научились разговаривать на иврите, а потом и на арабском, поскольку подружились с жителями соседнего с Хадерой села Катра*. Я был доволен, что мне удалось наладить их жизнь, и со спокойным сердцем выехал в Лондон бороться за свой план.

На корабле я встретил принца Абдаллу, эмира Трансиордании, незадолго до этого формально отделившейся от западной части Палестины. Границей между ними установили линию, проходившую по реке Иордан и пересекавшую Мертвое море с севера на юг. По решению Каирской конференции, где председательствовал тогдашний министр колоний Уинстон Черчилль, Трансиорданию исключили из сферы действия Декларации Бальфура и евреям запретили селиться в ее пределах.

---

* Дружба эта не прервалась и во время кровопролитных стычек, имевших место в Эрец-Исраэль.

Абдалла, назначенный правителем нового государства, титуловался эмиром. Английское правительство пригласило его в Лондон с визитом. В этой поездке эмира сопровождали глава правительства Али Рид-паша, Рикаби – сын Али Рида, воспитанник английского университета, служивший у Абдаллы секретарем, и человек шесть телохранителей-бедуинов.

Несмотря на то, что Рикаби получил английское воспитание, он ненавидел англичан, впрочем – и французов тоже. Он был типичным арабским националистом, и все его помыслы только на этом и были сосредоточены. Он говорил о намерении французов удержать за собой Сирию, утверждал, что они непримиримы и готовы убрать любого, осмеливающегося возражать им. Англичане, добавлял он, прибегают к совершенно иному методу. "Внешне они вежливы и улыбчивы, но втайне стремятся подточить саму основу нашего существования, как туберкулезные палочки".

Для Абдаллы и большей части его свиты плаванье на корабле было первой встречей с западным миром. Телохранители эмира питались за отдельным столом, в обществе молодого Рикаби, который их наставлял и присматривал за ними, а также учил пользоваться столовыми приборами, вместо того, чтобы по бедуинскому обычаю есть руками. В Триесте они поселились в гостинице "Савойский дворец" и, когда лифт начал подниматься, разразились воплями ужаса.

С врачом эмира я был знаком еще раньше, и он представил меня Абдалле и его премьеру. Абдалла и Рикаби-отец были осведомлены о моем плане и о моей договоренности с Хасбуном и проявили большой интерес к предприятию, которое я собирался основать. Для меня это было важно, так как половина Мертвого моря находилась отныне под их управлением. Правда, эмир говорил только по-арабски, так что беседовать с ним я мог лишь с помощью переводчика, зато я много общался с Рикаби, объясняя ему ту пользу, которую от моего предприятия в равной степени получат и Эрец-Исраэль, и Трансиордания.

Я всегда верил в доброе сотрудничество между евреями и арабами, и мои дружественные отношения с Абдаллой продолжались много лет. Он хотел развития Трансиордании и понимал, что это требует тесной кооперации с ее западным соседом. Других арабских правителей он ставил не слишком высоко. Само собой разумеется, он питал глубокую ненависть к Ибн-Сауду, который завоевал Наджу, изгнав оттуда отца Абдаллы. Не любил он и Фуада, короля Египта. Он, бывало, говаривал: "С ними я за стол не сяду: один – бедуин (Ибн-Сауд), другой – подлец (Фуад)".

Он приглашал меня несколько раз в свой дворец в Аммане и зимнюю резиденцию в Шуни в Иорданской долине и сам несколько раз приезжал ко мне на предприятие. В отличие от остальных арабских вождей он не питал ненависти к евреям и не боролся против сионизма.

– Кто построил мой дворец? Кто водит тракторы на моих полях? Ведь это еврейские парни, – говорил он.

Он часто повторял, что унаследовал такое отношение к евреям от отца. Абдалла гордился своим происхождением – ведь династия Хашимитов восходит к пророку Магомету, – но не усматривал никакого противоречия между исламом и доброжелательным отношением к евреям и пониманием их национальных чаяний.

В последний раз я встретил Абдаллу в Лондоне в конце августа 1949 года. Он остановился в отеле "Гайд-Парк", и я отправился его навестить. Во время войны, последовавшей за провозглашением Государства Израиль, был выведен из строя трубопровод, подававший пресную воду из ручья Хаса в Трансиордании на заводы поташа в Сдоме. Я собирался просить Абдаллу помочь возобновить снабжение пресной водой. Однако он перевел разговор на перспективы мира между его страной и Израилем и старался подчеркнуть условия, необходимые для успокоения арабских чувств. В заключение он сказал, что, если по приезде домой я пожелаю увидеться с ним, он

с удовольствием меня примет. Он назвал имя человека, который доставит ему мое письмо, – ведь только недавно прекратились бои.

В ноябре того же года (1949) я решил встретиться с ним, чтобы еще раз обсудить вопрос водоснабжения. Я написал Абдалле, прося аудиенции. Ответ прибыл с обратной почтой – он приглашал меня отобедать с ним в его дворце в Шуни. Эта поездка сопровождалась большими предосторожностями. Ночью я прошел в Старый Иерусалим, где в условленном месте меня ждал адъютант Абдаллы с автомобилем. Чрезвычайно опасным был проезд через Иерихон, переполненный беженцами, пылавшими лютой ненавистью к евреям. Наша беседа с королем затянулась, и домой я вернулся лишь под утро. И на сей раз Абдалла не пожелал говорить о воде. Его занимал вопрос достижения прочного мира. Он хотел, чтобы Иорданское королевство имело общую границу с Египтом – хотя бы в виде шоссе, которое будет проходить по Негеву до Газы. Он также рассчитывал, что Иордании будет предоставлено право пользоваться Хайфским портом, и предлагал совместно построить железнодорожную линию от Хайфы до Акабы. Проблему беженцев он собирался решить расселением их на землях Трансиордании и других арабских стран, а необходимые для этой цели средства получить от Государства Израиль в виде выплаченных беженцам компенсаций. Но в июле 1951 года Абдалла был убит в Иерусалиме во время молитвы в мечети Омара. Убийцы были, по-видимому, подосланы иерусалимским муфтием, старым противником короля, заклятым врагом евреев и сионизма. Так ушел из жизни единственный арабский вождь, желавший истинного мира с еврейским народом.

Глава вторая

КОМПАНЬОН И ДРУГ

24 июля 1922 года Лига Наций решила передать Эрец-Исраэль под мандат Британии. Второй параграф резолюции гласил:

"Обладатель мандата несет ответственность за создание в стране таких политических, административных и экономических условий, которые обеспечат строительство национального очага еврейского народа". Четвертый пункт мандата фиксировал признание Еврейского Агентства (иначе говоря, Сионистской организации) — в качестве "общественного органа, правомочного консультировать власти страны и сотрудничать с ними", а в одиннадцатом пункте говорилось, что "администрация может придти к соглашению с Еврейским Агентством... дабы предпринимать и производить... общественные работы..., а также развивать эксплуатацию природных богатств страны, поскольку сама она не будет заниматься этими вопросами непосредственно".

На первый взгляд все преграды на моем пути были устранены. Когда была получена эта отрадная весть, я попросил Гарри Сакера написать в отдел торговли и промышленности палестинской администрации письмо следующего содержания:

"23 июля 1922 года

Уважаемые господа,

От имени моего доверителя М.Новомейского прошу выдать концессию на добычу калийных солей и других полезных ископаемых Мертвого моря с помощью испарительного либо иного процесса.

Мой доверитель г-н Новомейский интересуется этим вопросом в течение многих лет. В 1911 году он предпринял геологические и химические исследования в районе Мертвого моря и сделал первые шаги для получения концессии. В прошлом году в письме от 29 июля он обратился по этому вопросу к администрации Палестины. Ответ гласил, что администрация не вправе выдавать какие-либо разрешения на поиск минералов, или концессии на их эксплуатацию, или вести переговоры о заключении определенных соглашений по этому поводу, пока мандат не вступит в законную силу. Администрация Палестины также довела это дело до сведения секретаря министерства колоний в Лондоне.

Мы с моим доверителем беседовали по этому вопросу с работниками министерства колоний, и нам было обещано, что требования моего доверителя будут учтены.

Г-н Новомейский провел научные исследования вод Мертвого моря и содержащихся в них солей. Результаты этих исследований он передал администрации Палестины и готов передать их повторно. Теперь, после того как мандат вступил в законную силу, устранена преграда, препятствовавшая выдаче разрешения или концессии. Посему мой доверитель возобновляет просьбу, выдвинутую в прошлом году.

Мой доверитель просит выдать концессию на аренду земельного участка, обозначенного на карте, которая была им представлена администрации в письме от 29 июля 1921 года, с тем, чтобы срок аренды был установлен на 50 лет или более, на условиях, которые будут согласованы между сторонами. Границы участка следующие: земли, находящиеся сейчас в руках г-на Хасбуна, Мертвое море, вади Яхил и линия, обозначенная на карте. Длина границы по побережью Мертвого моря – около 1250 метров.

Мой доверитель сохраняет за собой право просить о сдаче ему в аренду более обширного участка в том случае, если это окажется необходимым для детального проекта, который будет им представлен.

Данный участок он намеревается использовать для добычи минеральных солей и других химических веществ из Мертвого моря и настоящим просит о выдаче разрешения на эксплуатацию в этих целях земель и воды. Само собой разумеется, что подробности концессии должны быть оговорены соглашением между администрацией Палестины и моим доверителем, однако последний просит, чтобы его право на концессию и аренду было засвидетельствовано как можно скорей, он в высшей степени заинтересован по возможности ускорить разработку окончательного соглашения между ним и мандатной администрацией.

Имею честь, сэр, оставаться Вашим покорным слугою

Гарри Сакер".

Мне стало известно, что отдел торговли и промышленности переслал мою просьбу в министерство колоний в Лондон. Снова казалось, что все уладится наилучшим образом, как вдруг на меня свалилась весть, что те самые загадочные намеки на "заинтересованные частные лица", уже "предпринявшие шаги", не были пустыми словами. Мне сказали, что кто-то меня опередил и тоже просит концессию на эксплуатацию Мертвого моря. Более того, речь идет об англичанине (точнее шотландце) – некоем майоре Т. Г. Таллоке. Получив это горестное сообщение, я поспешил в Лондон проверить его. И действительно, в главном бюро Сионистской организации мне сказали, что секретарь по делам колоний только что лично сообщил им об этом.

Дело было так. В годы войны цены на поташ в Англии подскочили с 9 фунтов стерлингов за тонну до восьмидесяти, так как всемирная монополия на это сырье для производства удобрений и взрывчатых веществ принадлежала тогда Германии. В Соединенных Штатах платили за поташ 112 фунтов стерлингов за тонну. Майор Таллок работал на военных заводах Вулвича и учел ситуацию. В 1918 году он услыхал от

одного из своих приятелей, что поташ имеется в колоссальных количествах в Мертвом море. Таллок написал секретарю военного кабинета письмо с просьбой, чтобы после победы ему было предоставлено право на добычу поташа. Он не был химиком, и его план был чрезвычайно дерзким, однако понравился чиновникам, и ему было обещано, что со временем его предложение будет обсуждено.

Более того, идея использования Мертвого моря уже исследовалась правительственной комиссией во главе с канадским геологом, майором Броком. В 1919 году комиссия посетила Мертвое море и дала положительный отзыв. Копия ее отчета была вручена Таллоку, и последний, на основании содержавшихся в отчете данных, обещал английскому правительству, что приступит к делу "сию минуту". При этом он похвалялся, что в кратчайший срок лишит Германию ее монопольного положения. Все эти подробности дошли до меня лишь после, но даже если б я был осведомлен о них заблаговременно, я действовал бы точно так же. В 1922 году я подал правительству первый технический отчет, где прямо подчеркнул, что к коммерческому производству можно будет приступить только после длительного экспериментального периода. Я подчеркивал также необходимость в дополнительных наблюдениях и опытах, чтобы найти решение для различных косвенных проблем. И, естественно, я ничего не говорил о финансово-коммерческой стороне моей программы.

Возможно, что чиновники удивились бы моей умеренности, если бы не буйная фантазия Таллока: когда я узнал, какие он надавал непомерные обещания, мне не составило труда доказать, что его предложение несерьезно. Но об этом ниже. Пока же мне было известно лишь, что чиновники в министерстве колоний воздерживаются от внятного ответа и ограничиваются отговорками — "вопрос рассматривается". После долгих хлопот я добился ответа из министерства колоний (30 декабря 1922 г.). Меня извещали, что

секретарь по делам колоний (лорд Девонширский) готов дать указание королевским представителям подписать со мной контракт о передаче земель и другого имущества, находящегося в руках Хасбуна. Это был маленький шаг вперед, но и он был обусловлен двумя пунктами. Во-первых, упомянутый выше долг в размере 3500 фунтов стерлингов падет на меня одного, несмотря на то, что палестинская администрация гарантировала его уплату. Во-вторых, на меня возложили все расходы, связанные с юридической процедурой передачи имущества, причем я должен был немедленно уплатить требуемые суммы королевским юристам. Моя просьба насчет добычи солей из Мертвого моря была обойдена в письме полным молчанием, а устно мне дали понять, что на это нечего и рассчитывать, во всяком случае, в связи с данным соглашением.

Таким образом, после двух лет труда я добился ничтожных результатов. А тем временем я увяз в многочисленных долгах: экспериментальная работа на Мертвом море, поездки в Лондон, платеж Хасбуну и так далее, и это помимо расходов на жизнь. Правда, мне удалось спасти от большевиков определенные средства, которые я получил по трем банковским счетам моей семьи в Иркутске, Омске и Владивостоке: эти деньги позволили мне сделать то, что я предпринял в Стране. Но привезенный мною капитал иссяк, и теперь приходилось искать энтузиастов, готовых поддержать мой проект участием в расходах. Поддержка солидных финансистов была необходима и на случай переговоров с властями – чтобы я мог доказать, когда меня об этом спросят, что я в состоянии построить завод и осуществить свой план, если концессию дадут мне. После соответствующих подсчетов оказалось, что мне потребуется по меньшей мере 30 тысяч фунтов стерлингов. Однако это мне не испортило настроения: я был твердо убежден, что если только сумею доказать, что мой проект выполним, я без затруднений соберу под него крупный капитал как в Европе, так

и в Америке. Но 30 тысяч фунтов мне надо было изыскать безотлагательно.

Я уже упоминал, что, приехав в Тель-Авив, встретил там Исраэля Розова, моего старого знакомого по Петербургу, переселившегося с семьей в Эрец-Исраэль. Его отец и брат прибыли сюда еще до войны и занялись фермерством. В Петербурге Розов принимал живое участие в общественных делах местной еврейской общины и был заместителем председателя исполкома Сионистской организации в России. Двери его дома всегда были открыты перед гостями и общественными деятелями, и все заседания сионистского исполкома проводились у него. Он посоветовал мне обратиться к Лесли Эркхарту, англичанину, который в свое время был "королем" русской меди. Про Эркхарта я слышал еще в Петербурге, но никогда его не встречал. Большевики экспроприировали его заводы, и он поселился в Лондоне, где занял пост председателя Русско-Азиатского банка (похоже, что на деле ему принадлежал весь банк), в ожидании, когда большевикам придет конец и он сумеет вернуться в Россию к своим предприятиям.

В ноябре 1922 года я встретился с Розовым в Лондоне, и мы вдвоем отправились к Эркхарту. Я изложил ему свой план и сказал, что ищу поддержки, чтобы добиться концессии. Он тотчас пообещал дать мне рекомендательное письмо. Через месяц он написал Розову (а затем и мне), что когда будет основана компания с основным капиталом 30 тысяч, он будет готов инвестировать в нее пятнадцать или даже шестнадцать тысяч фунтов. Об этом он уведомлял не только от своего имени, но и от имени банка. Задатка я у него не попросил и должен признаться, что втайне сомневался, действительно ли он собирается поместить деньги, как обещал. Так или иначе, его письмо мне сослужило службу при переговорах с министерством колоний (однако, когда они успешно завершились и мне потребовалось доказать наличие у меня необходимых

средств, Эркхарт внес всего-навсего 500 фунтов стерлингов...).

Но мне повезло, – я заручился помощью также из другого источника. В январе 1923 года я получил предложение от Я. А. Найдича, известного в Москве и Петербурге еврейского деятеля, старого сионистского лидера. До революции Найдич был крупным промышленником и во время войны поставлял союзникам России спирт по доверенности русского правительства (дружеские отношения, которые он тогда завязал с министром финансов Коковцевым, продолжались и после войны). Ныне Найдич проживал в Париже и занимал пост председателя экономического совета Сионистской организации. Он пригласил меня выступить в совете с докладом о моем проекте эксплуатации богатств Мертвого моря. В результате этого выступления я получил в конце января официальное письмо с уведомлением, что фонд "Керен ха-Иесод" согласен вложить в предприятие 5 тысяч фунтов стерлингов. В письме говорилось: "Помощь, которую мы вам предлагаем, направлена не на извлечение прибылей, а главным образом на поощрение алии и еврейского поселения".

В том же месяце произошла наша первая встреча с моим соперником, опередившим меня просьбой о предоставлении концессии. Министерство колоний предложило нам с Таллоком обсудить возможность сотрудничества. Последовав этому совету, я обратился к Таллоку, и мы действительно достигли соглашения. Несмотря на разницу в нашем подходе и разногласия по ряду вопросов, у нас установились нормальные отношения, продолжавшиеся до самой смерти Таллока в 1938 году.

Механик по профессии, Таллок ни в коей мере не являлся специалистом по горному делу. Когда я к нему впервые приехал, то застал его в авторемонтной мастерской. Это был крепкий, пышущий здоровьем шотландец из аристократической семьи, один из пяти сыновей генерала сэра Александра Таллока.

Два брата пошли по стопам отца и служили в армии (один был тогда бригадным генералом, другой – полковником). Третий брат, юрист, был председателем и директором Манчестерского окружного банка. Четвертый, инженер, много лет провел в Индии и служил там главным инженером железной дороги Бенгал – Нагпур. Сам Томас Грегори Таллок работал во время войны в исследовательском институте военных заводов Вулвича, во главе которых стоял в то время лорд Холдейн. Он никогда не бывал в Палестине и все сведения о Мертвом море почерпнул из упомянутого выше доклада майора Брока.

Много лет спустя я познакомился с перепиской между Таллоком и Верноном из министерства колоний в период, о котором идет речь, и позабавился от души. Вернон сообщил Таллоку о просьбе на выдачу концессии, исходящую от некоего Новомейского, и писал ему (4 января 1923 г.): "Мне кажется, Вы хорошо сделаете, если встретитесь с ним. Он горный инженер с большим технологическим и практическим опытом, а также отлично разбирается в условиях Мертвого моря и его окрестностей..." Таллок на это отвечал (12 января): "Что касается Новомейского, то я буду рад воспользоваться его услугами и опытом... Позволю себе сказать, что его предложение относительно 30 тысяч фунтов стерлингов не слишком серьезно. Я полагаю, что и проделанная им работа не столь обширна и убедительна, как исследования, которые были проведены с участием известных химиков-специалистов. А помимо вопроса исследований... позвольте-ка Вам напомнить, что я занимался этим делом в официальном порядке задолго до появления г-на Новомейского. Поэтому к нему я не собираюсь обращаться, хотя готов воспользоваться его услугами, если он обратится ко мне..."

Очень скоро я понял, что с финансовой точки зрения положение Таллока даже хуже моего. Однако я учел преимущества сотрудничества с ним, и в конечном счете мы пришли к соглашению о равных

долях в концессии. Что касается ведения дел компании, которую мы собирались основать, и выработки ее политики, то разговаривать об этом было преждевременно, и мы на этом не останавливались.

Заключая соглашение с Таллоком, я учитывал, что у него имеется письмо секретаря британского правительства, гласившее, что вскоре в Палестину будет послана группа специалистов для изучения перспектив эксплуатации Мертвого моря, и. если будут предприняты шаги в этом направлении, его просьбу о концессии "примут во внимание". От этого джентльменского обязательства, данного Таллоку, нельзя было просто отмахнуться. Кроме того, его позиция была выгодней моей в силу происхождения. Незадолго до этого русский еврей Пинхас Рутенберг получил концессию на электрификацию Эрец-Исраэль, что вызвало в Англии резкую критику*. К моему счастью, сам Таллок был человеком покладистым и добродушным. Главным его недостатком была излишняя восторженность – ведь и просьба о концессии на эксплуатацию Мертвого моря была результатом случайно дошедших до него сведений о кроющихся здесь возможностях. Эта его струнка со временем причинила нам много бед, поскольку злонамеренные люди умели играть на ней, и Таллок то и дело загорался и попадался в расставленные ему ловушки. Но об этом речь впереди.

В начале весны 1923 года министерство колоний сообщило, что моя просьба "возвращена" палестинской администрации на отзыв. Я поспешил вернуться в Иерусалим, и верховный комиссар пообещал мне ускоренно доложить Лондону о своем решении. Несколько месяцев я провел на берегу Мертвого моря и в Лондон возвратился только в августе. Но тут мне

---

* Достаточно сказать, что и Таллок писал Вернону (12 января 1923 г.): "Думаю, будет прискорбно и обидно, если и эта ответственная концессия будет отдана русскому еврею".

преподнесли ошеломляющую новость: английское правительство взвешивает возможность назначить комиссию специалистов для изучения проблемы в целом и окончательного решения – стоит ли добывать соль из Мертвого моря. Мне также сообщили, что комиссия вряд ли будет сформирована до конца года.

Так как я уже несколько привык к черепашьим темпам государственного аппарата и постоянным отсрочкам, то решил использовать время для поездки в Америку с целью поисков финансовой поддержки.

В Нью-Йорке меня представили нескольким лицам, весьма известным в кругах международной еврейской общественности, в том числе Феликсу Варбургу, главе банкирского дома "Коэн и Лейб" и одному из основателей "Джойнта" (связь с этим обществом возникла у меня в последние годы пребывания в Сибири). Варбург радушно меня принял и внимательно выслушал – подобно многим другим. Однако практических результатов мои хлопоты не принесли, поскольку я не привез с собой ничего определенного, кроме факта подачи прошения о концессии. Обещание Эркхарта принять участие в деле не могло произвести впечатления на финансовых магнатов Нью-Йорка – да и оно было дано на условии, что мне удастся получить концессию. Таким образом, я уехал в конце ноября 1923 года с пустыми руками. Из Лондона я возвратился в Эрец-Исраэль – и здесь меня ожидали новые осложнения.

Пришло время основанной мною маленькой транспортной фирме приступать к работе. Она была официально утверждена как палестинской администрацией, так и министерством колоний; однако Англо-Египетский банк изменил свою позицию и потребовал, чтобы я погасил долг в 3500 фунтов стерлингов целиком, в то время как имелось соглашение о выплате этих денег в рассрочку. Мои компаньоны отказались участвовать в ликвидации старых задолженностей, настаивая на том, чтобы их доля была использована только для расширения фирмы и ее оборотного капи-

тала. У меня же не было достаточных средств для уплаты долга.

Я решил отказаться от идеи транспортной фирмы, утешив себя надеждой, что вскоре добьюсь концессии и избавлюсь от необходимости заниматься побочным делом.

В том же ноябре 1923 года я встретил в Тель-Авиве, в доме у Розова, австрийского барона фон Оппенхеймера, бывшего в свое время близким другом графа Витте, блистательного министра финансов Николая II. Фон Оппенхеймер был чрезвычайно богат. В прошлом он помог Витте получить за границей крупные займы, в частности для нужд Петербурга. Он был также совладельцем многих русских нефтяных предприятий. Затем он стал первым австрийским послом в Советской России, приехав в Москву одновременно с Мирбахом, послом Германии, который вскоре после этого был убит. Теперь фон Оппенхеймер в сопровождении секретаря путешествовал по странам Ближнего Востока.

В коммерческом мире я редко встречал людей подобной культуры и ума. Он был высок ростом и красив, с прекрасными манерами, при этом закоренелый холостяк. Однажды он показал мне портреты своих предков и заметил, что его дед был крещеный еврей.

— От него, — сказал он, — я унаследовал сообразительность и энергию. Мой отец тоже человек энергичный, но ему далеко до деда. А моя мать — дочь австрийского генерала.

По поводу своей холостяцкой жизни он пошутил, что не женился из-за нехватки времени: был-де постоянно обременен делами. Розова и Эркхарта Оппенхеймер знал еще с петербургских времен.

Когда я изложил ему свой план, он заявил, что в принципе готов принять участие в компании. О подробностях же предложил договориться позднее, в Лондоне. В январе 1924 года мы встретились там, и он вручил мне письмо с обязательством такого со-

держания: если будет основана компания по эксплуатации Мертвого моря с капиталом 50 тысяч фунтов и если в ней будут участвовать люди, которых я ему назвал, он, со своей стороны, внесет 15 тысяч фунтов. Я понимал, что фон Оппенхеймер за прибылью не гонится. Его состояние в то время оценивали более чем в миллион фунтов стерлингов. Вклад в компанию по производству поташа был для него своего рода спортом. Он часто рассказывал мне, как с юношеских лет стремился идти нехожеными путями, и идея освоения Мертвого моря завладела его воображением.

Я часто забегал к нему в Лондоне в отель "Савой", где он снимал аппартаменты в "крыле миллионеров". Несколько раз я с ним советовался о трудностях, с которыми сталкивался, а также просил представить меня тому или иному из "королей Сити". Он же любил рассказывать мне истории из своей жизни в Лондоне и Петербурге в "добрые старые времена", в девяностых годах. Память у него была поразительная. Особенно много он рассказывал о Витте, его частной жизни, жене Матильде и многочисленных помощниках, которых всех помнил по именам. Он также хорошо знал и описывал Лондон конца прошлого века, говорил о Маркусе Сэмюэле – родоначальнике дома Берстедов: к нему Оппенхеймер был приближен еще до того, как Сэмюэль занялся нефтяными сделками и основал компанию "Шелл".

С фон Оппенхеймером я продолжал встречаться и переписываться до конца его жизни. В августе 1934 года, столкнувшись с большими трудностями в министерстве колоний, я написал ему, и он пригласил меня в свое имение близ Цнайма в Чехословакии. Чехословацкое правительство высоко ценило фон Оппенхеймера, не конфисковало его земли и даже не потребовало у него отказа от австрийского подданства. В его просторном доме была большая коллекция старинных произведений искусства; хозяйством заведовала сестра, жившая в доме со стариком-мужем –

отставным австрийским генералом. В момент моего приезда там находились и дети его брата, врача лондонского госпиталя (впоследствии унаследовавшие большую часть состояния фон Оппенхеймера). Я пробыл там недолго, но за эти дни прекрасно отдохнул.

В последний раз я виделся с фон Оппенхеймером в Каннах в 1932 году, незадолго до его смерти. Он рассказал, что постарался разместить свои капиталы по всему свету, так как считал, что Европой в конечном итоге завладеют коммунисты. А поскольку он верил, что Великобритания падет последней, то завещал сосредоточить большую часть своего состояния в Англии.

Министерство колоний наконец уведомило меня, что назначена комиссия, которой поручено заново рассмотреть, рентабельна ли добыча минералов из Мертвого моря. Председателем комиссии был сэр Генри Ламберт, главный королевский представитель. Четверо других – химик британского правительства сэр Роберт Робертсон, физик правительства, королевский юридический советник, а также Р. В. Вернон, глава палестинского отдела в министерстве колоний. Меня пригласили дать показания в комиссии, и я убедился, что уже одно это обстоятельство сильно меня возвысило во мнении коммерсантов. Найдич написал мне, что готов вложить в мой проект 5 тысяч фунтов из личных средств, и такое же предложение поступило от друга Найдича Настасяна, бывшего русского заводчика, проживавшего в Лондоне.

Мое выступление перед комиссией было назначено на 14 января 1924 года. Со мной прибыл юридический советник майор Натан*, который помогал мне во всех сложных юридических случаях и является моим наставником и мудрым советчиком по сегодняшний

---

* Позднее Натан стал членом парламента, вице-секретарем по военным делам в первом правительстве Эттли, а затем министром гражданской авиации и членом британского кабинета. Со временем он был возведен в лорды, получил титул лорда Мачертского и заседал в палате лордов.

день. Помню, что председательствующий начал с вопросов относительно климата в районе Мертвого моря. Перед ним лежали три отчета (декабрьский 1922 года, декабрьский 1923 года и январский 1924 года) с результатами моих замеров и опытов на Мертвом море, которые я подал с приложением теоретических расчетов и описанием проектируемого предприятия.

— Мы получили отчеты о ваших экспериментах, — сказал он, — однако не заглядывали в них и не знаем, годится ли ваш план или нет. Но скажите на милость, кто там согласится жить? Мы слышали, что люди белой расы не в состоянии вынести тамошнего климата.

Я отвечал, что сам я родился и вырос в чрезвычайно холодном климате, однако с 1921 года провожу большую часть времени на побережье Мертвого моря — и тем не менее жив и здоров! Затем объяснил, что климат в районе Мертвого моря не так страшен, как это представляется: большую часть суток дует приятный ветерок и умеряет жару. Реальная опасность — комары, переносчики малярии, однако мой план предусматривает превращение болот в испарительные бассейны, и когда это будет осуществлено, малярия исчезнет.

Сэр Роберт Робертсон, химик комиссии, задал мне ряд вопросов относительно методов фракционирования различных солей. "Экзамен" продолжался около двух часов, и, как мне казалось, я его благополучно выдержал. Такого же мнения был и майор Натан.

Однако мой оптимизм не оправдался. Через несколько месяцев мне было сообщено, что свои рекомендации министерству колоний комиссия подаст "через месяц, а может быть, и два". В этот момент я еще не знал, что комиссия заслушала показания и нескольких других кандидатов на получение концессии, в том числе инженера Бэккета и химика доктора Анни Хомер, представивших совместную просьбу еще в октябре 1918 года. А когда я вернулся в Иерусалим и попытался выяснить мнение верховного комиссара, то к своему удивлению убедился, что он не придает комиссии решающего значения.

В середине мая 1924 года я вернулся в Лондон с большими надеждами. Я узнал, что в Англии находится и сэр Герберт Сэмюэль – его пребывание на посту верховного комиссара подходит к концу, и он выехал в отпуск. Я решил попросить его об аудиенции. Я был убежден, что он является сторонником моего стремления создать в стране химическую промышленность, и надеялся что-нибудь от него услышать о продвижении моего дела.

Я написал ему и получил приглашение посетить его в Форчестере. 14 июля я направился к нему. Он сказал, что читал доклад комиссии, но не может сообщить мне его содержания. Однако, насколько ему известно, решение будет принято правительством в течение двух недель. В этот момент нас прервал телефонный звонок: из министерства колоний сообщили, что король собирается на международную выставку в Уэмбли. Не может ли сэр Герберт туда приехать, чтобы встретить короля от имени правительства? Тем более, что король хочет внимательно осмотреть палестинский павильон. Я был вынужден, таким образом, откланяться, не добившись ничего определенного.

Через десять дней я посетил Вернона в министерстве колоний и упомянул о своей встрече с Сэмюэлем. По-видимому, мои слова были восприняты в том смысле, будто я полагаю, что верховный комиссар является моим сторонником. Вернон сказал:

– А разве он не изложил вам свое предложение по поводу концессии?

– Нет. Сэр Герберт ничего об этом не говорил.

– Очень странно, – заметил Вернон.

Почему странно? А потому, объяснил мне Вернон, что сэр Герберт Сэмюэль предложил не давать пока никаких концессий, а провести открытый конкурс! Ибо, по мнению верховного комиссара, этот вопрос имеет чрезвычайно большое значение.

Это был тяжелый удар. Выйдя из кабинета Вернона, я почувствовал себя совершенно обескураженным. Неужели я должен начинать все сначала, должен зано-

во просить и ходатайствовать? И это несмотря на то, что я послушался совета министерства колоний и согласился работать в компании с Таллоком?

Я пошел к доктору Вейцману, которому время от времени сообщал, как продвигаются переговоры, и рассказал о случившемся – но он уже до меня об этом знал и тоже был сердит на Сэмюэля за внезапное изменение позиции. Он посоветовал мне написать верховному комиссару письмо с протестом. Такой шаг, сказал он, ничего уже не испортит и я должен его сделать, чтобы сохранить достоинство.

Этот совет вполне соответствовал моему настроению. Целых четыре года я бился, не жалея сил и расходов, и вот теперь должен начинать все заново, и все это по милости Сэмюэля. Однако письмо надо было составить в продуманных выражениях, и поэтому я отправился к майору Натану. Я ему показал свой черновик и передал мнение Вейцмана. После того, как Натан отредактировал письмо, я снова отнес его Вейцману. Он сказал:

– Это именно то, что требуется.

Я писал:

"Отель "Рассель"
Лондон
25 июля 1924 года

Сэр,

С изумлением узнал я от д-ра Вейцмана, что за дни, прошедшие с тех пор, как я имел удовольствие беседовать с Вами по поводу проекта освоения природных богатств Мертвого моря, в Вашем подходе к этому вопросу произошла радикальная перемена.

Мне сказали, что по Вашему мнению этот план следует провести в жизнь посредством конкурса или заказа предложений. Мне известно, что такова была Ваша позиция на первоначальном этапе наших бесед по этому вопросу, но она не соответствует Вашему подходу, как я его понял из сказанного во

время последней беседы. И еще: с согласия правительства я связал себя предварительным соглашением с майором Таллоком, исходя из уверенности, что вопрос о предложениях и конкурсах снят с повестки дня и что теперь все считают, что когда придет время оформления коммерческих отношений, это будет сделано с нашей группой.

По моему скромному разумению, мысль о конкурсах и заказных предложениях потеряла актуальность в ту самую минуту, когда пресса сообщила, что правительство назначило комиссию для проверки методов эксплуатации минеральных сокровищ Мертвого моря, поскольку это сообщение и было фактическим приглашением всему миру вносить проекты и планы. Однако, мне кажется, кроме меня и майора Таллока, никто не откликнулся. И я повторяю и подчеркиваю, что тем самым всем заинтересованным была дана возможность обратиться к правительству в течение многих месяцев, так что цель, которую Вы преследуете – дать возможность каждому солидному подрядчику предложить свои услуги, – уже достигнута.

И кроме того, я вынужден подчеркнуть, что после того, как в течение нескольких лет я один расходовал много времени и денежных средств на проведение опытов и предъявил комиссии их результаты, дополненные многими другими сведениями, представленными в научной форме, и мой проект, насколько я знаю, в общем положительно оценен всей комиссией, – после всего этого будет явной несправедливостью, если плодами моего труда воспользуются другие люди, которым была дана та же возможность разработать план и выступить перед комиссией, но которые игнорировали все это.

Я, таким образом, полагаю, что, придя к мнению, переданному мне, Вы не учитывали все те обстоятельства, которые я перечислил выше. И позвольте добавить, что я все время действовал, поддерживая постоянный контакт с Вами, с Вашими советниками

в Палестине и с министерством колоний в Лондоне.

Считаю необходимым поставить Вас в известность, что копию этого письма я посылаю в министерство колоний.

Ваш покорный слуга
М.Новомейский".

Через несколько дней я получил следующий ответ.

"Даунинг-стрит
Министерство колоний
28 июля 1924 г.

Дорогой г-н Новомейский,

Я получил Ваше письмо от 25 июля, а также обсудил это дело с работниками министерства колоний. В должный срок Вы получите их ответ по поводу концессии на эксплуатацию минералов Мертвого моря. В связи с Вашим письмом лишь замечу, что не произошло никаких изменений в моей точке зрения по этому вопросу и во время нашей последней беседы я вовсе не собирался говорить Вам, будто выступаю за выдачу концессии без широкой предварительной огласки, потому что именно так мы и предполагаем поступить.

Примите мое глубокое уважение к Вам
Герберт Сэмюэль".

Через некоторое время я получил от своего советника в Эрец-Исраэль Гарри Сакера выговор: "Мне стало известно в частном порядке, что Ваше письмо верховному комиссару вызвало большое возмущение в кругу его приближенных. Оно касается как содержания письма, так и формы изложения. Мне кажется, Вам следует это учесть на будущее".

По дороге домой я встретил на корабле сэра Герберта Сэмюэля. Я напомнил ему о деле и повторил

свой протест – однако получил логичный ответ и понял верховного комиссара. Сэмюэль был либералом, стало быть – принципиальным противником любой монополии и концессии. В свое время он сопротивлялся и выдаче концессии на электрификацию Рутенбергу, но уступил воле тогдашнего секретаря по делам колоний (Уинстона Черчилля). Я понял его затруднения: что скажет публика и как оправдается он перед своей совестью, если снова поддержит выдачу монополии на территории, которой управляет? Тем более, что и на сей раз концессия достанется русскому еврею...

Лишь теперь я сообразил, почему он не захотел взять на себя ответственность за решение по поводу фирмы "Торговля и перевозки", хотя согласно мандату он был облечен полномочиями решать подобные вопросы по собственному усмотрению. И к своему огорчению я убедился, что он был прав. Когда выдача концессии Рутенбергу получила огласку, стрелы критики обратились против верховного комиссара – еврея. Во всяком случае, мои доводы иссякли, и, хотя позиция Сэмюэля была для меня бедой, умом я его понимал и оправдывал.

Теперь мне оставалось только терпеливо ждать. Первый этап моей борьбы за концессию был закончен, перечеркнут и списан в архив. После четырех лет хлопот и усилий надо было начинать все сначала и дожидаться, когда в газетах появится объявление о гласном конкурсе, открытом для всех. Незадолго до моего отъезда из Лондона Вернон сказал Натану, что решение о конкурсе уже принято и что его проведение – лишь вопрос времени. О конкурсе будет одновременно объявлено в лондонской и иерусалимской прессе.

Однако я не мог пассивно выжидать. Я пришел к выводу, что должен подготовиться к конкурсу как можно основательнее. Я надумал основать компанию, чтобы выступить не только от собственного имени, но и представителем группы людей и учреждений, готовых участвовать в моем предприятии после

получения концессии. Кроме того, я решил пополнить технические данные, необходимые для запуска предприятия, включив в них всю собранную мною информацию о технологических методах, используемых на производстве поташа в Германии.

Дополнительным обстоятельством, приведшим меня к мысли основать компанию, было оскудение моих денежных ресурсов – а ведь не исключено, что мне опять предстояла затяжная борьба. В октябре я запросил письмом верховного комиссара, когда будут опубликованы условия конкурса, упомянутого в письме министерства колоний от 28 июля. Из ответа я понял, что дело задерживают не местные власти, а лондонские чиновники.

С удвоенной энергией взялся я за подготовительные работы. Большую часть сентября и октября 1924 года я провел на побережье Мертвого моря. Я привез туда землемеров, составивших карты и расчеты для испарительных бассейнов площадью в несколько квадратных километров. Из Германии я пригласил доктора Бобтельского (в дальнейшем профессор биохимии в Еврейском университете), имевшего опыт работы на предприятиях по производству поташа в Штасфурте. Еврейский университет в Иерусалиме предоставил нам для исследований свои лаборатории.

Я провел также большие изыскательские работы в окрестностях Мертвого моря совместно с Блейком, главным геологом палестинской администрации. И, наконец, я продолжал налаживать дружеские связи с местными арабами. Хасбун представил меня нескольким влиятельным лицам. Один из них – Муса Казым-паша, сын председателя арабского исполкома, согласился принять пост директора проектируемой мною компании.

Я сообщил эту новость верховному комиссару, и она весьма обрадовала его. Сэмюэль всячески стремился развивать дружбу и сотрудничество между евреями и арабами в Эрец-Исраэль. И в этом я был полностью с ним согласен.

Глава третья

БОРЬБА С АМЕРИКАНСКИМИ ТРЕСТАМИ

Препоны, на которые я до сих пор наталкивался, вытекали из побочных обстоятельств и навязывались принципиальными и идеологическими соображениями. Я был уверен в твердости моей позиции и не сомневался, что рано или поздно мое преимущество будет признано. Я знал, что не существует проекта, который мог бы конкурировать с моим в смысле опыта и технической продуманности. Однако в ноябре 1924 года, приехав в Лондон и встретившись там со своим консультантом майором Натаном, я услыхал от него, что эксплуатацией Мертвого моря заинтересовались две крупные американские компании – "Дженерал Моторс" и "Дюпон де Нимур", за которыми стоит "Стандарт Ойл" из Нью-Джерси. Эта группа уже прислала в Лондон своих представителей, и тут их наставляет и направляет сэр Иехошуа Стэмп собственной персоной. Правда, пока поташ не упоминается, а речь идет только о броме, необходимом для облагораживания автомобильного топлива. Компания "Дженерал Моторс" хочет закрепить за собой источник этого сырья. По оценке майора Брока, кроме 2 миллиардов тонн хлористого калия, в Мертвом море содержится также 980 миллионов тонн бромистого магнезия, который и решили "освоить" могущественные американские тресты.

Эта новость оглушила меня. Хотят того мои соперники или нет, но бром они сумеют получить, только производя поташ. А если правительство Великобритании, ослепленное их силой и влиянием, отдаст им концессию, то конец всем моим проектам и мечтам. Я попросил Натана проверить достоверность этих сведений и особенно – поднять вопрос о сотрудничестве между

мною (совместно с Таллоком) и американскими компаниями, если они в самом деле заинтересованы только в броме. Через несколько дней Натан показал мне полуофициальный документ следующего содержания:

"Сэр Иехошуа Стэмп принес нам вчера предложение американской фирмы "Дженерал Моторс" касательно Мертвого моря. Я переговорил с ним о возможности обращения "Дженерал Моторс" к майору Таллоку и г-ну Новомейскому с предложением сотрудничества или чего-то иного в этом духе. Он сказал, что не склонен к подобному решению. "Дженерал Моторс" действует совместно с "Дюпон де Нимур" и "Ноблз Индастриз", и он считает, что их финансовая мощь такова, что им выгодней представить собственные проекты. Не утверждаю, что мы никогда не сумеем достигнуть какой-нибудь формы сотрудничества, но Вы должны понять, что мы никоим образом не можем навязать это предложение сэру Иехошуа Стэмпу".

Таков был печальный факт: сэр Иехошуа Стэмп поддерживал новых кандидатов. А он был не только широко известным экономистом, но и влиятельнейшей фигурой в деловом мире. Во время мировой войны он был советником министра финансов во всем, что касалось налоговой политики, и его приглашали на заседания кабинета. Этот пост помог ему завязать тесные связи со всеми промышленными предприятиями Великобритании, и в 1919 году, когда закончилась его государственная служба, он стал одним из директоров фирмы "Ноблз Индастриз", которая с тех пор неуклонно росла и расширялась, достигнув положения четвертой крупнейшей химической фирмы Англии. Кроме этого, Стэмп был председателем совета директоров железнодорожной компании "Лондон, Мидлэнд энд Скотлэнд", крупнейшей среди английских железнодорожных компаний.

И вдруг 11 ноября ко мне в отель пришел МакКэй, представитель "Дженерал Моторс", а с ним – доктор Вейцман, который посредничал между нами. МакКэй

подчеркнул, что представляемые им компании заинтересованы только в броме и уже послали в Палестину специалистов для технических исследований на Мертвом море. Он добавил, что получил указание встретиться со мною – и действительно принес рекомендательное письмо от Бернарда Флекснера из Нью-Йорка. Если отзывы специалистов окажутся положительными, сказал МакКэй, "Дженерал Моторс" готова вступить в переговоры с моей группой по поводу добычи брома.

Я ответил, что буду рад встретиться с ним и обсудить дело. События, по-видимому, развивались благоприятно. Через несколько дней я зашел в министерство колоний и сообщил Вернону суть вышеупомянутого разговора. Однако он сказал, что сэр Иехошуа Стэмп настаивает, чтобы право добычи минералов на Мертвом море было передано исключительно в руки американцев. Тем не менее возможно, добавил Вернон, что американцы согласятся на компромисс с нашей группой, вопреки рекомендации Стэмпа.

Меня это не слишком ободрило. Но в это время пришло письмо от Флекснера, который сообщал, что встретился с председателем правления "Дженерал Моторс": он крайне заинтересован в броме Мертвого моря, но, услыхав от Флекснера, что я уже занимаюсь добычей поташа, заявил, что вполне готов со мной сотрудничать. Флекснер возглавлял в тот период "Экономическое общество Эрец-Исраэль", созданное группой деловых людей из числа американских сионистов, в том числе и Луи Брандесом, членом Верховного суда Соединенных Штатов. Поэтому, решив наложить руку на наш бром, "Дженерал Моторс" все-таки посчиталась с мнением Флекснера.

Письмо Флекснера несколько успокоило меня, но я не забыл сказанного Верноном о непреклонной позиции сэра Иехошуа Стэмпа. И действительно, мои опасения оправдались. В конце ноября я получил от Сакера следующее письмо:

"Иерусалим, 23 ноября 1924 года

Дорогой г-н Новомейский,

На этой неделе меня дважды посетил человек по имени Фишер, американец, присланный сюда нью-йоркской фирмой "Этил Газолин Корпорейшен". Этой фирмой совместно владеют "Стандарт Ойл" из Нью-Джерси и "Дженерал Моторс", которая находится в подчинении у фирмы "Дюпон де Нимур" — крупнейшего в Америке производителя химических товаров и взрывчатых веществ. Фишера направили сюда, чтобы выяснить, имеются ли тут залежи брома. Его компания установила, что добавление брома в бензин улучшает работу двигателя. В связи с этим они нуждаются теперь в броме в количестве до 400 тысяч фунтов в год. Через несколько лет эта потребность возрастет до миллиона фунтов в год, а так·как имеющиеся источники ограничены, фирма опасается, что цены на бром поднимутся. Поэтому они ищут новые источники добычи. Фишер едет на Мертвое море. Он отправится также в Акабский залив и Тунис. Он рассказал, что во время войны французы пытались добывать бром в Тунисе. Другие люди ведут по поручению фирмы изыскания в Мексике. Фишер уже встретился с Блейком и собирается вместе с ним съездить на Мертвое море. Там он намеревается взять пробы с разных глубин, а также подыскать подходящие места для строительства заводов. Он сказал мне, что его компания будет рада работать вместе с нами и приобрести у нас субконцессию. Они готовы получать у нас остаточный раствор, после того как мы извлечем из него поташ, для последующего производства из этого отхода брома. Готовы они и на соглашение, в соответствии с которым мы сами будем продавать им бром. По его словам, компания согласна построить предприятие стоимостью в один миллион долларов. Во всяком случае, из позиции его компании ясно, что деньги для них роли не играют. Он также сказал, что их решение остановиться на Мертвом море

или в каком-то другом месте зависит от рентабельности производственных затрат и возможных сроков начала работ. Все это представляется мне чрезвычайно важным. Я убедительно просил Фишера с Вами встретиться, чтобы обсудить вопрос.

Ваш Гарри Сакер".

Между словами американцев в Нью-Йорке и делами Стэмпа в Лондоне имелось разительное противоречие. Вначале я решил, что это трюк, имеющий целью ввести нас в заблуждение. Главное наступление, говорил я себе, ведет для них Стэмп, и они полагаются на его связи, которые обеспечат им концессию без необходимости связываться с такими людьми, как Новомейский или Таллок. Однако предосторожности ради они держат в своем портфеле и "план номер 2", предусматривающий переговоры с нами на случай, если маневры Стэмпа не увенчаются успехом.

4 октября я пошел к доктору Вейцману, чтобы обсудить с ним создавшееся положение. И на сей раз он выразил готовность помочь мне и сказал, что попытается переговорить с Эймери, тогдашним министром по делам колоний. От Вейцмана я направился к Джеймсу Ротшильду – посоветоваться и с ним. С Ротшильдом я познакомился три года тому назад, во время его приезда в Эрец-Исраэль. Хотя его отец – знаменитый филантроп – был французом, Джеймс Ротшильд являлся британским подданным, жителем Лондона и позднее (с 1929 по 1945) депутатом палаты общин. В Первую мировую войну он служил в армии в чине майора и в 1918 году был членом комиссии, посланной английским правительством в Эрец-Исраэль для оказания помощи еврейскому населению. Во главе этой комиссии стоял доктор Вейцман, а ее третьим участником стал майор Ормсби Гор, со временем назначенный секретарем по делам колоний. Выше я уже упоминал о помощи, которую оказал мне Джеймс Ротшильд, вложив 50 тысяч фунтов

стерлингов в фирму "Торговля и перевозки", которую я собирался основать на Мертвом море.

Когда я рассказал ему о новых трудностях, возникших из-за вмешательства Стэмпа, он посоветовал обратиться непосредственно к сэру Альфреду Монду и даже вызвался написать ему. Через четыре дня я снова отправился в министерство колоний, и на сей раз Вернон объявил мне уже без всяких оговорок, что правительство решило передать концессию на бром американцам. Когда я выразил свое неудовольствие по этому поводу, Вернон сказал: "Не забывайте, однако, о ком идет речь. Вам разве неизвестно, что капиталы "Дженерал Моторс", "Дюпон де Нимур" и "Стандарт Ойл" превышают запасы Британского государственного банка? И не забудьте, кто такой сэр Иехошуа Стэмп – ведь он представляет в Англии компанию Нобеля. Правительство считает его одним из самых выдающихся англичан. Мы не можем упустить такую возможность. Если нам удастся привлечь их в Палестину, это будет чрезвычайно важным делом".

Я был другого мнения – если только американцы не согласятся ограничиться второстепенной ролью в моем предприятии по добыче поташа. Я не сомневался, что польза Страны и сионизма требует, чтобы главная концессия была передана проектируемой мною фирме, а не ее соперникам, и что добыча брома должна рассматриваться как дело второстепенное. "Возможность", о которой говорил Вернон, я расценил как удобный способ продать богатства Мертвого моря иностранным капиталистам, заинтересованным единственно в извлечении прибылей.

С сэром Альфредом Мондом я познакомился еще до того – зимою 1920/21 года, когда он посетил Эрец-Исраэль вместе с доктором Вейцманом. Он был министром здравоохранения в правительстве Ллойд-Джорджа. Во время нашей встречи я объяснил ему, насколько важную цель преследует мой проект, и полагал, что и он, и доктор Вейцман, присутствовавший при разговоре, вполне оценили его

значение. Затем я встретился с Мондом в Лондоне (летом и осенью 1921 года), но тогда наша беседа касалась общих вопросов.

Я знал, что по возвращении в Лондон Монд принял деятельное участие в организации "Экономического совета по делам Эрец-Исраэль", призванного содействовать развитию страны. В совете председательствовал сэр Роберт Вилли Коэн, член правления компании "Шелл" (вместе с Джеймсом Ротшильдом), активно участвовавший в еврейской общественной жизни в Англии. Монд всегда проявлял большой интерес к событиям в Эрец-Исраэль и был верным защитником евреев от всех гонителей.

Последовав совету Ротшильда, я написал Монду, и через два дня он меня принял. Он понял, что дело не терпит отлагательств, тут же при мне позвонил Натану и попросил составить для него подробное изложение хода переговоров, которые я вел с министерством колоний и верховным комиссаром. Получив отчет, Монд написал (16 декабря) пространное письмо Иехошуа Стэмпу:

"Лондон, 16 декабря 1924 года

Дорогой сэр Иехошуа,

Меня попросили обратиться к Вам по вопросу об освоении минеральных богатств Мертвого моря. Я встретился с г-ном Новомейским, с которым знаком несколько лет. Могу засвидетельствовать, что он является очень талантливым техническим специалистом с большим опытом. Я также разговаривал по этому делу с д-ром Вейцманом, председателем всемирной Сионистской организации, и мне сообщили, что г-н Джеймс Ротшильд тоже интересуется данной проблемой.

Вам, наверное, известно, что г-н Новомейский посвятил этому делу несколько лет, ведя экспериментальную добычу различных веществ, содержащихся в Мертвом море, и сумел обеспечить капитал, необходимый для коммерческой эксплуатации. В свое время

верховный комиссар обнадежил его в отношении концессии.

Как мне стало известно, Вы обратились в министерство колоний от имени нескольких американских фирм с просьбой выдать концессию на добычу брома из Мертвого моря.

На мой взгляд, извлечение одного только брома, без одновременной добычи поташа будет дорогим и расточительным. Будучи председателем "Экономического совета по делам Эрец-Исраэль", созданного по просьбе палестинской администрации для рассмотрения и консультирования по всем экономическим вопросам, касающимся этой страны, считаю необходимым использовать все свое влияние, дабы не допустить принятия подобного проекта.

Вы, конечно, понимаете, что вопрос этот важен не только в промышленном смысле. Мертвое море – единственное природное богатство Эрец-Исраэль, и наши коллеги, стремящиеся к созданию в этой стране национального очага для евреев, не могут безучастно наблюдать за передачей этого богатства под контроль американской группы, не заинтересованной в экономическом развитии страны. Признанное мандатом Еврейское Агентство – та же Сионистская организация, и нет никаких сомнений, что придется считаться с его мнением и получить его согласие. Вам должно быть известно, что в случаях, подобных этому, за Сионистской организацией закреплено право перенести вопрос в мандатную комиссию при Лиге Наций.

При таких обстоятельствах здравый смысл требует поисков какого-то урегулирования этого вопроса между двумя заинтересованными сторонами. Убежден, что группа г-на Новомейского с радостью пойдет на сотрудничество в той форме, которая будет отвечать интересам представляемых Вами крупных компаний, и полагаю, что ничто не воспрепятствует налаживанию между ними добрых отношений.

Д-р Вейцман, представляющий Сионистскую организацию, не имел чести знать Вас лично, но будет рад

встретиться с Вами, чтобы обсудить этот вопрос. Буду Вам благодарен, если Вы сумеете его пригласить. Я бы предложил, чтобы и мы с Вами встретились и обсудили это дело, если бы в начале января я не должен был выехать в Египет и Палестину.

С глубочайшим почтением
Альфред Монд".

Что ответил Стэмп на письмо Монда, я узнал значительно позже. Однако 2 января 1925 года я попросил Натана написать Монду – накануне его поездки на восток – и обратить его внимание на то, что сообщил мне Сакер. В этом письме Натан подчеркнул следующие пункты: любая концессия, выданная американцам, будет означать монополию. Что касается разговоров о сотрудничестве с моей группой, то похоже, что все их намерения сводятся к желанию меня утихомирить, пока концессия не будет закреплена за американцами. Не ограничившись этим, Натан добавил, что глава американской группы предложил соглашение между сторонами к взаимной выгоде тех и других. Американцы сообщили, что обратятся с тем же предложением к доктору Вейцману, а также к господину Новомейскому в личном порядке, а их представитель в Эрец-Исраэль разговаривал об этом с Сакером. Из всего этого Натан делал вывод, что "на деле американцы, как видно, готовы придти к соглашению, однако... Стэмп и группа Нобеля хотят заполучить в свои руки концессию на бром".

Три дня спустя (5 января) Натан сообщил мне, что Монд получил письмо от Джеспера Крейна, английского представителя компании "Дюпон де Нимур", в котором говорилось:

"Мы охотно будем сотрудничать с другими заинтересованными сторонами, и дело будет улажено таким образом, чтобы все смогли действовать сообща и в полном согласии".

Это письмо было получено в отсутствии сэра Аль-

фреда Монда. Ответ составил на следующий день его секретарь Конуэй Девис. Он написал, что у г-на Новомейского нет никаких сведений о соглашении между сторонами, что сэр Альфред будет рад, если состоится встреча с господином Новомейским, и рекомендовал связаться с господином Натаном, действующим от имени господина Новомейского.

Через некоторое время я получил и копию ответа Стэмпа, который он дал Монду три недели тому назад. Стэмп выражал сожаление по поводу того, что не сможет повидать Монда, так как хотел бы "рассеять" некоторые его "недоумения". С другой стороны, Стэмп отклонил предложение встретиться с доктором Вейцманом, потому что, по его мнению, "подобная встреча не может принести в данное время никакой пользы"*.

Далее в письме Стэмпа говорилось: "Верно, что члены группы Нобеля побудили меня оказать нажим на министерство колоний, однако практическое осуществление договорных обязательств находится в руках наших друзей из компании "Дженерал Моторс", а посему мы ничего не сумеем предпринять без полного сотрудничества с ними. Г-н МакКэй и г-н Кеттеринг прибыли сюда по этому делу. Однако затем они оба вернулись в Штаты; их представитель г-н Кеннингтон – вот кто занимается сейчас переговорами с группой Новомейского – правда, не лично с Новомейским, а с майором Гленом, действующим по поручению Новомейского и Таллока. Они выясняют пункты, связанные с совместной работой обеих групп по экономической добыче брома".

Стэмп писал, что проект, который предлагает его группа, "вовсе не дорог и не расточителен". Весьма возможно, они будут готовы нанять субподрядчиков по добыче поташа. У них нет принципиальных возра-

---

* Монд, как видно, уклонялся от встречи со Стэмпом, а Стэмп уклонялся от встречи с Вейцманом.

жений и против того, чтобы согласиться на роль субподрядчиков по добыче брома, если только будет уверенность, что "статус и финансовое положение людей, которые возглавят компанию, окажутся удовлетворительными". Учитывались и стремления Сионистской организации. МакКэй уже вступил в контакт с доктором Вейцманом и ознакомился с его взглядами. "Приток британского и американского капитала не может повредить целям Сионистской организации, – считал Стэмп. – С экономической же точки зрения Эрец-Исраэль получит большое преимущество, если там закрепятся такие могущественные компании". Его друзья, писал Стэмп, могут совершенно отказаться от своего проекта в Эрец-Исраэль и организовать производство брома за пределами Британской империи. Но разве такой оборот дела желателен? Стэмп завершал свое письмо замечанием, что, возможно, будет смысл встретиться с доктором Вейцманом "для обсуждения высших национальных и политических соображений", после того как беседы между Гленом, Кеннингтоном и другими участниками примут более реальный характер.

Из этого письма я, к своему удивлению, узнал о новом лице, участвующем в переговорах: майоре Глене, депутате парламента (а со временем – и лорде). Не так давно я познакомился с ним, меня представил ему майор Таллок. Поэтому я невольно заподозрил, что Глена привлекли к переговорам с ведома Таллока. И, действительно, ответ Крейна Конуэю Дэвису целиком это подтвердил. В частности, Крейн писал:

"...Майор Глен и майор Таллок, связанные с г-ном Новомейским, беседовали со мной и с г-ном Кеннингтоном из компании "Дженерал Моторс", и, по-моему, мы пришли к взаимопониманию. После этой беседы майор Глен обменялся письмами с г-ном Кеннингтоном".

Крейн добавлял, что не знает подробностей этой переписки, однако не думает, чтобы она радикально изменила положение, известное сэру Альфреду Монду. Он, Крейн, будет рад повидаться с Новомейским, но вряд ли сможет что-нибудь добавить для прояснения вопроса. И тут же он предлагал, чтобы я сначала встретился с Кеннингтоном, ввиду того что он, Крейн, будет отсутствовать в городе неделю.

Теперь я вспомнил: представляя мне Глена, Таллок заметил, что Глен "его хороший приятель" и сможет "принести нам большую пользу", так как он не только депутат парламента, но и двоюродный брат Ормсби Гора, вице-секретаря по делам колоний. Однако тогда мне и в голову не приходило, что эта "большая польза" будет заключаться в беседах от моего имени, но без моего ведома с представителями "Дженерал Моторс".

Я позвонил Таллоку, и он тут же ко мне пришел. Я недвусмысленно выразил ему свое мнение о его поступках. Затем мы вместе отправились в контору Натана и там обменялись формальными письмами, в которых Таллок признавал, что действовал некорректно и что у него, а тем более у Глена нет никакого права вести переговоры от моего имени. На следующий день Таллок сказал мне, что Глен хочет со мною встретиться. Придя ко мне, Глен подробно пересказал свою беседу с Кеннингтоном, причем меня поразила одна деталь: оказалось, что Крейн виделся и с Мондом. Значит, Монд не нашел времени для встречи со Стэмпом – потому что через две недели после нашей встречи отправлялся в Египет и в Эрец-Исраэль, – однако время для встречи с американцем Крейном у него нашлось. Более того: по словам Глена, Монд заявил Крейну, что готов отказаться от мысли препятствовать американцам в их стремлении заполучить концессию, и даже подтвердил это в письменном виде. Если Глен говорил правду, Монд предал не только меня, но и интересы Эрец-Исраэль! Но мне не хотелось в это верить. В тот же день я написал Глену:

”Лондон, 21 января 1925 года

Уважаемый майор Глен,

Вы мне сегодня сообщили, что Кеннингтон, представитель американской компании, во время беседы с Вами сказал, что имел встречу с сэром Альфредом Мондом и что затем сэр Альфред написал ему, будто полученная от меня информация оказалась ошибочной и что ввиду последних сведений, которые к нему поступили, он откажется от сопротивления американскому проекту. Это Ваши слова, и Вы, вероятно, помните, что они показались мне настолько важными и настолько поразительными, что я попросил Вас повторить их, и Вы это сделали. Я также сказал Вам, что не верю в правдивость переданной Вам информации и постараюсь ее проверить.

Этим я и занялся после нашего разговора. Как выяснилось, д-р Крейн из компании ”Дюпон” встретился с сэром Альфредом 2 января. На следующее утро, иначе говоря, в субботу, сэр Альфред имел встречу с майором Натаном, его юридическим советником. Сэр Альфред передал Натану некоторые подробности своей беседы с д-ром Крейном.

Следует отметить, что после того, как д-р Крейн встретился с сэром Альфредом, он послал ему еще и письмо, в котором сообщал о своей готовности ”сотрудничать с другими заинтересованными сторонами”.

Невозможно себе представить, чтобы д-р Крейн написал это, если бы сэр Альфред Монд заявил, что отказывается от сопротивления американскому проекту.

Нет никаких следов беседы между сэром Альфредом и Кеннингтоном или другими представителями его компании после вышеупомянутой встречи сэра Альфреда с д-ром Крейном, которая состоялась в пятницу, или письма к ним от сэра Альфреда. А в воскресенье сэр Альфред выехал за границу.

Создается впечатление, что имело место решительное недоразумение.

С величайшим почтением
М. Новомейский”.

Еще 1 января я телеграфировал Сакеру: " Пойдите к верховному комиссару, поддержите наши доводы, сообщите ему, что американцы присоединятся к нам, если только правительство не подбодрит их выдачей отдельной концессии". А 4 января Сакер прислал мне обескураживающий ответ:

"Иерусалим, 4 января 1925 года

В соответствии с Вашим пожеланием я пошел к верховному комиссару.

Верховный комиссар сказал мне, что неоднократно писал министерству колоний по поводу концессии... Он сказал, что наличие поташа в Мертвом море общеизвестно, но только предприниматели, а не комиссия, способны определить, выгодна ли коммерческая эксплуатация. Правительство должно быть благодарно людям, которые согласны расходовать личные средства, чтобы установить, рентабельна ли коммерческая эксплуатация. Однако он остается при своем мнении, что концессия может быть выдана только после гласного конкурса. Верховный комиссар не принял Вашего утверждения, что Вы будете не в состоянии использовать концессию на поташ, если другую концессию получат американцы. Он считает, что Мертвого моря хватит на оба предприятия. Верховный комиссар согласился с моим мнением о желательности нашего объединения с американцами. Похоже на то, что верховный комиссар опасается отсрочки практического осуществления американской концессии, если она окажется связанной с Вашей".

Тем временем завершилась подготовка, необходимая для регистрации "Палестинского рудного синдиката" – компании, которую я собирался основать для проведения в жизнь моего плана. Однако в силу новых обстоятельств я решил с этим повременить. 8 января я изложил в письме Сакеру свои мотивы.

14 января у меня состоялась чрезвычайно важная

встреча в министерстве колоний. Я пришел туда вместе с Натаном. В беседе, помимо Вернона, начальника палестинского отдела, участвовал сэр Джон Шекборо, вице-секретарь по делам колоний, который всегда – и в тот раз и в дальнейшем – проявлял корректное отношение к моим интересам и в тяжелые минуты помогал мне добрым советом. Однажды доктор Вейцман спросил у меня, почему Шекборо мне так симпатизирует, и, помнится, я ответил: "Я думаю, он убедился, что я не прибегаю ни к каким уловкам, а действую прямо и открыто". Но Вернона, который до тех пор относился к моему проекту одобрительно, теперь словно подменили – он пылко отстаивал позицию сэра Иехошуа Стэмпа и американцев. В тот день он явно вел себя недружелюбно.

– Вы просили монопольной концессии на эксплуатацию Мертвого моря, – говорил он, – а американцы хотят только арендовать участок и извлекать бром.

Я ответил, что в 1921 году, когда впервые обратился к палестинской администрации, я тоже ничего другого не просил, как только аренды земельного участка для добычи минеральных солей из Мертвого моря, но мне ответили, что "другие заинтересованные лица уже предприняли шаги в этом направлении". Именно этот ответ, сказал я, что "другие заинтересованные лица уже предприняли шаги", должен быть теперь дан американцам.

– Вы просили поташ, а не бром, – сказал Вернон, – американцы же просят бром.

Я ответил, что это не совсем точно: я многократно повторял, что хочу добывать и бром, доказательством чему являются памятные записки, которые я подавал министерству колоний в 1924 году.

– Американская группа, – сказал Вернон, – располагает колоссальными финансовыми возможностями. Она может построить крупное предприятие.

Я отвечал, что вопрос заключается не в том, кто из нас богаче, а в том, есть ли у меня деньги на осуществление проекта, который я предложил и кото-

рый одобрен правительственной комиссией. А именно этим никто еще ни разу не интересовался. Если же меня спросят, то, надеюсь, я смогу предоставить правительству достаточные гарантии.

Ни в одном из своих обращений я не подымал вопроса о "монопольных правах". Напротив, именно министерство колоний и палестинская администрация пришли к выводу, что концессия должна быть монопольной, поскольку проект потребует больших затрат на строительство путей сообщения, а правительство не намерено нести их.

Я был рад встрече с Шекборо, так как при этом мне представилась возможность конкретно изложить весь проект. Несомненно, мне очень помогли Монд, Вейцман и Ротшильд – особенно Монд. Однако, поставленный перед необходимостью отвечать на провокационные вопросы Вернона, я был вынужден тщательно следить за безукоризненной точностью каждого пункта своих аргументов. Поэтому я придавал этой встрече особое значение и попросил Натана резюмировать ее в формальном письме на имя Шекборо в виде памятной записки, разъясняющей и фиксирующей мою позицию.

"От Натана министерству колоний
23 января 1925 года

по вопросу о минеральных богатствах Мертвого моря.

Мы хотели бы сослаться на переписку, состоявшуюся у нас с Вами в связи с просьбой нашего доверителя г-на Новомейского о выдаче концессии на эксплуатацию минералов вод Мертвого моря. Мы особенно просим обратить внимание на наше письмо от 19 декабря 1922 года и различные памятные записки, поданные Вашему министерству.

В этом письме мы обращаемся к Вам не только от имени и по указанию г-на Новомейского, но и с

ведома и согласия майора Таллока, связанного по этому делу с нашим доверителем, как Вам это известно уже давно. Майор Таллок сказал нам также, что вошел в компанию с Новомейским по недвусмысленной просьбе Вашего министерства.

В ходе переговоров особый упор, как устно, так и в письменном виде, был сделан на то, что важно решить дело быстро, ибо если вопрос не будет выяснен в ближайшем будущем, то из-за особых климатических условий Эрец-Исраэль пропадет целый год. Решение не состоялось, и год был действительно потерян, во вред всем сторонникам проекта и в ущерб экономическому развитию Эрец-Исраэль. Теперь мы снова вынуждены подчеркнуть, что если концессию не утвердят немедленно, — а формальная просьба об этом была подана еще четыре года тому назад, то будет потерян еще один год.

Нас просили отметить, что со времени подачи первого прошения г-ном Новомейским (и, насколько мы знаем, то же самое относится к просьбе майора Таллока) речь шла только об одном-единственном предложении, а именно: чтобы все минеральные залежи Мертвого моря — в том числе поташ и бром — были включены в рамки одной концессии. Нас также просили отметить, что во всей переписке и беседах, а также в памятных записках, поданных специальной комиссии, назначенной министерством для изучения вопроса, выражалась мысль (и, насколько нам известно, комиссия с этой мыслью согласилась), что на первых стадиях добычи поташа должны быть проведены опыты в промышленном масштабе и что для этого необходимо основать компанию с достаточным капиталом. Было также указано (см. 5 стр. меморандума за январь 1924 г., где идет речь о производстве поташа и т.д.), что вышеупомянутая компания будет производить и бром, хотя спрос на него не столь велик, чтобы посвятить ему особое внимание, но если рынок брома расширится, увеличить его производство не составит никакого труда. Таким

образом, производство брома в количествах, требуемых рынком, и на коммерческой основе является неотъемлемой частью проекта, о котором идет речь.

Что касается поташа, то тут положение не изменилось, и г-н Новомейский, как и майор Таллок, продолжают настаивать на своем мнении, поддержанном, как видно из документов, членами правительственной комиссии.

Что касается брома, то потенциальный спрос на него со стороны группы "Дженерал Моторс" и "Дюпон" свидетельствует о возникновении рынка в коммерческом объеме, как заранее и предполагалось. Выход поэтому состоит в том, чтобы заключить соответствующее соглашение с компанией "Дюпон" и "Дженерал Моторс" (причем нет оснований сомневаться в возможности достижения такого соглашения), чтобы немедленно приступить не только к работе, запроектированной первоначально в отношении поташа, но и к производству брома, необходимого американской группе.

Что касается капитала, то мы отдаем себе полный отчет в том, что не получим концессии, пока не докажем, что располагаем необходимым для этого капиталом – и не только для осуществления проекта, касающегося поташа, но и для немедленного производства брома в объеме, который удовлетворит требования американской группы.

В соответствии с указаниями нашего доверителя г-на Новомейского мы ставим Вас настоящим в известность, что если Вы согласны утвердить концессию при условии, что получите доказательства нашей финансовой состоятельности, г-н Новомейский готов представить Вам необходимые свидетельства о финансовых источниках, с которыми он связан и которые в состоянии обеспечить все необходимые расходы.

С глубоким почтением,
Герберт Оппенхеймер,
Натан и Вендик".

Ответ, который мы получили на это письмо, нас удовлетворил. Правда, он закрыл перед нами путь частных переговоров по поводу концессии, но зато в письме содержалось признание наших прав – моего и Таллока – считаться кандидатами на получение концессии. Шексборо писал, что секретарь по делам колоний г-н Эймери должным образом изучил просьбу г-на Новомейского о выдаче концессии. Он также принял во внимание, что майор Таллок тоже участвует в этой просьбе.

Г-н Эймери решил провести гласный конкурс на предложения об эксплуатации залежей Мертвого моря и надеется в скором времени об этом объявить. После объявления конкурса г-н Эймери рад будет получить новую просьбу г-на Новомейского и майора Таллока, и тот факт, что они оба уже подавали предложения, будет учтен.

Наконец-то был устранен – так нам казалось – личный нажим сэра Иехошуа Стэмпа. Теперь я ждал объявления конкурса – и тем временем начал готовиться к следующему раунду.

Глава четвертая

ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩИ?..

Весну и лето 1925 года я провел на берегу Мертвого моря. Там под моим наблюдением строились экспериментальные испарительные бассейны. Я рассчитывал наладить процесс концентрации соли в растворе с помощью солнечного тепла, а для этого мне требовались большие, но неглубокие бассейны. Первые опыты я провел уже в 1921 году, но тогда я пользовался стеклянными аквариумами, дорогими и недостаточных размеров. Поэтому теперь я соорудил два ряда бассейнов – один с цементированными стенками и другой, где водоемы были только обнесены невысокими земляными валами, укрепленными досками. Бассейны имели полметра глубины. Я хотел установить степень просачивания воды в земляных водоемах и проследить, как идет в них процесс кристаллизации соли. Я убедился, что со временем дно и борты покрываются соляным слоем, который снижает до 10 процентов скорость диффузии – цифры ничтожной. Преимущества земляных бассейнов были очевидны: дешевизна и возможность использования очень большой площади.

В этих опытах мне помогали доктор Бобтельский, о котором я уже упоминал, и М. Лангоцкий – молодой парень, тоже сибиряк. Мы с Лангоцким жили в заброшенной лачуге, оставшейся еще с военных времен, и питались в основном консервами, а питьевую воду нам доставляли в бурдюках из Иерихона. Временами мы предпринимали поездки по окрестностям, но главным образом занимались метеорологическими наблюдениями и определением степени концентрации соли в воде на разных глубинах. Анализы показали, что концентрация увеличивается с глубиной, и поэтому

я решил накачивать воду в бассейны не с поверхности моря, а из его придонных слоев (в 1932 году в море была спущена стальная труба длиною 750 метров и диаметром 75 сантиметров, забиравшая воду для испарительных бассейнов с пятидесятитрехметровой глубины).

Однажды мы вышли на лодке в море – и только чудом не погибли. Когда мы отошли от берега, море было зеркально гладким, но внезапно налетел ураганный ветер. Сидевший на веслах араб изо всех сил пытался выгрести, но напрасно. Лангоцкий, человек физически очень сильный, сел за весла, но и он не мог справиться с волнами. Араб ударился в панику, скомандовал нам выбросить все за борт, а под конец разразился плачем.

– Мы с тобой, – говорил он Лангоцкому сквозь слезы, – как-нибудь выплывем и доберемся до берега, а вот он (то есть я) не сможет. И кто нам поверит, что мы его не утопили?

На Мертвом море вода держит человека, но тем не менее в бурю легко можно утонуть – тяжелые волны оглушают пловца, а глаза слепнут от ядовитой воды. Однако в конце концов ветер, к нашему счастью, стих, и мы благополучно выбрались на берег.

В начале мая в газетах Лондона и Иерусалима наконец-то появились долгожданные объявления о конкурсе. Правительство предлагало всем заинтересованным представить предложения для приобретения концессий на эксплуатацию Мертвого моря. Последний срок подачи заявлений был установлен 31 октября. Я поручил продолжение анализов химикам, а строительство бассейнов – Лангоцкому и в конце июня выехал в Европу, чтобы посоветоваться с немецкими специалистами, с которыми я начиная с 1921 года поддерживал постоянный контакт. На этот раз я хотел заехать и в Берлин к профессору Фрицу Франку, международному авторитету в вопросах минерального топлива, чтобы узнать его мнение по поводу образцов пропитанного нефтью кремнезема, которые я собрал в окрестностях Неби-Мусы. Этот кремнезем я собирал-

ся использовать в качестве топлива и надеялся таким образом решить проблему энергии для моего завода.

С Франком я познакомился летом 1921 года. Это был милейший и благороднейший человек. Со временем он стал моим наставником в отношениях с представителями германской поташной промышленности и постоянным консультантом моего предприятия. В Германии все двери были открыты перед ним, а после прихода к власти Гитлера я продолжал встречаться с ним в Лондоне (где он скончался в 1949 году). Франк представил меня доктору Отто Козелицу, одному из столпов немецкой поташной промышленности. Прежде Козелиц был директором одного из крупнейших химических заводов, а также членом исполнительного комитета "Поташного синдиката". Однако незадолго до нашей встречи у него возникли разногласия с коллегами, и он вышел в отставку. Поэтому теперь это был независимый человек, и когда я предложил ему стать моим советником, а также обещал директорскую должность на заводах Мертвого моря, если добьюсь концессии, он охотно согласился. Правда, у него не было никакого опыта в области добычи поташа методом испарения, так как в Германии поташ добывают в шахтах, как уголь, – но зато он был крупным специалистом по второй стадии производства: очистке карналита, другими словами – отделению чистого поташа от хлористого магнезия. Он также исследовал образцы раствора, присланные ему мною. Однако в конечном счете у него не хватило терпения дождаться конца борьбы за получение концессии, и он принял пост главы научно-исследовательского калийного института в Германии*.

---

* Я и после этого продолжал бывать у него и пользовался его гостеприимством, когда приезжал в Германию, а в 1932 году Козелиц приехал в Швейцарию навестить меня в Монтре. Он резко критиковал национал-социализм. В 1937 году его жена известила меня письмом о его смерти.

Тот же Франк представил меня – еще в 1921 году – профессору Генриху Фрехту, основоположнику германской поташной промышленности, которому в то время было 78 лет. Он поразил меня силой памяти и энциклопедическими знаниями. Глядя на него, я невольно задумался о нашей печальной судьбе: какие огромные знания, какой неизмеримый опыт накапливает человек в течение своей жизни – и, достигнув вершин мудрости, обречен уйти... Несколько раз я приезжал к Фрехту из Лондона в Ганновер за советом, и наша переписка продолжалась до самой его кончины в 1924 году.

Я должен упомянуть еще профессора Кубежского, известного химика. Кубежский тоже был немец, но совсем другого склада, нежели Фрехт. Он был целиком погружен в проблемы практического использования различных устройств и процессов, и его подход к делу был не академическим, а промышленно-коммерческим. Со временем я заказал у него один из созданных им аппаратов для выделения брома. Он прислал вместе с аппаратом и техника для его установки и соответствующего обучения персонала.

Мои беседы с немецкими специалистами вселили в меня уверенность, что я избрал верный путь разрешения многочисленных технических проблем. Однако я не ограничился этим и посетил также поташные предприятия на озере Солт-Лейк в Штатах. Поездка в Америку преследовала и еще одну цель: сбор средств. Мой друг Я. А. Найдич посоветовал еще раз попытать счастья, так как теперь шансы привлечь капитал были выше, чем в 1923 году. Июль и август я провел в отеле "Рассель" в Лондоне, погрузившись в проекты, чертежи и расчеты. Я работал ночи напролет и чувствовал себя, как ученик перед выпускными экзаменами. Иногда от усталости начинались боли в сердце. Тут пришла телеграмма из Тель-Авива от сестры: тяжело заболела мама. Ей было тогда 74 года, и я сильно встревожился за нее. Бросив все, я выехал в Париж, чтобы оттуда возвратиться домой, но в Париже меня

застала телеграмма шурина: "Матери лучше. Надеются на выздоровление". Я отложил отъезд и через два дня получил еще одну телеграмму: "Желаю успешно съездить в Америку. Мама". Тогда я вернулся в Лондон и продолжил дело.

12 декабря я отплыл в Нью-Йорк. Там меня встретил Тулин, мой добрый друг и советчик. Он дал мне письмо к своему коллеге, адвокату Розенсону, который мне очень помог во время этой поездки. Моя первая встреча с Флекснером весьма меня ободрила. Я сказал ему, что для моего предприятия необходим начальный капитал в размере 250 тысяч долларов (то есть 50 тысяч фунтов стерлингов, по курсу того времени), кроме сумм, уже обещанных моими приятелями. (Кстати, летом того года я наконец зарегистрировал "Палестинский рудный синдикат", а также попросил своих друзей внести десятую часть обещанного капитала, потому что мои собственные ресурсы иссякли окончательно). Флекснер ничего определенного не сказал, однако попросил представить ему краткое резюме моего проекта, особенно его финансовой стороны, и сообщил, что меня хочет повидать Брандайз. Назавтра я отправился к Брандайзу в Вашингтон. Он задал мне множество вопросов, а сам при этом помалкивал и слушал, не сводя с меня глаз. Не знаю, какое я произвел на него впечатление, но в моем дневнике после этого визита появилась запись: "Провел в обществе Брандайза 50 минут. Обворожен". С тех пор и до конца его жизни я в каждый свой приезд в Америку старался побывать у него. Брандайз моментально оценил колоссальную важность концессии на эксплуатацию Мертвого моря и сделал все, чтобы меня поддержать. Он был председателем "Совета по развитию Эрец-Исраэль", связанного с "Палестинским экономическим обществом", и то, что он меня поддержал, стало одной из главных причин, по которым "Общество" позднее приняло участие в капитале "Поташной компании". Сам он вложил в "Поташную компанию" и свои личные средства.

Я помню последнюю нашу встречу в 1940 году. Шла Вторая мировая война, Средиземное море было закрыто для мореходства, и мы с женой застряли в Лондоне. Чтобы добраться до Эрец-Исраэль, нам пришлось совершить кругосветное путешествие: мы ехали через Лиссабон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Новую Зеландию, Австралию, Индию и Ирак в Тверию. Брандайзу тогда было 84 года, и я не мог проехать Америку, не заглянув к нему — быть может, в последний раз*. По своему обыкновению Брандайз начал с вопроса — что нового в Эрец-Исраэль. Я, однако, сказал:

— Ведь госпожа Джекобс у вас недавно побывала и, наверное, рассказала вам обо всем. Я же хочу узнать ваше мнение по другому вопросу, хотя он лишь косвенно связан с Эрец-Исраэль. Вы позволите?

— Сделайте одолжение, — сказал он.

— Я имею в виду Германию. Многие считают, что подлинная причина возрождения немецкого национализма и успехов Гитлера кроется в ошибочном подходе западных союзников и навязанном Германии Версальском договоре. Даже британский "Союз в поддержку Лиги Наций" поставил своей целью возвращение Германии статуса равноправной нации, а ведь во главе этого "Союза" стояли такие люди, как лорд Роберт Сессиль, профессор Гильберт Мари и лорд Литон**. Но после того, как Гитлер показал свое истинное лицо и все поняли, что он ведет свой народ к войне, люди начали прозревать, и Гильберт Мари опубликовал в "Таймсе" передовицу, в которой признал, что немецкий национализм своими корнями уходит в подспудные глубины характера этого народа и отнюдь не объясняется одними только политическими факторами.

---

* Он скончался в октябре 1941 года.

** Позднее он стал председателем правления "Поташной компании" и много рассказывал мне о деятельности "Союза".

Брандайз с жаром откликнулся на эти мои слова, и его пылкость возрастала по мере того, как он говорил. По-видимому, я затронул больной вопрос. Спокойный, мудрый старик внезапно загорелся и поведал мне историю из своего личного опыта. Его родители, сказал он, приехали в Соединенные Штаты из Венгрии, как и родители его жены. Они эмигрировали оттуда после подавления восстания Кошута в 1848 году. Когда Брандайзу исполнилось 17 лет, отец послал его учиться в Дрезден. Там он познакомился с немецкими писателями и учеными, жадно внимал им и восхищался ими. Его жена тоже проучилась несколько лет в Германии и любила ее культуру.

Много лет спустя, когда Брандайз уже занимал важный пост в Вашингтоне, он решил организовать общество друзей немецкой культуры. Он и его жена были активистами этого общества и часто принимали у себя в доме писателей и других деятелей немецкой культуры, приезжавших в Вашингтон.

– Однако со временем я почувствовал какую-то неестественность в наших отношениях, – продолжал Брандайз. – Появилась какая-то новая фальшивая нотка. Я поделился мыслями с женой, и оказалось, что она заметила то же самое. Мы оба ощущали, что наши немецкие друзья относятся к нам свысока. Я начал об этом думать, размышлять о немецком мироощущении, заново перечитал Фихте и Гете и нашел разгадку. Немцы уверовали, что они высшая раса и что их культура превосходит все прочие. В конце концов мы с женой вышли из общества, которое сами же организовали. То, что сейчас происходит, без сомнения, проистекает из сущности германской нации.

– Но если так, то как же быть с этим народом? – спросил я его. – Ведь нельзя же уничтожить целую нацию. К тому же немцы – народ способный, наделенный многими замечательными качествами, и называют себя "народом поэтов и философов".

– Да, это сложный вопрос, – откликнулся Брандайз, – и все мы обязаны как следует задуматься над

ним. – Разволновавшись, он поднялся из кресла и стукнул по столу: – Одно ясно! Они должны пострадать, тяжко пострадать за свои дела!..

Вернемся, однако, к 1925 году. 3 октября я получил письмо от секретаря группы Флекснера. Он меня извещал, что некий доктор Нортон, бывший инженер-химик и профессор Цинциннатского университета, хочет со мною повидаться и Флекснер рекомендует с ним встретиться. От Флекснера я слыхал, что это важная фигура – Нортон основал в США анилиновую промышленность, бывшую до того монополией Германии. Беседа с ним оказалась чрезвычайно утомительной, потому что он был туг на ухо и мне приходилось кричать в его слуховой рожок или писать записки. Он сказал, что разработал "целую программу" добычи минеральных солей из Мертвого моря, – хотя в Эрец-Исраэль никогда не бывал, – и намерен представить свой проект британскому правительству в соответствии с объявленным конкурсом. Тем не менее он готов взять меня в компаньоны.

Мне было ясно, что денег у него нет, и кроме того, я был убежден, что не может быть речи о каком-либо серьезном плане использования Мертвого моря без предварительных экспериментальных работ на месте, и моя реакция на его предложения была весьма прохладной. Через два дня Нортон снова явился, и в дневнике я записал: "Нортон пробыл у меня с девяти утра до одиннадцати. Он мне надоел".

6 октября я был приглашен в контору Флекснера на предварительное совещание. Состав его группы был довольно запутанным. Во главе стоял "Совет по развитию Эрец-Исраэль" – нечто вроде политического органа, в то время как деловой стороной занималось "Палестинское кооперативное общество", возглавляемое Робертом Сольдом. Позднее из этого общества сформировалось "Палестинское экономическое общество" во главе с самим Флекснером. Каково же было мое удивление, когда в кабинете Флекснера я увидел Нортона! Выяснилось, что его репутация "аме-

риканского химика", располагающего "целой программой" по эксплуатации Мертвого моря, произвела сильное впечатление на Флекснера и его коллег, которые не могли взять в толк, как такой человек, как я — без имени, звания и публикаций, — позволяет себе отклонить милостивое предложение Нортона. Они мне прямо заявили, что их готовность оказать мне поддержку значительно возрастет, если я войду в компанию с профессором. Я воздержался на этом совещании от окончательного ответа, но после обеда состоялось второе, без участия Нортона, и тут я откровенно сказал, что категорически отказываюсь с ним работать. Изложил я и свои мотивы. Нортон, сказал я, никогда не бывал на Мертвом море, знает лишь цифры, денег у него нет, и в конечном счете он станет для нас просто обузой.

Флекснера мои аргументы не убедили, но Саймон и Бен Коэн поддержали меня. С Юлиусом Саймоном я встретился в Иерусалимс в 1921 году. Он был старый сионист и немало помог мне. Бен Коэн был адвокатом и впоследствии приобрел известность в качестве одного из советников Рузвельта. Во время президентства Трумена он входил в состав делегации Соединенных Штатов в ООН. Через несколько дней после этого совещания Саймон с Коэном пригласили меня на обед и сообщили, что группа Флекснера собирается вложить в мое предприятие 250 тысяч долларов. Эта новость придала мне силы продолжать дело. Приближался последний срок подачи предложений на конкурс. Время торопило, и я снова ушел с головою в каторжную работу по подготовке памятных записок и расчетов. 15 октября я наконец отправил материалы Натану в Лондон. Теперь оставалось лишь ждать окончательного ответа группы Флекснера, и, чтобы не терять времени даром, я решил съездить в Солт-Лейк-Сити посмотреть тамошние испарительные бассейны для добычи соли. Город Солт-Лейк-Сити основан, как известно, мормонами. В Огдене поезд задержался, и я вышел на перрон купить газету. Когда я возвращался по под-

земному переходу в вагон, меня остановил какой-то неизвестный:

– Вы мистер Смит?

– Я не мистер Смит и, кроме того, опаздываю на поезд.

Он побежал за мною следом:

– Минуточку, возьмите только брошюру! Когда приедете в Солт-Лейк-Сити, не забудьте заглянуть к нашему епископу. Он наставит вас на путь истинный!

Но меня интересовала не эта странная секта, а система извлечения соли. Я пробыл там три дня и ознакомился с производством фирмы "Инленд Кристалл Солт" километрах в десяти от города. Я собрал там важные данные, пригодившиеся мне потом. Побывал я и на медных копях Юты, где руду добывают в открытых карьерах.

Из Солт-Лейк-Сити я поехал в Лос-Анджелес и Сан-Франциско и там тоже не без пользы для себя осмотрел соледобывающие предприятия компаний "Маунт Эден", "Лезли" и "Оливер". Меня повсюду радушно принимали, особенно когда я рассказывал, что прибыл из Эрец-Исраэль и с Мертвого моря. Но более всего помогли мне инженер Малоземов и его жена, жители Окленда, которых я знал еще по Баргузину. Малоземов с женой и двумя маленькими детьми был сослан в Баргузин как социал-демократ. Отец поручил ему управление одним из рудников, а мама взяла на себя заботу о его жене и детях, оставшихся в Баргузине. Позднее я помог Малоземову получить должность управляющего на больших Ленских золотых приисках – и теперь он и его жена отблагодарили меня за добро, оказанное им некогда моей семьей.

28 октября, за три дня до последнего срока подачи прошений о концессии, я выехал из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и в пути отправил Натану телеграмму. Теперь можно было подавать конкурсные материалы: посещение различных предприятий прибавило мне уверенности, что я нахожусь на правильном пути. Вот главные пункты моего предложения:

1. Концессия на 75 лет.

2. Концессия включает все Мертвое море с его западными и восточными берегами.

3. По истечении срока концессии все сооружения и оборудование безвозмездно переходят во владение палестинской администрации.

4. Аренда обширной территории, достаточной для строительства испарительных бассейнов.

5. Участие властей в прокладке шоссе из Иерихона к Мертвому морю.

6. Право компании построить железнодорожную линию от Мертвого моря в Иерусалим (43 км), а также линию вдоль Иорданской долины до ветки Хайфа – Бет-Шеан, когда это будет сочтено оправданным с точки зрения объема производства.

7. Палестинская администрация получает определенный процент дохода от реализации поташа, брома и других продуктов, а также долю чистой прибыли.

Производственная часть моего предложения была следующей:

а. Сначала, в течение двух с половиной лет, – экспериментальное производство с годовым выходом поташа – 500 тонн и брома – 150 тонн.

б. На втором этапе – производительность порядка 10 тысяч тонн поташа в год.

в. На третьем этапе – выход на полную мощность с ежегодной выдачей поташа в размере 100 тысяч тонн. Чтобы достигнуть этого этапа, потребуются капиталовложения в сумме один миллион фунтов стерлингов.

Когда я возвратился в Нью-Йорк, члены "Палестинского экономического общества" все еще продолжали обсуждать и взвешивать свое решение. Я постарался повидать Флекснера, но наш разговор ничего не прояснил. Однако через пару дней я получил следующее письмо:

"9 ноября 1925 года
Г-ну Новомейскому
Нью-Йорк

Уважаемый г-н Новомейский,

В связи с нашей встречей в моей конторе в воскресенье я должен Вам, к сожалению, сообщить, что наше финансовое положение лишает нас возможности взять на себя обязательства по данному вопросу, даже если эти обязательства условные. Мы также считаем, что у нас нет достаточной информации о Вашем проекте, которая могла бы оправдать действия с нашей стороны.

С глубоким почтением
"Палестинское экономическое общество".
Бернард Флекснер".

Я ответил немедленно:

"9 ноября 1925 года
"Палестинскому экономическому обществу"
Нью-Йорк

Господа,

Получил Ваше письмо от 9 числа сего месяца, весьма меня огорчившее, так как я надеялся, что Ваши переговоры дадут положительные результаты. Тем не менее я благодарен г-ну Флекснеру за искренние усилия, приложенные им для достижения положительных итогов.

Меня удивляет то место Вашего письма, где утверждается, что информация, которой Вы располагаете относительно моего предприятия, недостаточна, чтобы оправдать действия с Вашей стороны. Позвольте напомнить, что на первом же совместном нашем совещании, несколько недель тому назад, я выразил готовность представить Вам и специалистам полные и подробные сведения и данные, в том числе результаты

практических опытов и цифру предполагаемых расходов, основанную на точных расчетах. Вы же не отозвались на это предложение. Буду Вам благодарен за подтверждение этого факта, чтобы устранить возможность ошибочных выводов из состоявшегося у нас обмена письмами.

Искренне Ваш
М. Новомейский".

Последняя фраза в письме Флекснера ошеломила меня. Он совершенно очевидно советовался со "специалистом" – по-видимому, все с тем же Нортоном, который заявил им, что поданный мною материал недостаточен. Копии двух вышеприведенных писем я отправил Юлиусу Саймону. Получив их, он пригласил меня отобедать с ним в доме Роберта Солда, где я встретил и Бена Коэна. Из разговора за обедом я понял, что у Флекснера возникли разногласия с Солдом. Трое моих собеседников также намекнули, что не стоит принимать письмо Флекснера за окончательное решение. И действительно, через пять дней я получил от "Совета по развитию Эрец-Исраэль" следующее многообещающее письмо:

"Совет по развитию Эрец-Исраэль"
17 ноября 1925 года

Члены совета:

Луи Д. Брандайз, почетный президент
Юлиан В. Мак, президент
Юлиус Саймон, вице-президент
Натан Штраус – сын, секретарь
Сол Розенбаум, казначей

Уваж. г-ну Новомейскому

Нами достигнута договоренность с "Палестинским кооперативным обществом" относительно приобрете-

ния им у Вашей компании акций на сумму 10 000 ф. ст. на условиях, которые изложены в письме "Палестинского кооперативного общества" от сегодняшнего числа.

С глубоким почтением
"Совет по развитию Эрец-Исраэль"
Юлиан В. Мак, президент".

В тот же день пришло письмо "Палестинского коопертивного общества" за подписью его председателя Роберта Солда, подтверждающее покупку акций. Далее говорилось:

"Стороны согласны, что любая концессия или концессии, которые будут выданы Вам либо Вам в компании с майором Таллоком, перейдут к "Палестинскому рудному синдикату". Данная сделка по приобретению акций производится на том условии, что концессия или концессии на добычу минеральных солей из Мертвого моря будут даны Вам либо Вам в компании с майором Таллоком и что эта концессия или концессии затем перейдут в руки "Палестинского рудного синдиката".

Я никогда не мог себе представить, до чего сложны в Соединенных Штатах юридические процедуры, и не подозревал, что скромное капиталовложение (пятая часть той суммы, которую я просил) потребует столь долгого оформления. Три крупных адвоката – судья Юлиан Мак, Бернард Флекснер и Роберт Солд, с одной стороны, и адвокатская контора Тулина и Розенсона, с другой, приступили к бесконечным совещаниям и переписке. В конечном итоге мне предложили подписать длинный документ, где разъяснялись условия пользования американскими деньгами, с приложением подробнейшего резюме всех многочисленных совещаний. Следует отметить, что адвокаты, принимавшие участие в этих изнурительных переговорах, не взяли за свой труд даже пенса, ибо в противном случае от обещанных мне 10 тысяч фунтов осталось

бы немного. Все они были сионистами и стремились внести свой личный вклад в дело строительства национального очага.

Они сделали даже более того, рекомендовав меня знаменитому банкирскому дому братьев Леман (один из которых являлся вице-президентом "Палестинского экономического общества"). В ходе последовавших встреч я познакомился с господином Гринделом, химиком-консультантом банка, и полковником Соммерсом, одним из лучших американских инженеров-химиков, советником президента Вильсона во время Первой мировой войны. Наша встреча с Соммерсом состоялась 10 ноября и продолжалась несколько часов. Через неделю контора Леман прислала мне копию отзыва Соммерса о моем проекте:

"От Л.Л. Соммерса и компаньонов, Нью-Йорк
16 ноября 1925 года
Братьям Леман

Уважаемые господа,

После беседы с Гринделом и Новомейским по поводу добычи поташа из вод Мертвого моря мы изучили памятную записку, оставленную нам г-ном Новомейским, и пришли к выводу, что проведена основательная и обширная научная работа. Мы располагаем фундаментальными исследованиями об извлечении солей из растворов и находим данный проект безусловно реальным. Однако результаты зависят от местных условий. Поскольку работа в этом отношении выполнена безукоризненно, в то время как мы сами не располагаем необходимыми данными, нам нечего сказать, тем более мы не вправе критиковать проект.

В его осуществлении имеются две основные трудности: отсутствие путей сообщения и дороговизна топлива. Ясно, что должную транспортную систему — основанную на электротяге или узкоколейную же-

лезную дорогу — имеет смысл строить только при наличии соответствующего грузопотока. Вместе с тем несомненно, что высокая производительность потребует крупных капиталовложений, при том предварительном условии, что найдется рынок, способный поглотить выпускаемую продукцию, и что будет найдено решение всех проблем, связанных с производством.

В целом проект нас заинтересовал, и если будут представлены достаточные данные, мы, возможно, сочтем оправданным строительство небольшого предприятия. Данные, которыми мы располагаем, не позволяют с полной уверенностью сказать, что подобное коммерческое предприятие окажется рентабельным уже сейчас. Нам кажется, что перед тем, как начать строительство такого завода, следует получить дополнительные сведения об условиях на месте.

С глубоким почтением
Л. Л. Соммерс и К°".

Этот отзыв меня ободрил, и я тотчас составил записку с ответами на поднятые Соммерсом вопросы. 24 ноября я встретился с ним вновь, и через три дня ко мне пришла копия его второго письма банку Леман:

"27 ноября 1925 года
Братьям Леман
Нью-Йорк

Предлагается вниманию г-на Х.В. Гриндела
Уважаемый г-н Гриндел,

...на втором совещании с г-ном Новомейским я обсудил с ним различные вопросы и получил ответы, которые считаю вполне удовлетворительными.

Итак, я отказываюсь от всех сделанных мною критических замечаний. Считаю, что если принять меры предосторожности, хорошо известные г-ну Новомей-

скому, то проект, по-видимому, сможет развиваться удовлетворительным образом.

С глубоким почтением
Л. Л. Соммерс".

Легко понять, что мои надежды еще больше возросли. Участники группы Флекснера тоже были настроены оптимистично. Каково же было мое разочарование, когда братья Леман в конечном счете отказались меня поддержать! Это было непонятно! Ведь они так много помогали благотворительным учреждениям и жертвовали крупные суммы в пользу Эрец-Исраэль. Однако трудность как раз и коренилась в этом. Братья Леман, как и многие другие американские евреи, готовы были ежегодно делать взносы в различные благотворительные фонды для оказания материальной помощи еврейскому поселению в Эрец-Исраэль, но воздерживались от помещения своих капиталов в палестинские коммерческие предприятия.

С момента истечения срока подачи просьб о концессии прошло более месяца. Поэтому я решил возвратиться в Лондон, чтобы узнать результаты конкурса. 2 декабря я отплыл в Саутхемптон, увозя с собой скромный вклад "Палестинского кооперативного общества". Я утешал себя тем, что это первая инвестиция американской организации, известной своим положением и связями. Мне, однако, не терпелось узнать, что происходит в Лондоне, и я послал Натану телеграмму с просьбой телеграфом же сообщить на судно о состоянии дел. Ответ был загадочный и убийственный: "Могучий конкурент предлагает более выгодные условия".

Я протелеграфировал ему, чтобы он сделал все возможное и попытался оттянуть решение до моего приезда, а сам провел бессонную ночь.

Запись в моем дневнике за 9 декабря гласит: "Читал Библию. Невозмутимый дух ее повествования всегда действовал на меня успокоительно".

Глава пятая

ДЕВЯТЬ ТРЕВОЖНЫХ МЕСЯЦЕВ

1926 год был для меня мучительным и тревожным. Приехав в Лондон, я тотчас поспешил в министерство колоний. Там меня принял не Вернон, а Клоссон, один из его помощников. Он был в высшей степени сдержан и ничего определенного не сказал, но от Натана я узнал, что подано пять предложений, из них три уже отвергнуты, а из двух оставшихся мое признано в техническом отношении лучшим. И тем не менее возникла новая опасность: появился анонимный конкурент, располагавший огромным капиталом и предложивший правительству куда более выгодные условия, нежели мои.

Я снова обратился за помощью к доктору Вейцману. По его совету я вручил ему короткую памятную записку, чтобы он мог передать ее Шекборо. Обратился я и к Джеймсу Ротшильду. Я застал его больным, в постели, но невзирая на это, он принял меня и проявил свойственную ему доброжелательность.

Хорошенько обдумав свое положение, я телеграфировал Тулину, моему юридическому консультанту в Нью-Йорке: ”Подано пять просьб три отвергнуты точка из оставшихся предпочитают мою но сильный конкурент предлагает лучшие условия точка крайне желательна увеличенная американская поддержка точка в остальном положение удовлетворительное”.

Через два дня от Тулина пришел безапелляционный ответ: ”На немедленную поддержку нет шансов”.

Тогда я написал Бернарду Флекснеру:

”...Позвольте рассказать Вам о положении дел с концессией. Королевские чиновники получили в общей сложности пять просьб о концессии на экс-

плуатацию Мертвого моря. Специалисты изучили поданные проекты и три из них отвергли. Мне не удалось выяснить имена конкурентов, так как правительство предпочитает держать их в секрете, но я узнал, что один из двух оставшихся проектов — мой и что правительство находит его лучшим, нежели все остальные предложения. Однако мой конкурент, располагающий большим капиталом, предлагает более выгодные условия. Я объяснил властям, что условия, которые содержатся в моем предложении (дивиденды и т. п.), ни в коей мере не являются окончательными. Это лишь база для начала обсуждений, и правительственные чиновники согласились принять эту мою позицию за основу для дальнейших переговоров.

Мне намекнули, что наши шансы получить концессию достаточно высоки. если мы будем располагать требуемыми средствами и предложим правительству удовлетворительные условия.

Однако теперь перед нами возникло новое препятствие. Мне стало известно, что верховный комиссар Австралии настаивает на том, чтобы британское правительство признало концессию, выданную еще до войны — в 1911 году — нескольким турецким подданным и проданную или переданную некоторое время тому назад группе английских граждан, в том числе одному австралийцу. Британское правительство оказалось теперь перед юридической проблемой, касающейся взаимоотношений доминионов с метрополией. Вопрос в том, вправе ли один из доминионов (в данном случае Австралия) возбудить дело против британского правительства в международном суде в Гааге. Мнения юристов разошлись. Важный довод в пользу доминионов заключается в факте, что они имеют собственных представителей в Лиге Наций, а ведь суд в Гааге — один из ее органов. Теперь все это дело передано на рассмотрение королевских юристов, и ожидается, что они дадут свой отзыв после праздников...”

После рождественских праздников пришла телеграмма из Тель-Авива: "Мама больна можешь ли приехать". Итак, ее выздоровление в прошлом году было лишь кажущимся. Вскоре пришла вторая телеграмма: "Силы матери на исходе".

Я уже рассказывал, как круглые сутки мчался по сибирским лесам, чтобы поспеть к отцу, лежавшему на смертном одре, и тем не менее опоздал. Теперь была при смерти мать, а я опять находился на огромном расстоянии от дома. Позабыв о заботах, связанных с концессией, я поспешил во Францию, сел там на поезд и в Марселе раздобыл билет на французское судно, которое шло через Тунис в Порт-Саид – ибо в те времена корабли очень редко заходили в порты Эрец-Исраэль. 2 января я прибыл в Александрию. Было два часа пополудни. Поезд в Эрец-Исраэль отправлялся только на следующее утро. Весь вечер и всю ночь я провел в страшной тревоге. В вагоне соседом моим оказался английский летчик, возвращавшийся из Англии из отпуска. Я выслушал его печальный рассказ: у него тяжело заболела мать, он поехал домой, но опоздал. Случайная встреча с этим человеком показалась мне грозным предзнаменованием.

В Тель-Авиве меня встречал шурин, и по выражению его лица я понял, что мои опасения оправдались. Мать умерла вечером предыдущего дня. То, что случилось при кончине отца, повторилось снова: я опять приехал только на похороны. И знал, что никогда не смогу себе этого простить.

В феврале я вернулся в Лондон. Дела оставались в прежнем положении, выяснилось лишь, что угроза со стороны австралийцев весьма серьезна. Концессия, выданная трем турецким гражданам, была продана после войны двум грекам и одному англичанину, у которых ее затем откупила английская группа, возглавляемая капитаном Беннетом, служившим некоторое время в Палестине в войсках генерала Алленби. В 1923 году Беннет представил в министерство колоний

фотокопию имевшегося у него "фирмана": в соответствии с этим документом ему предоставлялось право добывать бром – но не другие минералы – в течение двадцати пяти лет и при условии, что он будет выплачивать властям 16 процентов стоимости извлекаемого брома и еще 6,5 процента от прибыли. Правда, было оговорено, что добыча брома должна начаться не позднее чем через два года после выдачи "фирмана", в противном случае за властями сохраняется право аннулировать его. Таким образом, "фирман" как будто утратил всякую законную силу.

Так полагали и работники министерства колоний. Более того: они обратили внимание Беннета на Лозаннский договор, заключенный в свое время с турецким правительством, где концессия, на которой он настаивал теперь, не упоминалась ни словом. Однако их аргументов оказалось недостаточно, чтобы покончить с этой историей. В 1924 году иск был возобновлен майором В. К. Стюартом, который тем временем купил большую часть "концессии" у группы Беннета, и в 1925 году, когда этим иском занялся адвокат сэр Джон Ставриди, работники министерства колоний отнеслись к делу серьезно. Ставриди был знаменитым адвокатом и в 1923 году выиграл иск к британскому правительству. Международный суд в Гааге вынес решение в его пользу, и район Иерусалима был исключен из концессии на электрификацию, выданной Пинхасу Рутенбергу. Теперь речь опять шла об иске, основанном на старой турецкой концессии: неудивительно, что в министерстве колоний начали тревожиться, как бы и на этот раз не выяснилось, что Ставриди располагает вескими доказательствами или старыми документами, позволяющими выиграть дело.

Правда, 10 июля 1925 года министерство колоний сообщило истцам, что не признает никаких оттоманских концессий на эксплуатацию Мертвого моря и конкурс будет проведен в соответствии с принятым решением, а в марте 1926 года, когда я возвратился из

Иерусалима в Лондон, поставило меня в известность, что турецкие требования не рассматриваются и в ближайшее время будет определен победитель конкурса. И все-таки скоро выяснилось, что все обстоит не так гладко. Я обедал с доктором Идером, политическим советником Сионистской организации; и он рассказал мне, что недавно встретился с сэром Джоном Шекборо, которому стало известно, что вопрос о концессии на эксплуатацию Мертвого моря в скором времени будет передан на усмотрение палестинской администрации. Эта новость сильно озаботила меня. Со старшими работниками лондонского министерства колоний я вел переговоры пять лет и знал, что могу на них положиться. В палестинской же администрации было много враждебно настроенных чиновников, с ненавистью относившихся к политике национального очага и готовых на все, лишь бы провалить сионистский проект.

С другой стороны, Джеймс Ротшильд уверял меня, что решение по поводу концессии будет принято в ближайшие дни в Лондоне. Эти противоречивые известия сбили меня с толку. Вдобавок я узнал, что на горизонте снова появился майор Глен, причинивший нам неприятности в 1924 году во время переговоров с американцами. Теперь он старался побудить всех, заинтересованных в концессии, объединиться и действовать совместно, причем похоже было на то, что его инициатива благожелательно встречена британским правительством. Однако я отклонил это предложение, так как не хотел оказаться в меньшинстве внутри большой группы. Даже на Таллока я не полагался вполне и подозревал, что он не до конца искренен со мной.

Тем временем в Лондоне объявился доктор Нортон, и тоже по поводу концессии. Но дни и недели шли, а дело не двигалось. Миновал апрель, прошел май, июнь, но решения все не было. Порой мне начинало казаться, что вся эта история, которой я отдал годы жизни и труда, не более чем мираж. 14 июля я позвонил в министерство колоний и спросил Клоссона, когда можно

придти к нему. Последовал краткий, но загадочный ответ: "Можете придти, когда захотите". Во всяком случае, из ответа следовало, что ничего не изменилось. Тем временем до меня дошло, что доктор Нортон ведет серьезные переговоры с королевскими представителями. Он и от меня не отставал, приходил чуть ли не каждый день, показывал свои расчеты и пытался склонить к сотрудничеству с ним. В пользу своего предложения он приводил, в частности, довод политического характера: министерство колоний не может так просто отмахнуться от проектов, исходящих из Америки, чтобы не дать повода правительству Соединенных Штатов обвинить Великобританию в дискриминации американцев в стране, находящейся под контролем Лиги Наций (США не участвовали в этой организации).

Все это ничего хорошего не предвещало, но я искал способа вытащить свой воз из болота. Время от времени я заходил к доктору Вейцману, чтобы осведомить его о положении дел и посоветоваться с ним. Так однажды возникла новая идея: вступить в сотрудничество с компанией "Государственных химических производств" Брюнера – Монда, прибегнув к ее поддержке, а может быть, и к финансовому участию. Монд знал меня и мой проект и, даже более того, помог мне выстоять против Стэмпа, сыграв чрезвычайно важную роль в борьбе с американцами в 1924 году. Мои отношения с ним и после этого были близкими. Натан, который был и его адвокатом, сообщил мне, что Монд склонен поместить в мое предприятие небольшую сумму или взять на себя посредничество между мною и бельгийской компанией "Сольвей", одной из крупнейших компаний, занимающихся производством поташа. Однако я был заинтересован в участии крупного капитала, а не в мелких вкладах частных лиц, а фирма "Сольвей" входила в "Поташный синдикат", контролируемый немцами, и мне не хотелось с ним связываться, чтобы не настроить против себя английское общественное мнение.

Но теперь, в июле 1926 года, мое положение выглядело гораздо более шатким, чем годом раньше. Надежды на помощь американских евреев не оправдались, и на меня нажимали со всех сторон, добиваясь моего согласия на слияние с остальными кандидатами на концессию. Мне надо было действовать мудро, если я хотел сохранить независимость. Поэтому я согласился, чтобы доктор Вейцман попробовал переговорить с Мондом – но через несколько дней он мне сообщил, что его попытка закончилась неудачей. По-видимому, Монд находился под влиянием Блейка, геолога палестинской администрации, также проводившего опыты и замеры на Мертвом море. Блейк был человеком честным и порядочным (впоследствии, когда он ушел со своей должности, я предложил ему заняться в моей компании разведкой нефти), но в то время он, как видно, поддался антисионистским настроениям, бытовавшим в кругу иерусалимской администрации.

С другой стороны, Таллок снова пытался свести меня с майором Гленом и даже намекнул, что сам вступил в контакт с неким майором Генри в Австралии, похвалявшимся турецкой концессией. Затем я узнал, что 2 августа состоялась встреча Таллока, Глена, Нортона и других претендентов на концессию. Глену поручили добиться от меня согласия на совместные действия. Тут стоит привести следующее письмо, хотя о его существовании я сам узнал лишь значительно позже.:

"Лондон, 4 августа 1926 года
Секретарю по делам колоний
Министерству колоний
Лондон

Уважаемые господа,

Мы, нижеподписавшиеся, имеем честь довести до Вашего сведения, что в соответствии с конкурсом, объявленным королевскими представителями, нами поданы предложения по развитию добычи минеральных солей из Мертвого моря.

По инициативе майора Глена, депутата парламента, мы согласились объединить наши интересы в данном вопросе и просим это учесть. Мы считаем, что такое слияние превращает нижеподписавшихся в мощную группировку, которая без труда сумеет придти к принципиальному соглашению с полномочными властями.

Мы также подчеркиваем, что с удовольствием вступим в сотрудничество с любой заинтересованной стороной, пользующейся благожелательным отношением королевского правительства, хотя полагаем, что было бы лучше воздержаться от предпочтения всякой группе, носящей расовый или политический характер, поскольку развитие данной отрасли принесет пользу всей Палестине. Вместе с тем, по нашему мнению, следует посчитаться с претензиями Трансиордании, которая хочет иметь долю в предполагаемых доходах от предприятия.

Мы согласны с тем, что наша компания должна находиться под британским контролем, и примем все меры для обеспечения этой цели.

С глубоким почтением

"Палестинская компания по добыче минеральных солей".

Томас Г. Нортон, директор
У. Митлэнд Эдвардс
Г. Дуглас Генри.

Я согласен со всем вышесказанным и сделаю все от меня зависящее для получения согласия г-на Новомейского.

Т. Г. Таллок".

Итак, несмотря на все мои предупреждения и протесты, Таллок продолжал действовать за моей спиной и подкапываться под меня. 6 августа я получил от него телеграмму, а затем письменное разъяснение, в кото-

ром он признавал, что примкнул к Генри Нортону и всей его честной компании! Я позвонил Натану, рассказал ему об этом и попросил вместе со мною пойти на следующее утро в министерство колоний. Без долгих разговоров я предъявил Классону письмо Таллока. Своего мнения Классон не высказал, но из его слов я понял, что мой главный противник отнюдь не Нортон. Стало быть, есть еще один кандидат на концессию — наверное, тот самый анонимный и загадочный конкурент, о существовании которого Натан сообщил мне полгода назад.

Должен заметить, что вся эта атмосфера интриг и подозрений мне опротивела. Позволю себе привести дневниковые записи от 15—18 августа: "Я устал. Чувствую, что совсем ослаб. В чем дело? Может быть — старею?" Это было написано тридцать лет тому назад. Я решил немного передохнуть и съездить на несколько дней в Фонтенбло под Парижем к младшей сестре, проживавшей там со своим мужем доктором Мандельбергом. Я побывал и в Монтре в Швейцарии и вернулся в Лондон другим человеком, словно заново родился. Имелось еще одно обстоятельство, ободрившее меня: Натану наконец удалось дознаться, кем был мой анонимный соперник. Им оказался банкир Тотти. Средствами для постройки завода он располагал несомненно — и тем не менее с души у меня словно свалился камень: я был убежден, что в техническом отношении мой проект побивает все, что мог предложить Тотти. Теперь я был счастлив, что выстоял против всех попыток навязать мне Нортона и ему подобных. Однако Таллок не переменил своего отношения к делу. Более того: он отказывался встретиться со мною и отсылал по любому вопросу к майору Генри, назначенному, по-видимому, единственным "спикером" объединившейся группы.

И тут, пока я все еще пытался раздобыть дополнительные сведения о Тотти, всему делу пришел конец. Думаю, что Глен постоянной закулисной деятельностью добился своего: внезапно министерство

колоний пришло к выводу, что ни одно из поданных на конкурс предложений нельзя считать удовлетворительным, и следовательно, до конца декабря 1926 года должны быть представлены новые предложения. Стало быть, мне предстояло начинать все сначала!

Глава шестая

ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ

Теперь в состязании участвовали четыре группы: "британская", куда входили доктор Анни Хомер и инженер Бинкель и которую поддерживал банкир Тотти; "австралийская", то есть Майтлэнд Эдвардс с Дугласом Генри, которые оперировали старой турецкой концессией, но подали и новое прошение; "американская", иначе говоря, доктор Нортон; и, наконец, мы с Таллоком.

23 сентября 1926 года я вторично подал свое предыдущее предложение (октябрьское, 1925 г.), лишь добавив, что, "благодаря сведениям и опыту, приобретенным в ходе экспериментальной работы на Мертвом море за текущий год", я считаю, что "можно обойтись без первой стадии добычи минеральных солей и начать непосредственно со второго этапа, зафиксированного в моем проекте от 1925 года. Другими словами, по моему мнению, уже в первый год работы нам удастся добыть 10 000 тонн поташа и 300 тонн брома".

После подачи повторной просьбы в позиции моего компаньона Таллока произошел сдвиг. 26 сентября он меня внезапно известил, что считает недействительным свое письмо, которым я уполномочивался вести переговоры с правительством от его имени! Так как просьба от нашего имени уже была подана министерству колоний, заявление Таллока было сделано с заранее обдуманным намерением – это был удар в спину. Через два дня я встретился с Шекборо и показал ему присланное мне Таллоком извещение. Шекборо не на шутку рассердился и намекнул, что "объединившиеся" концессии без меня все равно не получат. Мне также показалось, что Шекборо собирается переговорить с Таллоком.

Тем временем было сделано пять попыток привлечь меня к сотрудничеству и с "британской" группой. Анни Хомер работала ассистенткой у профессора Додсона, который хорошо знал доктора Вейцмана и убедил его свести нас. 21 октября, придя в кабинет доктора Вейцмана, я застал там одного доктора Додсона – милого, сердечного человека. Выяснилось, что Анни Хомер с ее компаньоном Бинкелем предложили правительству не только высокие дивиденды с каждой тонны поташа, но и половину прибылей и пообещали в первом же году выпустить 125 тысяч тонн поташа (по сравнению с 10 тысячами тонн в моем предложении). Они также брались в течение пяти лет довести выпуск до миллиона тонн – в то время как я обещал 100 тысяч тонн через десять лет! На мой взгляд, это была пустая болтовня, но мысль о том, какое впечатление эти воздушные замки могут произвести на королевских представителей, повергла меня в уныние.

Однако в это время с Таллоком внезапно произошла полная метаморфоза. По-видимому, Шекборо его пристыдил, и теперь он был полон раскаяния. 23 октября я получил от него следующую телеграмму:

"Новомейскому отель "Рассель" Лондон

Прошу считать недействительным мое письмо от 14 октября. Не откажитесь поужинать со мной в клубе "Юнайтед Сервис" в понедельник в восемь часов и обсудить важные новости Таллок".

К этому он добавил и письмо, датированное тем же числом:

"Дорогой г-н Новомейский!

Я послал Вам телеграмму.

Надеюсь иметь удовольствие повидаться с Вами в понедельник, ввиду наличия у меня важных сведений относительно действий, которые собирается предпринять известное правительство в связи с концессией на минеральные залежи Мертвого моря. И ес-

ли мы не отреагируем определенным образом, это может отодвинуть осуществление наших надежд.

В соответствии с заключенным между нами соглашением я до сих пор не подписывал документа, отменяющего предложение, которое мы подали 30 октября минувшего года, а также сохранил в полной тайне его содержание.

Я лишь случайным образом расписался на том совместном письме министерству колоний, где говорилось, что я вместе с другими готов придти к объединению интересов, если этого желает правительство. Я сделал это, чтобы помочь секретарю по делам колоний придти к решению в ближайшем будущем и чтобы устранить некоторые препятствия на этом пути.

Преданный Вам
Т. Г. Таллок".

На встрече в понедельник Таллок имел смущенный и пристыженный вид. Я сказал, что нам лучше встретиться у моего адвоката, и по совету Натана согласился продолжать сотрудничество при условии, что Таллок подпишет два следующих документа:

"25 октября 1926 года

Дорогой г-н Новомейский,

Подтверждаю получение Вашего письма, присланного мне сегодня.

Я также обязуюсь немедленно предпринять все необходимое, дабы отмежеваться от любой третьей стороны и сообщить об этом разрыве министерству колоний и, кроме того, довести до сведения министерства, что, насколько это касается меня, все переговоры, связанные с искомой концессией, отныне будут вестись исключительно и только Вами.

С глубоким почтением
Т. Г. Таллок".

"25 октября 1926 года
Вице-секретарю по делам колоний
Министерству колоний

Уважаемые господа,

Считаю нужным довести до Вашего сведения, что я разорвал отношения со всякой третьей стороной, связанной с предложениями или переговорами по поводу минеральных богатств Мертвого моря, и что я продолжаю сотрудничать с г-ном Новомейским, который единственно вправе вести переговоры от нашего имени.

С глубоким почтением
Т. Г. Таллок".

Эта перемена в позиции Таллока сильно встревожила Глена, тем более что он узнал о поддержке, оказываемой моему проекту сэром Альфредом Мондом.

Инициатива переговоров с компанией Брюнера – Монда и на сей раз исходила от доктора Вейцмана. По его совету я обратился к Монду, и он пригласил меня к себе. Наша беседа продолжалась около часу, и в ней участвовал также Генри, его младший сын: Монд-отец надеялся, что он воспримет его страстную заинтересованность в судьбах Эрец-Исраэль. В заключение нашего разговора Монд сказал, что передаст мой проект полковнику Поллиту, главе технического отдела компании Брюнера – Монда, для тщательного изучения. В тот же день я встретился с Поллитом в присутствии Генри Монда, а также ведущего химика компании Грегори. После продолжительного совещания с ними ко мне вернулась уверенность, и я написал Монду следующее:

"27 октября 1926 года

Дорогой сэр Альфред,

После нашей утренней встречи я нашел в своем номере в отеле письмо майора Глена. Прилагаю копию письма.

Я сообщил ему, что сегодня не смогу его повидать, и он ответил, что отложит поездку и придет ко мне завтра.

После обеда мой адвокат получил письмо от королевских представителей, которое также прилагается. На мой взгляд, – причем мой юридический консультант тоже согласен со мной, – письмо преследует цель ослабить мою позицию и побудить разных претендентов объединиться и подать совместное предложение, чтобы никто не остался в обиде и не поднял этого вопроса в прессе и в парламенте.

Вы, наверное, согласитесь, что теперь дело дошло до критической точки, и я был бы Вам признателен, если бы Вы помогли мне советом и особенно, если б у Вас нашлось время для этого в течение завтрашнего дня – до моего свидания с майором Гленом.

Преданный Вам
М. Новомейский".

На следующий день я нашел у себя на столе два письма. Секретарь Монда писал мне, что "сэр Альфред считает, исходя из Ваших бесед с полковником Поллитом, что Вам не стоит в данную минуту встречаться с майором Гленом". Еще более обнадеживающим оказалось второе письмо – от полковника Поллита. "Вы, конечно, понимаете, – писал он, – что нам необходимо более основательно изучить Ваш проект, а это займет около недели". Но далее следовало: "Во время нашей беседы Вы упомянули, что есть стороны, заинтересованные в Вашем проекте. Мы надеемся, что пока мы изучаем вопрос, Вы отсрочите всякие переговоры с упомянутыми сторонами и предупредите нас, если найдете это условие неудобным для себя".

"Другие стороны" продолжали за мной ухаживать. Меня навестил Глен и в течение битых двух часов пытался уговорить присоединиться к его группе. Он предложил мне право решающего голоса в группе и затем зафиксировал это предложение на бумаге. Не обращая внимания на это, я погрузился в состав-

ление меморандума Брюнеру–Монду. К памятной записке я приложил в копиях документы, поданные королевским представителям. 1 ноября я вручил меморандум с приложениями работникам компании Брюнера – Монда, но и после этого должен был заниматься дополнительными разъяснениями и перепиской относительно деталей моего проекта. Я участвовал в многочасовых совещаниях с Грегори и Генри Мондом, работал допоздна, но видел, что мои усилия приносят плоды. 25 ноября я записал в дневник: "Работали весь день и обедали у них в конторе. Они безусловно удовлетворены. Грегори сказал мне, что будет рекомендовать Брюнеру–Монду войти со мной в компанию. Он надеется, что решение по этому вопросу они примут до конца следующей недели". Легко представить себе, как я был взволнован и взбудоражен. Тем временем пришло письмо от Тотти – он просил придти к нему побеседовать. Я, однако, ответил по телефону, что буду рад видеть его у себя, в отеле "Рассель".

Пришел ко мне и профессор Додсон в сопровождении Анни Хомер. Она великодушно предложила мне директорский пост, но в ответ я повторил то, что сказал Таллоку несколько лет тому назад: "Должности меня не интересуют. Я готов разговаривать о сотрудничестве, но лишь при условии, что контроль сохранится за моей группой". Услыхав это, г-жа Хомер вскочила: "Пойдемте, профессор, здесь нам нечего делать!" Додсон старался сгладить впечатление от этой сцены, но не преуспел. На том дело и кончилось.

29 ноября я снова послал Грегори цифры, которые он просил для завершения своих расчетов, а вечером поужинал в его обществе, и наша беседа затянулась заполночь. На следующий день я написал Монду:

"30 ноября 1926 года

Дорогой сэр Альфред,

В связи с нашей беседой 27 октября я вручил

специалистам компании Брюнер–Монд подготовленный мною технический отчет, а также другие документы и представил дополнительные сведения и данные, устно и письменно, на различных совещаниях, состоявшихся в конторе компании.

Мне сказали, что техническое изучение проекта близится к завершению, ввиду того что справочный материал, который находится в руках специалистов, достаточен для определения их позиции относительно моего предложения.

Из-за известных Вам обстоятельств, а также ввиду некоторых новых событий, имевших место после нашего последнего свидания, я нахожу, что любая отсрочка в принятии решения может повредить моему делу. Поэтому буду Вам благодарен за возможность скорой встречи с Вами и с удовольствием приду к Вам, если Вы будете столь любезны назначить удобное для Вас время.

С глубоким почтением
М. Новомейский".

Я был вынужден форсировать события, потому что на меня нажимали другие. Эдвардс и Генри из австралийской группы искали со мною встречи. Глен писал мне уже дважды. Снова обратилась ко мне и госпожа Хомер (при посредничестве некоей Николас, приятельницы доктора Вейцмана и его жены). Несколько раз звонил доктор Нортон. Словом, я с нетерпением ждал ответа Монда – но два дня прошло, а вестей не было. Лишь 3 декабря пришло, наконец, долгожданное письмо.

"Дорогой друг Новомейский,

Я получил Ваше письмо от 30 ноября. Специалисты нашей компании изучили Ваш проект, и мы также обсудили вопрос о нашем участии в нем.

Должен Вам, к сожалению, сообщить, что проект не кажется нам в такой мере перспективным, чтобы это

оправдало наше участие в нем на данном этапе, тем более что мы сейчас заняты другими, очень срочными и важными делами. Поэтому, само собой разумеется, Вы вправе войти в контакт с любой другой группой или поступить, как считаете нужным.

С глубоким почтением
Альфред Монд".

Очередная запись в моем дневнике гласила: "От Монда пришло письмо. Новый удар. Чрезвычайно подавлен".

После обеда ко мне пришел Генри Монд. Он рассказал, что весь персонал компании занят сейчас предстоящим слиянием с компанией Нобеля и двумя другими фирмами. Отклонение моего проекта было для меня тяжелейшим ударом, тем более что все как будто продвигалось гладко. Теперь же не только рухнули надежды на участие компании Брюнер–Монд, но моя неудача вдобавок могла стать достоянием широкой гласности. Тот факт, что крупная фирма, специализировавшаяся на химическом производстве и возглавляемая известным сионистом, отказалась участвовать в моем проекте, несомненно, произведет отрицательное впечатление на всех. Поэтому, поразмыслив, я написал Монду:

"4 декабря 1926 года

Дорогой сэр Альфред,

Благодарю за Ваше письмо от 1 числа сего месяца.

Естественно, я очень сожалею, что Ваша компания не видит пока возможности участвовать в моем проекте. Прошу принять мою признательность за доброе отношение с Вашей стороны и со стороны специалистов фирмы и за ту заинтересованность, которую проявили химики и инженеры, не жалевшие сил и времени на изучение проекта и его многочисленных сложных подробностей. Со своей стороны, я предоставил в их неограниченное распоряжение все свои материалы.

Мне казалось, что мой проект удовлетворял их как с химической и инженерной точки зрения, так и в коммерческом отношении. Отсюда глубина моего разочарования, вызванного Вашим письмом, ибо Ваше участие и сотрудничество Вашей фирмы в данном предприятии важны для меня не только в деловом плане, но и в чисто личном.

Вы, вероятно, помните, что несколько лет тому назад компания получила предложение насчет добычи минералов из Мертвого моря от майора Таллока, однако представленных им материалов оказалось недостаточно для ведения серьезных переговоров. Мне кажется, что сегодня положение иное. Факт отказа Вашей фирмы от участия в проекте получит, конечно, огласку, и я не преувеличу, сказав, что это повлияет на результат моих усилий заинтересовать других вкладчиков. И если верно мое впечатление, что итоги технического и коммерческого изучения проекта оказались удовлетворительными, то для меня очень важно в моральном отношении и в связи с тем, как это скажется на переговорах в их теперешней, решающей стадии, чтобы Вы нашли возможным мне написать и отметить, что причины, по которым Ваша фирма вынуждена отказаться от сотрудничества со мною, коренятся отнюдь не в сомнении по поводу технических и коммерческих перспектив моего проекта.

С глубоким почтением
М. Новомейский".

На это мне ответил секретарь Монда:

"Сэр Альфред просил меня подчеркнуть, что ему нечего добавить к письму от 1 числа сего месяца".

Однако я не смирился и написал снова:

"7 декабря 1926 года

Дорогой сэр Альфред,

Должен признаться, что письмо Вашего секретаря от 6 числа меня разочаровало.

В своем предыдущем письме я указал, что у меня есть основание полагать, что мой проект найден Вашими специалистами вполне удовлетворительным после длительного и подробного изучения как его технической стороны, так и коммерческой; более того — даже самые осторожные расчеты позволяют считать его базой для создания предприятия крупных размеров, со здоровой экономикой и прибыльностью. Ваша фирма отказалась участвовать в нем только потому, что слишком загружена другими делами. Однако из Вашего письма можно сделать вывод, что Вы держитесь отрицательного мнения о самом проекте, и так это истолковано Вашими коллегами-финансистами, хотя я уверен, что этого Вы вовсе не желали. Если я верно предполагаю, что Ваша оценка проекта не является отрицательной, то буду Вам крайне благодарен, если Вы отзовете свое предыдущее письмо или представите в мое распоряжение другое письмо, которое рассеет ошибочное впечатление.

С глубоким почтением
М. Новомейский".

Только после этого я добился того незначительного удовлетворения, которое, во всяком случае, заслужил. Монд согласился — хотя и неохотно, — чтобы его фирма передала мне копию технического отчета в обмен на письменное обязательство с моей стороны считать его представленным мне только в личное пользование, в качестве доказательства, что Брюнер — Монд и К° отклоняют мой проект не из-за его технических или коммерческих изъянов.

С тех пор прошло тридцать лет. Компании Брюнера—Монда не существует более. Поэтому я позволю себе отступление от буквы вышеупомянутого обязательства и приведу несколько пунктов из итоговой части отчета, содержавшего технический анализ проекта и ряд выводов:

Выводы

1. Добыча хлористого калия из Мертвого моря технически реальна. Правда, наличие многочисленных солей в его водах вынуждает несколько усложнить контроль за ходом производственного процесса, чтобы обеспечить выход искомого продукта, тем более что не хватает точных данных об их пропорциях в растворе. Если эта информация будет получена, наладить процесс не составит особого труда.

2. Что касается коммерческих аспектов:

исходя из предположения, что:

а. палестинская администрация согласится построить железнодорожную линию длиною 100 км от Мертвого моря до Бет-Шеана стоимостью около 560 000 ф. ст. и ограничится доходом в 7% от этой суммы, гарантированным производителями поташа на Мертвом море;

б. реализация поташа будет производиться по цене ниже на 1 ф. ст. за тонну, чем нынешняя цена европейского поташа – включая издержки страхования и стоимость перевозки;

в. 10% реализационной прибыли будут отчисляться палестинской администрации в качестве дивидендов;

г. будет построен завод с объемом годового производства в 100 000 тонн 80-процентного поташа, который по осторожной смете потребует инвестиции, самое большее, 500 000 ф. ст.;

д. все это без учета реализации любой другой продукции вроде поваренной соли или брома, что, по словам г-на Новомейского, может оказаться рентабельным после ввода в действие электрических сетей (в Иордании) по плану электрификации Рутенберга. (В соответствии с этим планом предполагается получить энергию, значительно превосходящую потребности всей Палестины в ближайшие годы);

в таком случае:

доход от инвестиции 500 000 ф. ст. составит от 31% до 44% в год, в соответствии с ценами железно-

дорожных и морских перевозок и при условии, что вся продукция будет реализовываться в Англии.

Если же будут достигнуты оптимальные условия, то есть если стоимость железнодорожных и морских перевозок окажется минимальной, исходя из предположения, что 20% продукции будут реализовываться в средиземноморских портах, а прочее в Англии, доход составит 48% в год *.

Лопнули все мои надежды, я чувствовал себя покинутым и одиноким. Единственное, что у меня осталось, был контакт с группой Глена. В конце концов, они мне все-таки предлагали директорский пост. Я написал Глену записку, прося его придти в ближайший понедельник. Затем я отправился к Джеймсу Ротшильду и застал его в постели, однако, несмотря на болезнь, он не отпускал меня два часа, расспрашивая о положении моих дел. Он считал, что на поддержку европейских и американских евреев надеяться нечего. Лучшее, что я могу сделать, это присоединиться к австралийской группе. Но Глен не появился в урочный час. А когда я зашел в контору Монда забрать представленные мною документы, его секретарь ошеломил меня известием: Монд написал Глену и сообщил, что компания Брюнера—Монда решила отвергнуть мой проект! Вот что крылось за намеком в письме Монда насчет моего права "войти в контакт с любой другой группой". И все-таки мне кажется, что письмо к Глену было совершенно излишним и окончательно выбило у меня почву из-под ног.

Потом мне пришло в голову, что Мондом, возможно, руководили политические мотивы. А может быть, свою роль сыграл тот факт, что сэр Иехошуа Стэмп, против происков которого в пользу аме-

---

* Прогноз был основан на предположении, что в производстве будет использована только известная и апробированная технология.

риканской группы Монд в свое время выступил, теперь должен был войти в объединенную компанию "Государственных химических производств" и занять в ней директорский пост?

8 декабря я возобновил переговоры с австралийской группой. Их адвокат (Саломон) сделал мне предложение, но уже совершенно другого характера, чем то, что я получил ранее от Глена. Сейчас ни слова не говорилось об обещанном мне решающем голосе. С другой стороны, мне предлагали в деле одну треть, без необходимости внести хотя бы копейку. До сих пор я полагал, что достаточными капиталами располагает британская группа, связанная с банкиром Тотти. Теперь казалось, что и австралийцы не нуждаются в деньгах. Но зачем же они хотят меня привлечь на столь выгодных условиях?

14 декабря я встретился с Эдвардсом и Генри и поднял основной вопрос, то есть вопрос решающего голоса, но согласия не добился. Тогда я сообщил Саломону, что пока его доверители не примут этого условия, нет смысла проводить новые встречи. Саломон вел дело очень энергично и чуть ли не каждый день приходил ко мне или звонил. 20 декабря я снова встретился — у него в конторе — с Эдвардсом и Генри, и Генри мое условие принял, но назавтра выяснилось, что Эдвардс заупрямился и прямо заявил, что не согласится передать в мои руки контроль за предприятием.

22 декабря я наконец узнал от Генри, почему они не потребовали от меня инвестиции капитала: они тоже были связаны с финансистом, банкиром венгерского происхождения Шервази, президентом британской колониальной корпорации, занимавшей важное положение в лондонском Сити. Эта новость заставила меня пересмотреть шансы австралийцев. Кроме того, я узнал от Генри Монда, что его отец встретился с Шервази и разговаривал с ним: ясно, что и это не укрепило моей позиции в отношениях с австралийской группой!

Тем временем последний срок подачи предложений приближался. Австралийцы нуждались в моих знаниях и техническом опыте и очень хотели заполучить меня. Но я не отступал ни на иоту от своего основного условия: решающий голос. 29 декабря я почти весь день пробыл в конторе у Натана. В 11 часов вечера мы, наконец, пришли к соглашению и сформулировали заявление королевским представителям. Главным пунктом в этом соглашении было то, что контроль над предприятием будет находиться в руках моей группы, а австралийцы, кроме своей части акций, получат определенную компенсацию наличными.

Однако, невзирая на эту договоренность, они в конечном счете подали отдельное предложение, добавив к нему лишь следующее замечание: "Данное предложение следует рассматривать вкупе с предложением гг. Новомейского и Таллока".

Новый свет на предшествовавшие этому соглашению события пролило письмо Шервази, показанное мне потом Генри: из этого письма вытекало, что Шервази соглашался поддержать австралийцев только на определенном условии, и это условие звучало: их проект должен получить одобрение сэра Альфреда Монда! Потому-то они и ухаживали за мною: они знали, что специалисты Монда одобрили мой проект, и теперь нуждались в этом проекте, чтобы удовлетворить Шервази.

С другой стороны, с течением времени я узнал, что слухи, распространявшиеся Гленом о том, что министерство колоний хочет слияния предложений, были неверны. Из различных замечаний Ормсби Гора (секретаря по делам колоний) и сэра Сэмюэля Вильсона (его заместителя) я понял, что правительство вовсе не желало дискриминации одиночек в пользу групп, а собиралось оценить каждое предложение в соответствии с его достоинствами.

После подписания соглашения с австралийской группой продолжались еще переговоры о подробностях. Сумма компенсаций была установлена в

размере 8 тысяч фунтов, но и тут Эдвардс заупрямился и запросил больше. Известие об этом застало меня по пути в Париж. Я ответил категорическим отказом. В начале апреля я зашел в министерство колоний узнать, есть ли какие-нибудь новости, так как в прессе появились намеки на этот счет, и попутно отметил, что более не считаю себя связанным с Генри, Эдвардсом и их группой.

– Значит, вы с Таллоком выступаете сейчас в одиночку? – спросил Гардинг, недавно назначенный вместо Вернона начальником палестинского отдела.

– Да, – сказал я, – мы с ним теперь одиночки. – И подумал про себя, что он даже не представляет себе, до чего мы одиноки. Он, однако, был чрезвычайно любезен и мил.

Этот разговор состоялся 4 апреля. На следующий день, возвратившись после завтрака к себе в номер, я нашел на столе продолговатый коричневый конверт с британским правительственным грифом. То было письмо, ради которого я трудился целые семь лет. И тут я должен рассказать одну странную подробность: незадолго до того я выехал из отеля "Рассель", где постоянно жил, бывая в Лондоне, и переселился в маленькую частную квартиру в Вэсткенсингтонском квартале. К этому меня побудил брат Найдича в Париже, человек суеверный, – он считал, что успех или неуспех человека часто зависят от его местожительства; он верил, что есть дома, приносящие счастье своим жильцам, и другие, где всякий, кто в них проживает, обречен на беды и несчастья.

– Пока вы будете жить в этом отеле, – бывало, говорил он мне, – вам не будет везти с концессией. Удивляюсь, как это вы сами еще не заметили. Вам надо подыскать себе другое жилье.

И вот не прошло и шести недель с тех пор, как я нашел себе новый кров, а в моей судьбе произошел уже перелом к лучшему. Найдич, конечно, усмотрел в этом неопровержимое доказательство своей теории. Истина, однако, состоит в том, что я съехал из отеля

по совершенно другой причине: я собирался жениться, и моей избранницей была племянница суеверного советчика. Но ему я признался в этом значительно позже. Что касается письма, то вот оно:

"От министерства колоний
г-ну Новомейскому
9 апреля 1927 года

Уважаемый г-н Новомейский,

Речь идет о концессии на добычу минеральных солей из вод Мертвого моря. Соответствующая просьба от Вашего имени и от имени майора Таллока была подана королевским представителям по делам колоний г-ном Гербертом Оппенгеймером и г-ном Натаном 31 декабря прошлого года. Секретарь по делам колоний г-н Эймери распорядился известить Вас, что связался по этому вопросу с верховным комиссаром Палестины и что лорд Плумер выразил принципиальное согласие на выдачу концессии Вам и майору Таллоку, исходя из предположения, что будут согласованы должные условия и что Вы представите удовлетворительные финансовые гарантии.

Королевские представители уполномочены вести переговоры с Вами и майором Таллоком по поводу контракта, но возможно, что им не удастся приступить к этому немедленно, так как сначала надо получить рекомендации верховного комиссара относительно условий, которые должны быть включены в контракт.

Ваш преданный слуга
А. Н. Гардинг".

Итак, первый — и главный — этап борьбы завершился нашей победой. Однако впереди у нас были еще два тяжелейших этапа: необходимо было раздобыть капитал, достаточный для того, чтобы правительство Великобритании согласилось подписать со мною контракт на концессию; и предстояло еще отбить атаку оппозиции в парламенте, которую мои разочарованные противники предприняли в союзе с врагами сионизма.

Глава седьмая

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

После того как я узнал, что австралийскую группу финансирует банкир Шервази и что он придает решающее значение мнению Монда, я начал опасаться, как бы он не сделал нежелательных для меня выводов из того факта, что компания Брюнера–Монда отвергла мой проект. Я еще раз обратился к Монду с просьбой снабдить меня письмом с изложением причин отказа, дабы не дискредитировать мой проект в глазах прочих финансистов. Однако Монд, как и ранее, на это не согласился. Во всяком случае, такова была его официальная позиция; но впоследствии я узнал, что за кулисами он действовал в совершенно ином духе – как добрый сионист и помощник. Уже в начале марта 1927 года он написал Шервази следующее:

"2 марта 1927 года

Дорогой Шервази,

Мне сообщили, что к Вам обратился г-н Новомейский по поводу концессии на эксплуатацию природных богатств Мертвого моря.

Работники нашей компании изучили его проект, и этот проект их заинтересовал, так что если в конечном счете они не нашли возможным рекомендовать администрации принять участие в предприятии, то это произошло лишь по той причине, что компания загружена сейчас другими делами. При надлежащем техническом руководстве и должном согласовании коммерческих условий проект обещает быть успешным.

Что касается коммерческой стороны, то информацию об этом Вы сумеете получить самостоятельно.

О г-не Новомейском я лично самого лучшего мнения. Это очень честный и весьма способный человек, всесе-

ло посвятивший себя делу. То, что моя компания не участвует в его проекте, никоим образом не должно сказаться на его репутации.

С глубоким почтением
Альфред Монд".

Монд с похвалой отозвался о моем проекте также в беседе с секретарем по делам колоний Эймери и сказал ему, что предприятие на Мертвом море может избавить Великобританию от зависимости в немецком поташе. Доктор Идер, который сообщил мне об этом (18 марта), писал, что Монд даже добавил, что теперь он готов участвовать в предприятии Новомейского.

Подобной победы я не ожидал и начал побаиваться ее последствий. Хотя я нуждался в капитале, я никак не собирался войти в компанию с таким гигантом, как "Государственные химические производства", который меня проглотил бы, даже не заметив этого. А пока я размышлял, как мне теперь быть, компания Монда уже приступила к действиям. Генри Монду поручили вести со мною переговоры, и мне уже был представлен черновик контракта между "Государственными химическими производствами" и "Палестинским рудным синдикатом", где мне предлагались пост генерального директора и право назначить по собственному усмотрению одного из членов директорского совета. Компания "Государственные химические производства" была готова обеспечить весь необходимый капитал, но взамен требовала передачи ей почти полного контроля над предприятием.

Все это происходило в марте 1927 года, еще до того, как я получил решающее письмо министерства колоний о готовности правительства дать концессию нашей группе. Естественно, что это письмо нельзя было сохранить в секрете. Вскоре пресса набросилась на эту новость – у меня хранятся 53 вырезки из газет за 1927 год, – но в большинстве статей сообщалось, что

проект освоения Мертвого моря – мысль авантюрная, романтическое предложение, которое поглотит колоссальные средства и от которого не стоит ждать проку.

Итак, я должен был вести себя осмотрительно, невзирая на победу. Я решил посоветоваться с представителями Сионистской организации и в начале мая за обедом в ресторане Каттенера изложил перед ними условия, поставленные Мондом. Во встрече участвовали доктор Вейцман, доктор Гальперн (в то время – генеральный директор "Еврейского колонизационного фонда"), а также доктор Файвел и Найдич (они тоже входили в состав руководства фондом). Хотя четкого решения принято не было, мы согласились сформулировать позицию фонда следующим образом:

"Стороны, представленные администрацией "Еврейского колонизационного фонда", не видят другого выхода, кроме принятия условий крупной финансово-промышленной компании (в том, что касается решающего голоса). Г-ну Новомейскому следует вести переговоры, чтобы придти к соглашению на самых выгодных, с его точки зрения, условиях. Он должен приложить все усилия для обеспечения еврейских интересов, особенно трудовых. Ему надлежит также изучить перспективы участия еврейских держателей акций "Палестинского рудного синдиката" в правлении компании, которая будет основана для реализации концессии".

Надо учесть, что Эрец-Исраэль в то время находилась в тяжелом экономическом положении. После ухода Герберта Сэмюэля с поста верховного комиссара (в 1925 году) усилились антисионистские тенденции английской администрации. Алия сократилась, и число покинувших страну превысило в том году число новоприбывших. Такое крупномасштабное предприятие, как завод на Мертвом море, могло оживить экономическую деятельность и внести существенный вклад в ликвидацию кризиса. Поэтому сионистские лидеры не хотели осложнять проведение проекта в жизнь, но вместе с тем уповали, что я как-нибудь

сумею предотвратить переход контроля над предприятием в руки "Государственных химических производств" и во всяком случае смогу ограничить этот контроль сферой экономических и коммерческих вопросов.

В августе 1927 года я написал в "Палестинское экономическое общество", сообщив об условиях участия Монда, и спросил, согласятся ли они участвовать на подобных условиях в моей компании. В январе 1928 года пришел ответ, который я и предвидел: американские сионисты не собирались участвовать в фирме, где решающий голос будет принадлежать организации, не заинтересованной в развитии Эрец-Исраэль.

Тем временем переговоры между мною и Мондом продолжались. Предложение, сформулированное его сыном Генри, сводилось к следующему: один из специалистов будет послан в Эрец-Исраэль, чтобы окончательно проверить все на месте. Если его рекомендации окажутся положительными, зарегистрируют акционерное общество с капиталом 175 тысяч фунтов стерлингов в обычных акциях. Из этой суммы мы с Таллоком получим акций на 50 тысяч фунтов и еще 20 тысяч фунтов наличными. Остальные акции приобретет компания "Государственных химических производств". Если дела завода пойдут на лад, "Химические производства" будут вправе откупить и наши акции, но уже за общую сумму 75 тысяч фунтов либо основать совершенно новую фирму. В правление акционерного общества войдут "г-н М. А. Новомейский и один представитель по его рекомендации".

Этого предложения я не принял, указав, что мне уже предлагались лучшие условия. Казначей "Химических производств" на это ответил, что если я подразумевал своим замечанием предложение, сделанное мне Шервази, то мне следует иметь в виду, что в этом предложении участвовали они сами. Так подтвердились слова Оппенхеймера, который давно говорил мне, что Шервази действует фактически в интересах Монда.

Так или иначе, под конец мне предложили более выгодные условия: капитал нового акционерного общества составит 335 тысяч фунтов стерлингов, из которых мы с Таллоком получим 30 процентов (то есть около 100 тысяч фунтов). Но и теперь ставилось условие, что через два года "Химические производства" будут вправе откупить у нас эти акции с доплатой 50 процентов их номинальной стоимости и рассчитаться наличными либо акциями "Государственных химических производств" "по их средней рыночной стоимости". И теперь тоже само собой разумелось, что решающий голос будет принадлежать Монду.

Мое упорное неприятие этих предложений и желание создать палестинскую поташную компанию, а не палестинский филиал "Государственных химических производств" в конце концов рассердили представителей Монда. "Мне кажется, – писал Генри Монд моему адвокату Натану, – что спор идет по поводу одного важного пункта: г-н Новомейский настаивает, чтобы ему безвозмездно передали 40% компании. Попытайтесь, пожалуйста, ему объяснить, что о подобных условиях не может быть и речи. Это не мое личное мнение, и нечего полагать, будто совет "Государственных химических производств" согласится уплатить за концессию такую огромную сумму. 20 или 25 процентов считаются прекрасными условиями. С большим трудом мне удалось уговорить совет предложить 28 процентов, но 40 он нигде не получит, и это требование только задержит начало работы предприятия".

Я, понятно, настаивал на 40 процентах акций, потому что считал, что это вместе с постом генерального директора, а также правом назначить своего человека в директорский совет позволит мне влиять на ход дел в компании. Однако переговоры зашли в тупик. Я узнал, что Монд с сыном собираются в Европу до конца сентября, и решил тоже взять отпуск. Была у меня и другая причина: я покончил с холостяцким образом жизни и в июне женился. Три года тому назад я тайно обручился с дочерью Найдичей – потому-то я

так часто и ездил в Париж, – но свадьба наша все время откладывалась из-за моих постоянных разъездов между Лондоном и Эрец-Исраэль, а также неопределенного положения моих дел. После перелома, произошедшего в апреле, больше не было оснований для отсрочки. В Портсмуте состоялась скромная церемония бракосочетания, после чего мы несколько недель провели в Швейцарии и вернулись в Лондон только 11 сентября, незадолго до появления Мондов.

Переговоры возобновились, продолжились встречи и переписка. В ноябре мы преодолели большую часть трудностей, но еще оставался 8-й параграф чернового контракта, где шла речь о "личном юридическом представителе", который займет мой пост в правлении в случае моей смерти и получит все закрепленные за мною права. Натан настаивал на четкой формулировке того, что эти права перейдут к "личному юридическому представителю, а также к доверенным лицам" Новомейского, причем имелись в виду не мои наследники, а представители Сионистской организации. Монд решительно выступал против этого, так как не хотел, чтобы во главе акционерного общества оказался человек, представляющий политическую организацию.

Только 1 декабря было найдено решение и в этом пункте. 7 декабря Натан отправил Монду окончательный текст контракта, и, полагая, что мы наконец подошли к финалу, я написал на следующий день секретарю Монда. Я обращал его внимание на три пункта, которым придавал особую важность. Во-первых, Монд должен был подписать письмо, гарантирующее использование на предприятии еврейских рабочих рук. Во-вторых, следовало определить положение майора Таллока в компании и обеспечить ему достойное место работы в области транспорта, что являлось его специальностью. В-третьих, нужно было четко сформулировать вышеупомянутый 8-й параграф, иначе говоря – права моего преемника на посту генерального директора. Каково же было мое изумление,

когда назавтра Натан сообщил мне, что получил официальное письмо от Морриса, адвоката "Государственных химических производств", с уведомлением о прекращении переговоров!

Сначала я решил, что это какое-то недоразумение, и обратился к Генри Монду с частным письмом. Однако назавтра я получил следующий ответ:

"9 декабря 1927 года
По вопросу концессии на эксплуатацию Мертвого моря

Дорогой г-н Новомейский,
Я получил Ваше письмо от 8 декабря.

Что касается его первого абзаца, то Вы ошибаетесь. Я обещал Вам, что сэр Альфред Монд составит письмо в духе подготовленного Вами черновика, но я никак не мог себе представить, что Вы считаете, будто сэр Альфред согласится с каждой буквой текста, написанного другим человеком.

Что касается второго поднятого Вами вопроса, то есть должности майора Таллока, – я убежден, что мы смогли бы что-нибудь для него сделать, если бы только пришли к согласию по всем остальным вопросам. Однако, хотя я и обещал Вам, что мы отнесемся к нему доброжелательно, я вам ясно сказал, что его назначение не является частью контракта.

По поводу третьего пункта мне остается лишь отослать Вас к письму г-на Морриса от вчерашнего числа, которое подводит окончательный итог делу. Вместе с тем отпадают, в сущности, и остальные пункты Вашего письма.

С глубоким почтением
Г. Монд".

Причины, приведшие к такому исходу, коренились, по сути дела, в том, что разделяло меня и Монда с сыном в нашем отношении к сионизму. Монд действовал прежде всего как предприниматель и лишь затем

как сионист, в то время как я превыше всего ставил сионизм. Генри Монд, с которым я встречался неоднократно, тоже никак не мог понять причину моего упрямства. Ведь вот же предлагают мне акции на сумму 100 тысяч фунтов плюс 20 тысяч наличными, и пост генерального директора, и два места в правлении, и покровительство одной из крупнейших фирм химической промышленности – разве это не великолепная возможность для человека, которого еще вчера никто не знал и который ничего не вносит в дело, кроме своей идеи, осуществление которой связано с различными практическими трудностями? Разве я не понимаю, спросил он у меня как-то, до какой степени мне повезло? Так чего же, в таком случае, мне еще нужно? Задумываюсь ли я вообще о будущности моих детей?

Во время этой беседы, которую я помню по сей день, я объяснил ему, что дело тут не в личных интересах: я хочу обеспечить место в правлении не только для себя, но и для представителя Сионистской организации, а свой пост закрепить за Сионистской организацией и после моей смерти.

– Значит, вы не полагаетесь на моего отца, – вспылил Генри Монд, – и боитесь, что он не позаботится об интересах сионизма?

– Я не сомневаюсь в преданности сэра Альфреда Монда делу сионизма, – отвечал я, – и в его способности постоять за свои убеждения. Однако все мы смертны. Когда-нибудь вашего отца не станет, а что будет делать после него его сын, этого мы не знаем.

Генри Монд, не обидевшись на мою откровенность, показал на председательское кресло (мы беседовали в зале заседаний фирмы) и с чувством произнес:

– Когда горестный час придет, я надеюсь занять это кресло и обещаю вам, что последую по стопам отца.

Тем не менее под конец разговора он согласился повлиять на отца, чтобы тот составил письмо по поводу использования еврейской рабочей силы и присоединил его в качестве приложения к нашему контракту.

Договорились мы и о тексте, как об этом уже было упомянуто выше. Тут я должен отметить, что Генри Монд свое слово сдержал и после смерти отца (в 1930 году) оставался верен интересам еврейского народа. Я помню его резкую речь в палате лордов в 1937 году, когда он подверг критике рекомендации королевской комиссии по Эрец-Исраэль. В 1935 году он посетил страну и заехал на предприятия Мертвого моря. Он остался ночевать у меня, и мы долго беседовали о новом проекте использования минеральных солей для производства определенных химических смесей. В 1949 году я плыл из Нью-Йорка в Англию и на пароходе встретил вдову Генри Монда. Она везла гроб с телом своего усопшего супруга.

Глава восьмая

СУДЬБА КОНЦЕССИИ ОБСУЖДАЕТСЯ В ПАРЛАМЕНТЕ

Пресса начала допекать меня своим вниманием. За мною бегали репортеры, добиваясь интервью. Некоторые заявлялись прямо на квартиру, и одному ловкому корреспонденту удалось втащить в мой дом треногу с фотоаппаратом. Однако его снимок не удостоился публикации – репортер проник через черный ход и попал в ванную комнату, где застал меня в костюме Адама. Так или иначе, газеты усиленно распространялись о "сказочных богатствах" Мертвого моря, и вскоре вопрос о концессии на использование этих богатств был поднят в английской палате общин.

Привожу отрывок из официального отчета о заседании парламента 30 ноября 1927 года.

"Минеральные соли Мертвого моря (концессия). Полковник Говард Бьюри запросил главу правительства: намерен ли тот, учитывая значение солей Мертвого моря для Британской империи, предпринять меры, чтобы контроль над концессией оставался в английских руках, фирма была британской, а ее президент являлся бы гражданином Великобритании? Или, может быть, правительство собирается взять компанию под свой контроль путем приобретения ее акций, как оно поступило в свое время с Англо-Иранской нефтяной компанией?

Он также спросил вице-секретаря по делам колоний, поданы ли ему заявки на концессию и собирается ли он отдать предпочтение одному из претендентов или их группе.

Вице-секретарь по делам колоний (м-р Ормсби Гор): "Мой уважаемый друг просит меня ответить на

его вопросы. Нами получены четыре предложения, и принципиально решено выдать концессию на основании предложения майора Таллока и г-на Новомейского с предпосылкой, что с ними будет достигнуто соглашение по поводу соответствующих условий и что они представят удовлетворительные денежные гарантии. Вопрос еще обсуждается, и пока рано говорить о том, каким будет содержание концессии по пунктам к моменту ее утверждения. Однако не было сделано никакого предложения обеспечить королевскому правительству контроль над концессионной компанией с помощью приобретения ее акций".

Полковник Говард Бьюри: "Отдает ли себе отчет уважаемый коллега в огромном значении этой концессии? Ведь залежи одного только поташа стоят сегодня 14 миллиардов фунтов стерлингов. До сих пор монополия на этот продукт находилась в руках Германии: не обсудит ли правительство, учитывая важность поташа для империи, сохранение за собой контроля над ним?"

Полковник Веджвуд: "Разумно, чтобы при таком положении вещей правительству принадлежала доля в предприятии, подобно тому как оно имеет долю в Англо-Иранской нефтяной компании! Разве у правительства имеется какая-нибудь причина воздержаться от финансового участия в этом деле?"

М-р Ормсби Гор: "Вопрос обсуждается, однако, как бы ни оценивались минеральные соли Мертвого моря, их надо сначала добыть и реализовать, а поэтому речь идет об эксперименте, связанном с финансовым риском, и я не считаю, что было бы разумно требовать от английского налогоплательщика вкладывать деньги в подобное предприятие. Во всяком случае, на данной стадии".

М-р Скэлтон: "Соизволит ли уважаемый сэр проследить за тем, чтобы концессия — независимо от своего характера — была выдана на ограниченный срок?"

М-р Ормсби Гор: "Любая концессия содержит пункты относительно условий ее расширения и никоим образом не является бессрочной".

Подобные же вещи были сказаны в верхней палате лордом Излингтоном, который потребовал изъять вопрос о концессии из компетенции министерства колоний и передать, ввиду его важности, в ведение всего кабинета. Лорд Лоуэт, отвечавший от имени правительства, сказал, что нет еще определенных решений и переговоры об условиях концессии продолжаются.

"Да будет позволено мне заметить, – добавил он, – что когда речь идет о выдаче концессии, самый важный вопрос – способна ли группа, которая эту концессию получит, справиться со своей задачей. Для этого она должна располагать как достаточным капиталом, так и профессиональными знаниями. Причем концессия должна обязать ее таким образом, чтобы группа выполнила свои обязательства".

Через несколько недель полковник Говард Бьюри поднял этот вопрос заново. На сей раз он предложил передать эксплуатацию Мертвого моря чартерной компании, однако Ормсби Гор на это ответил, что в Палестине подобное исключено, потому что она не британское владение, а лишь по решению Лиги Наций находится под опекой Великобритании. Затем полковнику захотелось узнать, не связаны ли Новомейский и майор Таллок с поташными фирмами Германии. Ормсби Гор его успокоил, сказав, что, насколько ему известно, группа связана с финансистами, не принимающими участия ни в каком химическом производстве.

Тут я должен отметить, что в этот период распространились слухи о существовании определенной связи между концессией на эксплуатацию Мертвого моря и немецкой поташной индустрией. В экономическом приложении "Манчестер Гардиан" была опубликована информация о трениях между поташной промышленностью и крупнейшим химическим концерном "ИГ-

Фарбен индустри" и о намерении последнего освободиться от зависимости в поташе путем освоения дополнительного резерва на Мертвом море. Ввиду того, что в то время (в ноябре 1927 года) намечалось соглашение между мною и Мондом, газета выдвинула гипотезу, что за всем этим кроется тайный сговор Монда с "ИГ-Фарбен индустри". Монд даже счел необходимым опровергнуть это специальным письмом сэру Ормсби Гору. Но меня продолжали подозревать.

С другой стороны, секретаря по делам колоний запросили, не был ли я работником советского правительства. На это секретарь дал следующий бесподобный ответ:

"Насколько мне известно, у г-на Новомейского нет никаких отношений с Россией. Его родители – польские евреи, но сам он палестинец, и я не слыхал о существовании какой-либо связи между ним и Россией".

Меня это заявление не удовлетворило, и, посоветовавшись с Натаном, я ему написал следующее:

"21 декабря 1927 года

Уважаемый сэр,

Мне подумалось, что Вы, возможно, желаете услышать что-нибудь от меня по поводу вопроса, заданного Вам полковником Говардом Бьюри (19 числа с. м.), а именно: не работал ли я когда-нибудь служащим советского правительства. Я никогда не был служащим советского правительства и не имел с этим правительством никаких контактов.

Я родился в Восточной Сибири близ китайской границы. Мои предки поселились там около ста лет тому назад и занимались горным промыслом.

Я долгие годы работал по своей профессии в качестве горного инженера и металлурга и принимал активное участие в добыче золота и минеральных солей на Дальнем Востоке. Я также основал там новые виды производства и внедрил прогрессивные американские методы.

Сибирь я покинул в начале 1920 года, после ликвидации правительства Колчака, и поселился в Эрец-Исраэль (впервые я побывал здесь в 1911 году). Природными богатствами Мертвого моря я впервые заинтересовался в 1906 году.

С 1920 года я не бывал в России.

Считаю нужным сообщить Вам все это, дабы мое молчание не было неверно истолковано.

С глубоким почтением
М. Новомейский".

Последние недели 1927 года я был занят уточнением параграфов контракта с королевскими представителями и формулировкой различных условий получения концессии. В конце концов все было согласовано. Работники министерства колоний известили меня, что весь материал теперь будет отправлен в Палестину, так что мне больше нечего было делать в Лондоне. Пришло время возвратиться в страну и начать там приготовления к практической работе. 19 января мы выехали из Лондона в Марсель и оттуда отплыли в Порт-Саид. Попутно я вспомнил о Таллоке – мой компаньон никогда не бывал на Мертвом море. Я пригласил его поехать в Эрец-Исраэль за мой счет.

На протяжении всего моего многолетнего пребывания в Англии на Мертвом море продолжались опыты и замеры по моим указаниям. В дополнение к старым работникам я пригласил в состав научной бригады доктора Шлома из Южной Африки (позднее он стал ведущим химиком "Поташной компании") и доктора Каневского (ныне Канев, со временем он перешел на работу в тель-авивские лаборатории "Купат-Холим"). Еврейский университет отвел им место для занятий в своих лабораториях, и там они проработали до 1930 года, когда были построены первые здания "Поташной компании".

Среди различных экспериментов на одном из бас-

сейнов было опробовано так называемое Сегнерово колесо, с помощью которого мы рассчитывали ускорить процесс испарения воды и выпада солей из раствора. Колесо приводилось в движение маленьким дизельным мотором. Однако выяснилось, что расход энергии на этот процесс слишком велик и применять его не стоит.

Блейк, геолог палестинской администрации, сообщил мне, что он просмотрел весь материал, касающийся Мертвого моря, и послал соответствующий отчет генеральному секретарю администрации. Но время шло, а последний отказывался обсудить вопрос, так как не ознакомился с содержанием всех присланных ему папок. 3 марта меня в конце концов пригласили к верховному комиссару, однако пользы от совещания было немного, и через некоторое время я узнал, что материал возвращен Блейку для составления нового заключения. Миновал еще месяц, и тут меня огорошили известием, что все папки и материалы снова посланы в Лондон.

Я решил, что в таком случае и мне необходимо вернуться туда. Прежде всего я отправился в министерство колоний. Следовало что-то предпринять для укрепления моей позиции, – в Палате Общин не прекращались всевозможные интриги. Я заявил Гардингу, что мы (то есть я и Таллок) не собираемся вести концессионные работы в одиночку, а хотим передать их новой компании, в которой большинство директоров, включая председателя, будут англичанами. Я заметил, что Гардинг принял эти слова с облегчением. Он тотчас спросил, может ли он передать мое заявление секретарю по делам колоний. Я,разумеется, согласился. "Вам надо учесть, – не без юмора заметил он, – что против вас сражаются четыре группы противников. Одна выступает против сионистов, другая – против евреев, третья – против Германии, а четвертая сама хочет получить концессию".

Между тем полковник Говард Бьюри продолжал свои нападки.

"Палата общин, 21 мая 1928 года

Полковник Говард Бьюри спросил секретаря по делам колоний, есть ли какие-нибудь новости в отношении концессии на минеральные соли Мертвого моря.

М-р Эймери: "Материалы, представленные майором Таллоком и г-ном Новомейским, изучаются".

Полковник Говард Бьюри: "Известно ли вам, сэр, что с начала рассмотрения этого вопроса минуло восемь лет?"

М-р Эймери: "Нет, полковник".

Полковник Говард Бьюри: "Не согласится ли мой уважаемый коллега сказать, как долго он собирается мириться с проволочками? И отдает ли он себе отчет в том, что подобная тактика на руку определенным кругам в Центральной Европе?"

М-р Эймери: "Нет, полковник. Этот последний факт мне не известен, я страстно желаю завершить обсуждение как можно скорее. Мне кажется, я уже докладывал в палате общин, что в итоге конкурса было принято предложение майора Таллока и г-на Новомейского, и поэтому, если они сумеют представить удовлетворительные гарантии во всем, что касается выполнения работ, им, безусловно, будет отдано предпочтение перед всеми остальными".

Полковник Говард Бьюри: "Верно ли, что майор Таллок уполномочил г-на Новомейского во всех вопросах действовать самостоятельно?"

М-р Эймери: "Полагаю, что этот вопрос заслуживает рассмотрения".

Сэр Ф. Холл: "В его распоряжении нет никаких денежных средств".

23 мая в палате лордов состоялись продолжительные прения, завершившиеся голосованием: 38 голосов – за, 25 – против. Причем даже это незначительное большинство удалось собрать только благодаря энергичному выступлению лорда Биркенгуда. Главным оратором оппозиции снова был лорд Излингтон, который подчеркнул значение концессии для Англии. "Две трети

жителей Палестины – арабы, – сказал он, – евреи составляют лишь 10 или 12 процентов населения. Более того: половина Мертвого моря находится в Трансиордании, где вообще нет евреев. Обещанный евреям национальный очаг не охватывает всю Палестину, и правительство почему-то пытается скрыть тот факт, что за Новомейским и Таллоком фактически стоит Сионистская организация. Тут оратор процитировал слова доктора Вейцмана, отозвавшегося на одном собрании о концессии как о серьезном успехе сионизма. Отсюда лорд Излингтон делал вывод, что вся история с концессией не что иное как маневр в поддержку "этой жалкой попытки, именуемой созданием сионистского очага в Палестине".

Слушая эту речь, я понял, почему переговоры о концессии продвигаются с черепашьей скоростью: не из-за обычной волокиты в правительственных канцеляриях, а потому, что передо мной высится огромное препятствие – может быть, самая трудная из преград, встречавшихся на моем пути. Причем лорд Излингтон не ограничился критикой. Он завершил свою речь практическим предложением:

"Взвесило ли правительство Его величества предложение, сделанное ему в начале февраля сего года? Это предложение было внесено группой британских финансистов и коммерсантов, известных и солидных людей, к которым присоединились ученые. Они считают нужным инвестировать в концессию британский капитал и намерены добывать не только поташ, но и побочные минералы, также имеющие немаловажное значение. Эта группа готова объединиться со всеми заинтересованными сторонами – англичанами, арабами и евреями. К услугам этой группы, кроме того, и одна из лучших английских фирм сбыта – а ведь сбыт является важной частью всего вопроса, – фирма, основанная полвека тому назад и располагающая филиалами по всему свету, особенно в странах, заинтересованных в покупке поташа и удобрений. Названная группа готова приступить к работе немедленно. Вокруг нее не существует никаких тайн, и она не нуждается в секретности. Если

вы того пожелаете, я уполномочен огласить имена членов группы. Учитывая все, что произошло, а также ввиду создавшегося деликатного положения я рекомендую правительству Его величества срочно и благожелательно рассмотреть это предложение..."

Другие ораторы вспомнили, что г-н Новомейский – русский еврей, а Таллок – шотландец, и отпускали колкие замечания на этот счет. Наши сторонники выглядели на этом фоне довольно слабо: они повторяли, что концессия обещана нам, но проект находится пока в стадии обсуждения.

Меня, разумеется, не задели антисемитские нотки, прозвучавшие в выступлениях иных лордов*. Таллок, однако, отреагировал на это по-другому, и его реакция – очередное свидетельство антисемитских настроений, которые бытовали тогда в Англии.

"Лично и частно
23 мая 1928 года
А. Дж. Гардингу
Министерство колоний
Лондон

Дорогой мистер Гардинг,

То, что Вы мне сказали в заключение нашей беседы в прошлый понедельник, произвело на меня весьма сильное впечатление. Я понял из Ваших слов, что если имена финансистов, готовых поддержать г-на Новомей-

---

* Кстати: даже граф Биркенгуд, секретарь по делам Индии, защищавший меня от злобных выпадов наших противников, сам не преминул заявить: "Верно, что подобная фамилия мне совсем не нравится и я сам не хотел бы ее носить..." "Вас, наверное, обидела его речь?" – спросил у меня спикер министерства колоний, на что я ответил: "Отнюдь нет. Мне моя фамилия нравится, и я никогда не собирался менять ее". Тут следует заметить, что лорд Биркенгуд не всегда был таковым – лишь получив титул, он сменил свою "плебейскую" фамилию Смит на Биркенгуд.

ского, получат огласку, может возникнуть неприятное положение из-за антисемитских настроений в парламенте и других местах.

С того времени как министерство колоний посоветовало мне присоединиться к г-ну Новомейскому, я постоянно думал о том, что его поддерживают фактически одни евреи. Я согласился передать ему вопрос о финансировании, хотя меня могли бы поддержать англичане. В данный момент, исходя из того, что Вы мне сказали в прошлый понедельник, я собираюсь принять меры для исправления вышеупомянутой ошибки.

Я могу повлиять на г-на Новомейского таким образом, чтобы он согласился на участие в проекте одного из моих друзей, знакомого и Вам тоже. Этот человек стоит во главе независимой и очень богатой группы, все участники которой чистокровные англосаксы (из них двое – шотландские дворяне), чьи имена пользуются в обществе доверием, так как у них нет никаких связей с каким-либо международным обществом или международной сетью. Я думаю, это побудит и остальных кандидатов принять участие в предприятии.

Но перед тем как сделать дальнейшие шаги, я считаю необходимым спросить Вас в частном порядке, согласны ли и Вы с моим предложением?

В заключение я должен добавить, что пишу Вам исключительно по собственной инициативе и лишь из желания получить Ваш совет по поводу этой деликатной истории. Ибо в силу отношений дружбы и сотрудничества между мною и г-ном Новомейским мне не хотелось бы задеть его национальные чувства, указав ему на тот факт, что в деле замешано слишком много евреев и что это дает определенным сторонам повод для подстрекательства. Боюсь, что это может задержать осуществление проекта, в котором заинтересована не только Палестина, но и вся империя.

С глубоким почтением
Т. Г. Таллок".

Об этом письме я узнал с большим опозданием. Однако вскоре после прений в палате лордов Таллок познакомил меня с одним из представителей тех самых шотландских аристократов. То был Гарольд Джед, компаньон бухгалтерско-ревизионной фирмы. Он разговаривал со мною от имени лорда Уинверфорта, так как, по словам Таллока, этот лорд выразил готовность поместить деньги в наше предприятие, но пока не хотел выступить лично. Лорд Уинверфорт был одним из крупнейших британских судовладельцев и славился как талантливый организатор. В 1919 году он был также министром военной промышленности.

Джед заявил, что его группа готова предоставить в наше распоряжение средства, требуемые для реализации концессии, если мы только договоримся об условиях. Я спросил, кто же они такие, участники этой группы. Женщина-химик, доктор Анни Хомер, и еще один специалист-химик, доктор Нортон. Эти имена мне были, конечно, хорошо известны. Мои опасения возросли, когда Таллок мимоходом обронил, что, по его мнению, Уинверфорт – это тот самый человек, который стоит за запросами Говарда Бьюри в палате лордов.

Тем не менее я не стал отказываться от шанса, предлагаемого мне этой стороной. Тут, во всяком случае, шла речь о британском капитале и солидном английском президенте. Кто знает, не выручит ли меня это? О наших дальнейших переговорах можно составить представление по следующим письмам:

"30 мая 1928 года

Дорогой мой Джед, – писал Таллок.

Получил сегодня письмо от Новомейского. Его, как кажется, немного тревожит одна фраза из речи лорда Излингтона в палате лордов (23 мая).

Новомейский пишет:

"Я уже сказал Вам по телефону, что меня удивили похвалы Излингтона в адрес новых кандидатов и его

предложение огласить их имена, поскольку несколько дней тому назад Джед меня заверял, что его группа не имеет никакого отношения к подстрекательству в парламенте. Вы, конечно, понимаете, что флирт этой группы с антисемитской ”лигой” является основным препятствием для продолжения переговоров. Разумеется, это не бросает тени на Джеда – он, мне кажется, человек честный и порядочный, – однако существует, по-моему, тесная связь между этой группой и ”лигой”.

Учитывая мнение Новомейского, я осмелюсь рекомендовать Вам предпринять шаги, чтобы рассеять это ошибочное впечатление.

С глубоким почтением
Т. Г. Таллок”.

Тут я должен заметить, что ”лига”, упомянутая в письме, была организацией, действовавшей в то время в Лондоне с целью сорвать политику поддержки ”национального очага”. Ее полное название звучало: ”Арабская лига” или ”Национальная лига”, а ведущей фигурой в ней была некая Фрэнсис Ньютон, богатая англичанка, поселившаяся на горе Кармел, которая водила дружбу с арабами и занималась агитацией против продажи земель евреям. Деятельность и пропаганда ”лиги” шли рука об руку с антисемитизмом в самой метрополии.

Следующее письмо Джеда иллюстрирует его точку зрения.

”31 мая 1928 года

Дорогой мой Таллок,

Благодарю за Ваше письмо от 30 числа с.г. Что касается ситуации в парламенте, то Вы ведь помните, я уже говорил, что моя группа не несет никакой ответственности ни за деятельность лиги, ни лордов, ни членов парламента, интересующихся этим делом. По мнению правительства, концессия должна находиться под британским контролем и подавляющая часть капиталовло-

жений должна быть английской. Они поддерживают нашу группу, поскольку она соответствует этим условиям. Имена участников нашей группы не представляют секрета, знакомы они и лорду Излингтону, и он вправе назвать их. Да и мы сами обо всем сообщили министерству колоний.

Мне кажется, я Вам говорил, что наша группа не является антисемитской, однако мы прежде всего, англичане и поэтому, естественно, не можем сотрудничать с сионистской группой, хотя я не вижу беды в том, что с проектом будет связан тот или иной еврей, пока контроль остается в руках англичан".

После этого письма для меня стало несомненно, что мы не сможем объединиться. Тем не менее я согласился на уговоры Таллока и попросил, чтобы он мне представил условия, которые должны послужить основой нашего контракта. Суть представленных предложений заключалась в том, что концессия будет передана компании с капиталом 500 тысяч фунтов стерлингов в приоритетных ценных бумагах и 100 тысяч в обычных акциях. Мы получим 75 процентов обычных акций, а решающий голос сохранится за владельцами приоритетных ценных бумаг, большинство которых будет передано "группе". Мы, естественно, выдвинули контрпредложения, главным образом касательно прав разного вида ценных бумаг (чтобы сохранить решающий голос за собой), а также в отношении порядка назначения директоров. Но реакция Джеда была такой, как я и ожидал:

"Вторник, 10 июля 1928 года

Дорогой г-н Новомейский,

На прошлой неделе мы получили Ваши поправки к предложениям. Я их обдумал и посоветовался с друзьями, однако, к сожалению, нет никакой возможности принять Вашу точку зрения.

С глубоким почтением
Гарольд Дж. Джед".

Переписка продолжалась еще около четырех месяцев, но под конец мы убедились, что делать дополнительные усилия нет смысла.

В октябре 1928 г. Таллок получил следующее письмо от Джеда:

"Дорогой мой Таллок!

Чем больше я размышляю над этим делом, тем меньшими мне кажутся шансы перекинуть мост через пропасть, разделяющую наши взгляды... Точка зрения Вашего коллеги во время последней встречи была весьма далека от того, что мне кажется разумным и порядочным.

С глубоким почтением
Гарольд Дж. Джед".

И все это время полковник Говард Бьюри и его группа продолжали вести беглый огонь в парламенте: они требовали назначения независимой следственной комиссии для изучения всего, связанного с концессией; требовали, чтобы работа на заводах Мертвого моря предоставлялась не только евреям и распределялась без дискриминации по национальному признаку; подвергали сомнению нашу способность мобилизовать требуемые капиталовложения; напоминали, что мы русские евреи; вопрошали, не являюсь ли я агентом германской поташной монополии; и без конца подчеркивали преимущества британской группы, которая располагает достаточным капиталом, учеными специалистами и т.д.

"Палата общин, 11 июня 1928 года

Полковник Говард Бьюри спросил мистера Эймери, готов ли тот опровергнуть распространившийся слух, будто обладатели концессии собираются нанимать только еврейских рабочих, невзирая на то, что подавляющее большинство жителей Палестины — арабы.

М-р Мак Лин спросил, посоветуется ли правительство с парламентом перед тем, как принять окончательное решение об условиях концессии.

Сэр Фредерик Холл спросил, располагают ли финансисты, поддерживающие г-на Новомейского, достаточными средствами для создания индустрии по переработке продуктов Мертвого моря. Не выйдет ли так, что их капиталов хватит только на первый, экспериментальный этап?

Сэр А. Холл спросил, уверен ли секретарь по делам колоний, что обладатели концессии не обивают пороги в приемных финансистов лондонского Сити в поисках денег? И есть ли у них в самом деле достаточно средств, – как у группы английских капиталистов?"

"Палата общин, 2 июля 1928 года

Капитан Фокскрофт спросил, решило ли уже правительство Его величества, кому будет выдана концессия на добычу солей из Мертвого моря. И вело ли оно когда-нибудь переговоры с британским синдикатом, который надежнее с финансовой точки зрения и вообще более соответствует английским интересам.

М-р Харди спросил, не желательно ли, чтобы правительство сохранило концессию в своих руках на благо всего мира и к пользе британской промышленности.

Полковник Говард Бьюри спросил, нельзя ли назначить обладателям концессии определенный срок. Ведь дело тянется уже десять лет, а тем временем цены на поташ взвинчиваются из-за монополии немцев".

"Палата общин, 13 июля 1928 года

Полковник Говард Бьюри: "...В предоставленные мне пять минут я коснусь проблемы концессии Мертвого моря. Я неоднократно поднимал этот вопрос, но получал весьма невразумительные ответы... Мертвое море содержит запасы поташа, значение которых чрезвычайно велико. Монополия на поташ до сих пор находится в руках у немцев. Они контролируют около 70 процентов всех месторождений поташа. В Мертвом мо-

ре есть богатые запасы поташа, а также возможность его использовать... Уважаемый коллега неоднократно заявлял нам, что приоритет в добыче поташа принадлежит майору Таллоку. Майор Таллок побывал там в 1917 году, а в 1918 написал письмо секретарю военного кабинета, но разработанный проект он подал только в июне 1928 года. Г-н Новомейский приехал в Палестину лишь в 1921 году, он еврейский эмигрант из России, и проект он подал только в 1925 году. Выходит, что приоритет принадлежит британской группе... Мне сказали, что британская концессия была отвергнута за отсутствием удовлетворительных финансовых гарантий и что поэтому была утверждена другая концессия. Нам известно, что у г-на Новомейского недостаточно средств и что то немногое, чем он располагает, поступило к нему от германского поташного синдиката, который стремится задержать реализацию этой концессии.

Британская группа, возглавляемая лучшими отечественными химиками, готова инвестировать в концессионные работы миллион и даже два миллиона фунтов стерлингов. Я спрашиваю, разве это не глупость – отказывать людям, готовым бороться с монополией и реализовать концессию... Как долго мы собираемся возиться с г-ном Новомейским, который не располагает финансовыми гарантиями и мечется в поисках денег, выдвигая столь смехотворные условия, что никому в голову не приходит их принять? Я прошу, чтобы в концессионном контракте был оговорен срок выполнения концессии и чтобы в нем было ясно сказано, что обладатель концессии не вправе ее продать или передать другому."

Я счел нужным ответить на эти ядовитые нападки и опровергнуть подозрения и намеки.

"От Новомейского министерству колоний
20 июля 1928 года

Уважаемые господа,

Я вынужден обратить Ваше внимание на то, что за-

явление члена парламента полковника Говарда Бьюри, сделанное им 12 числа с.м., совершенно не соответствует действительности. В капитале, связанном с моим предприятием, нет ни единой доли, которая непосредственно или окольными путями поступила бы от германского поташного синдиката или любого другого немецкого источника.

Верно, что я веду переговоры с определенными финансовыми и коммерческими кругами по поводу финансирования моего проекта, так как я собираюсь его реализовать в более крупном масштабе, чем предполагал ранее. Однако неправильно и ложно заявлять, будто я "мечусь в поисках денег" или что мои условия "столь смехотворны, что никому в голову не приходит их принять".

Мои адвокаты Герберт Оппенхеймер, Натан и Вендик отправили, по моему указанию, письмо по данному вопросу полковнику Говарду Бьюри, копия которого прилагается.

С глубоким почтением

М. Новомейский".

После того как я с такой обстоятельностью сообщил о недоброжелательных нападках на меня в обеих палатах парламента, я считаю приятным долгом упомянуть несколько лиц, поддерживавших меня в те трудные годы. Я особенно благодарен покойному сэру Эймери, который занимал тогда пост секретаря по делам колоний и всегда был верным сторонником строительства национального очага евреев в Эрец-Исраэль. В свое время он явился одним из авторов Декларации Бальфура и в своих мемуарах (Моя жизнь в политике, 2 том, 1953 г.) рассказывает, как помог сформулировать ее: "За полчаса до того, как кабинет собрался на заседание, ко мне заглянул лорд Милнер и показал два-три наброска, из которых ни один не казался ему удовлетворительным. Он спросил, не смогу ли я составить текст таким образом, чтобы уменьшить возражения евреев, но одновременно не разжечь гнева сторонников

арабов? Я засел за работу, и вскоре из-под моего пера вышла следующая формула..." Предложенный им текст был принят с незначительными изменениями в знаменитой декларации от 2 ноября 1917 года.

Мистер Ормсби Гор, заместитель сэра Эймери (впоследствии лорд Харлед), также дружественно относился к сионизму еще с тех времен, когда был назначен в специальную комиссию, посланную правительством Ллойд-Джорджа в Палестину, чтобы изучить положение и настроения в стране после ее завоевания войсками генерала Алленби. Оба этих человека всегда вели себя в высшей степени порядочно и нелицеприятно. За внешней их объективностью я всегда ощущал сочувствие нашему делу. Отпор моим хулителям давали и члены парламента Иошияху Веджвуд и Кенуорти, а также мистер Монтегю Белл, редактор журнала "Ближний Восток и Индия", живо интересовавшийся моим предприятием.

Глава девятая

ПРИЗРАКИ

В эти месяцы бесплодных переговоров с Джедом и постоянных нападок в парламенте меня несколько утешила встреча с Луи Маршаллом, знаменитым адвокатом и одним из лидеров американского еврейства. Маршалл приехал в Лондон на совещание по сионистским делам (которое состоялось в загородном имении Монда) и пригласил меня поужинать с ним в отеле "Гайд-Парк". Затем мы встречались еще несколько раз, обедали и гуляли в садах Кенсингтона и в Гайд-парке, беседуя о разных материях. Маршалл знал обо мне от своих нью-йоркских друзей и проявил большой интерес к моему плану. Он рассказал, что заинтересовался добычей соли еще в молодости, поскольку родился в городе Сиракьюс , в штате Нью-Йорк, близ которого расположено большое соледобывающее предприятие. Он часто ездил туда, чтобы посмотреть испарительные бассейны и другие технические устройства. Маршалл был чрезвычайно образованным и умным человеком. Еще в Нью-Йорке он слышал о моих злоключениях, особенно о неудаче переговоров с Мондом, и теперь хотел узнать, что, по моему мнению, привело к такому результату, который он считал большой бедой. Выслушав меня, он спросил, не соглашусь ли я переговорить об этом с Мондом, если он сам выступит в роли моего заступника. Я не стал отказываться, хотя и не надеялся, что это даст какие-либо реальные результаты, и действительно, – его попытка ни к чему не привела. Маршалл обворожил меня своим умом, и я извлек для себя много полезного из непродолжительного общения с ним.

Вскоре после этой встречи мне сообщили, что из министерства колоний касающиеся концессии мате-

риалы снова отправлены в Палестину для передачи компетентным органам. Я расценил это как уловку для очередной проволочки и окончательно пал духом. Мог ли я себе представить в те дни, что скоро произойдет внезапный перелом и финансовая поддержка придет из источника, на который я нисколько не рассчитывал.

Я получил телеграмму от Юлиуса Саймона, директора "Палестинского экономического общества": он просил представить ему информацию о концессии и переговорах с английским правительством. В телеграмме также говорилось, что меня по пути из Эрец-Исраэль в Америку хочет повидать Исраэль Броуди. Должен признаться, что в тот момент я понятия не имел, кто такой Исраэль Броуди. Однако перед отъездом в короткий летний отпуск в Швейцарию я выслал в Нью-Йорк в контору "Экономического общества" памятную записку, о которой меня просили.

В Швейцарии я получил телеграмму от Тулина, моего нью-йоркского адвоката, с просьбой назначить время и место встречи с Броуди. Мое любопытство возросло, когда я узнал, что и Тулин приглашен на эту встречу. 2 сентября мы встретились в Париже, и Броуди твердо заявил мне, что готов поместить деньги в мой "Рудный синдикат" и, более того, готов побудить сделать то же самое других финансистов. Материал, который я ему представил, он просмотрел с американской деловитостью и быстротой, перелистал пухлую переписку, продумал все проблемы, выдвинул свои предложения и обсудил с Тулиным сложные пункты. Три дня спустя уже был подписан следующий документ:

1. Стороны данного соглашения обязуются сделать все возможное, чтобы обеспечить в Соединенных Штатах подписку на акции "Палестинского рудного синдиката" в целях освоения концессии Мертвого моря на сумму 350.000 долларов до 1 ноября 1928 года, а затем на дополнительную сумму 50.000 долларов, также в кратчайший срок.

2. Будет основана новая компания, которая получит концессию и реализует ее.

3. Новые участники обязаны согласиться с тем, чтобы президентом компании и большинством членов правления были англичане.

4. В правлении этой компании "Палестинскому экономическому обществу" и "Фонду поселения евреев" будет обеспечено достойное представительство.

5. После того как концессия перейдет к новой компании, она согласует с обладателями концессии сумму причитающихся им компенсаций.

Лишь значительно позже, когда мы с Броуди уже были близкими друзьями, я узнал, что побудило его помочь мне приобрести концессию. По профессии он был адвокат, но, услыхав о природных богатствах Мертвого моря и о возможностях их добычи, он восхитился этой идеей и не переставал интересоваться ею. Он узнал также о моих усилиях приобрести концессию и решил встретиться со мною и предложить свою помощь. В то лето они с женой привезли пятерых своих детей в Иерусалим, чтобы отдать их в ивритскую школу в Эрец-Исраэль. На обратном пути в Нью-Йорк Броуди встретился со мною и подписал вышеупомянутое соглашение.

Он был убежден, что мой проект построен на верной и серьезной основе, и занялся сбором средств для предприятия на Мертвом море еще до того, как мы встретились. Однако когда он обратился к своим друзьям из числа членов "Палестинского экономического общества", то узнал, к своему удивлению, что, хотя в свое время они подписались на акции "Синдиката" на сумму в 50 тысяч долларов, но успели разочароваться в проекте и больше не верят в него. Их основной аргумент звучал так: "Невероятно, чтобы английское правительство выдало столь перспективную концессию евреям". Кроме того, они утверждали, что все эксперты дали о моем проекте отрицательные отзывы и, даже если я получу концессию, мне не удастся изыскать

огромный капитал, требуемый для ее реализации. Некоторые из них прямо говорили Броуди, что было бы безумием полагать, будто в Соединенных Штатах найдутся люди, которые поместят свои деньги в подобное предприятие. Не сумев переубедить Броуди, один из его приятелей предложил ему посоветоваться с Брандайзом.

Броуди послушался и поехал к старому судье в его сельское поместье. На встрече присутствовал Феликс Франкфуртер, друг Брандайза, со временем унаследовавший его место в Верховном суде США. Броуди изложил Брандайзу свои доводы в пользу моего проекта, и, к изумлению Франкфуртера, Брандайз с ним согласился. Более того: он обещал свою помощь и тут же на месте выразил желание приобрести акции на 17.500 долларов.

1 ноября 1928 года я получил из Нью-Йорка следующую телеграмму:

"Получены безусловно ответственные подписи на сумму 275.000 долларов. Брандайз оказывает помощь. Двадцать пять процентов будут внесены, как только вы сообщите, что контракт подписан, остальное – по мере надобности. Убеждены, что в ближайшем будущем найдутся дополнительные 75.000 долларов. Когда будет подписан контракт и оглашены факты, мы, без сомнения, обеспечим все остальные требуемые средства. Мэк*, Броуди и Тулин".

19 ноября пришла вторая телеграмма, на сей раз от "Палестинского экономического общества": "Выделим 75.000 долларов при условии, что концессия будет утверждена в течение шестидесяти дней".

Итак, Броуди с Тулиным сдержали слово. Впоследствии Броуди рассказывал мне:

---

* Покойный судья Юлиан Мэк, заседавший тогда в нью-йоркском окружном суде, один из лидеров сионистской группы, сплотившейся вокруг Брандайза.

– Вернувшись в Штаты, я немедленно распределил будущие акции на 160 тысяч долларов. Хочу помянуть добрым словом судью Юлиана Мака, который с энтузиазмом взялся за привлечение новых пайщиков. Он обратился к мистеру Брандайзу и Максу Пену из Чикаго, и они согласились поместить 50 тысяч долларов от имени семьи Розенблюм и еще 60 тысяч из наследства покойного судьи Пена. Мистер Солд также присоединился к ним, да и "Экономическое общество" отказалось от своей прежней позиции.

Таким образом, в конечном счете выручили меня не шотландские аристократы Таллока, а евреи Соединенных Штатов. Тем временем я пришел к принципиальному соглашению с королевскими представителями об условиях концессии, но ее подписание задерживалось, так как еще не поступило официального согласия от властей Эрец-Исраэль и Трансиордании. По-видимому, это было всего лишь формальностью и тем не менее задержало нас на целых пять месяцев.

Во всяком случае, теперь мне предоставилась возможность заняться поисками подходящей кандидатуры на пост президента новой компании. Я посоветовался с Таллоком, который назвал несколько имен, в том числе лорда Алленби; доктор Вейцман тоже отозвался о последнем как о лучшем из всех возможных кандидатов. В конце сентября Таллок встретился с братом Алленби (в доме у их общего приятеля – адмирала Финса Хорнби). Тот сказал, что предложение кажется ему приемлемым. Однако в начале октября Алленби отправился в поездку по Соединенным Штатам, и, чтобы не откладывать дело в долгий ящик, мы послали ему туда памятную записку о проекте Мертвого моря и приложили письмо Таллока, который напоминал Алленби о его тесных связях с Палестиной со времен мировой войны. Ответ знаменитого военачальника был в высшей степени любезным, но – отрицательным:

"2 ноября 1928 года

Дорогой майор Таллок,

Приношу свои извинения за задержку с ответом на Ваше письмо от 2 октября. Я все время находился в разъездах и поэтому не имел возможности ознакомиться с Вашим письмом и приложениями, а по возвращении был очень занят.

Перспективы освоения Мертвого моря огромны, и Вы их хорошо описали.

Понятно, что на Великобритании, как обладательнице мандата, лежит обязанность ускорить освоение этих богатств на благо подмандатной территории и что это должно быть сделано под британским контролем.

Мне нравится Ваш проект, и я рад, что концессия передана Вам и г-ну Новомейскому.

Я Вам также признателен за оказанную мне честь – предложение войти в состав правления Вашей компании, но по многим причинам не смогу его принять. Вместе с тем прошу принять мои наилучшие пожелания Вашему предприятию, значение которого для империи столь существенно...

С глубоким почтением
Алленби".

Через несколько дней после получения этого письма я посетил Джона Шекборо и рассказал ему о поддержке, которую получил от Броуди, и о крупных средствах, собранных для предприятия. Я полагал, что это известие обрадует его, но ошибся. Он помрачнел и осведомился, кого мы намерены пригласить в состав членов правления, кому поручить руководство. И кто будет президентом? Я ответил, что мы относимся к этому вопросу со всей серьезностью и даже предложили президентский пост лорду Алленби, но тот отказался. После этого разговора у меня уже не осталось никаких сомнений, что состав правления – вопрос чрезвычайно важный.

По совету Натана я встретился с М. Винчестером, но

убедился, что этот человек нам не подходит. В феврале 1929 года в Лондон вернулся доктор Вейцман; может быть, ему удастся повлиять на Алленби принять руководство компанией? Привожу полный текст письма Х. Вейцмана лорду Алленби:

"1 марта 1929 года

Дорогой лорд Алленби,

Мне очень хотелось переговорить с Вами лично, но последние шесть недель я себя неважно чувствовал, да и теперь вынужден подчиниться своему врачу, который запретил мне всякую работу.

На сей раз я обращаюсь к Вам по вопросу, связанному с концессией Мертвого моря. Полагаю, что в ближайшие недели эта концессия будет выдана г-ну Новомейскому и майору Таллоку.

С майором Таллоком я не знаком, но г-на Новомейского знаю лет двадцать как человека честного и надежного и большого специалиста в своей области. Я убежден, что делу, которое ему поручено, обеспечен успех. Успех же предприятия на Мертвом море имеет огромное значение не только для Палестины, но и для всей империи. Поэтому очень важно, чтобы концессия была реализована компанией, которая будет пользоваться доверием общественности как благодаря своему национальному составу, так и в силу ее авторитета и финансовой стабильности.

Во время нашей последней встречи в Америке я намеревался поговорить с Вами об этом, однако посчитал, что дело еще не созрело в достаточной мере. С тех пор вопрос о концессии продвинулся вперед, и в настоящее время правительство хочет основать компанию во главе с авторитетными людьми.

Убежден, что правительство Его величества, равно как и все, кому дорого дело развития Палестины, будут рады, если Вы соблаговолите принять на себя президентство в фирме, поскольку Ваше имя связано с Палестиной. От этого сильно выгадали бы и Палестина, и весь Ближний Восток.

...Правительство Его величества, как и все, кто причастен к данному вопросу, считают, что это предприятие имеет огромное значение и что нет человека, который был бы более Вас достоин возглавить его.

С сердечным приветом и глубоким уважением
Х. Вейцман".

Однако и это письмо не помогло.

"3 марта 1929 года

Дорогой д-р Вейцман,

Спасибо за Ваше письмо от 1 марта и предложение возглавить работы на Мертвом море.

Я расцениваю это предложение как высокую честь, но, к сожалению, не могу его принять. У меня нет никакого коммерческого опыта, и я слишком стар, чтобы заняться делами, требующими учебы, усердия и большой энергии.

Огорчен Вашим неважным самочувствием и надеюсь, что отдых на юге поправит Ваше здоровье.

Моя жена шлет сердечные приветы Вам и г-же Вейцман.

Искренно Ваш
Алленби".

Найти нужного человека в конце концов помог мне Ангус, брат Таллока. Он был директором банка "Дистрикт-бэнк" и проживал в Манчестере. Младшего из братьев, работавшего инженером в Индии, я знал давно, но с Ангусом встретился только в 1929 году. Встреча эта, помимо всего прочего, открыла мне тайну семейных отношений "шотландского образца". Мы обедали в лондонском клубе, расположенном поблизости от постоянного клуба Тома. Из разговора я понял, что Ангус часто приезжает в Лондон и даже держит здесь квартиру, однако отношения братьев скорее напоминали отношения добрых знакомых, чем близких родст-

венников. Том, например, не знал, сколько у брата детей и как их зовут.

– Но Алекса-то ты помнишь? – спросил Ангус. По-видимому, это был его старший сын.

Том неуверенно отозвался:

– Да, конечно. Но погоди, сколько же ему сейчас лет?

Я был настолько поражен, что когда Ангус пошел заказывать обед, воспользовался его отсутствием и спросил Тома:

– Ваши клубы почти рядом – вы, верно, часто видитесь?

– Да, – ответил Том, – мы встречаемся... Но не особенно часто.

– Когда же вы виделись в последний раз? – продолжал допытываться я.

– Дайте вспомнить... – задумался Том. – Кажется, это было лет семь тому назад...

– У вас с братом не слишком хорошие отношения? – предположил я.

Том изумился.

– С чего вы это взяли? Мы с ним друзья. Пока мать была жива, мы часто встречались у нее в доме. В молодости мы много беседовали на разные темы, но теперь у нас просто нет времени на разговоры. Мы улаживаем наши дела в письменной форме.

Ангус рекомендовал меня мистеру А. В. Фреджли из биржевой маклерской фирмы "Бэзил Монтгомери". Фреджли принял меня в своей конторе очень доброжелательно.

– Ангус рассказывал мне о вас, – сказал он, – а для Ангуса я готов сделать все. Я понимаю, что вам нужно, и хочу предложить вам двух молодых людей, кузенов, управляющих старой и уважаемой химической фирмы. Отец одного из них был моим другом. Его уже нет в живых, но оба молодых человека, как правило, слушаются моих советов. Я Вас извещу, когда переговорю с ними.

Через неделю он меня разыскал и сообщил, что фир-

ма, о которой он говорил, это "Теннент и сыновья". Компания Монтгомери, добавил он, тоже готова меня поддержать и приобрести акции на сумму 2 тысячи фунтов стерлингов. Я ответил, что сумма роли не играет, так как денег у меня достаточно, но я нуждаюсь в моральной поддержке со стороны его фирмы.

Несколько дней спустя Фреджли свел меня с молодыми Теннентами. Глава фирмы лорд Гленконнер не мог присутствовать на встрече. Нас принял Эрнест Теннент, племянник Гленконнера, и я убедился, что Фреджли успел уже подготовить почву.

– Кто остальные владельцы акций? – спросил Теннент. – Что это такое – "Фонд поселения евреев"?

– Это компания Ротшильда, Берстэда и Сэмюэля с присными, – отвечал Фреджли.

Теннент был очень занят и не располагал временем для долгой беседы. Он спросил, достаточно ли мне 5 тысяч фунтов. Тут же было составлено письмо об их финансовом участии, которое они впоследствии увеличили по собственной инициативе, доведя вклад до 25 тысяч фунтов. "Теннент и сыновья" была фирма старая, созданная чуть ли не столетие назад; она пользовалась прочной репутацией, и владельцы ее были тесно связаны с уважаемыми общественными деятелями империи. Дочь сэра Чарльза Теннента, первого лорда Гленконнера, вышла замуж за лорда Асквита, а вдова сына сэра Чарльза – за графа Грея, министра иностранных дел Великобритании накануне Первой мировой войны.

Ободренный этим успехом, я отправился к барону фон Оппенхеймеру, который в это время был в Лондоне, он всегда приезжал сюда на зимний сезон. По ходу разговора я упомянул, что сэр Джон Шекборо причисляет его к евреям, поддерживающим мой проект. Фон Оппенхеймер тотчас предложил перевести свой вклад в англо-французский банк Эрлангера, дабы быть "вне всяких подозрений". И действительно, он устроил мне встречу с директором банка, который согласился с этой идеей при условии, что участие фон Оппенхеймера

будет оформлено через стороннюю компанию, а именно фирму Поллинга, специализирующуюся на проектировании железных дорог. В конечном счете банк еще увеличил вклад, сделанный Оппенхеймером, с 15 тысяч фунтов до 20 тысяч.

Получив на руки все необходимые бумаги, я решил, что пришло время подать министерству колоний список главных инвеститоров.

"От Оппенхеймера, Натана и Вендика министерству колоний

7 февраля 1929 года

Уважаемые господа,

Прилагаем копию письма, отправленного нами 13 апреля 1927 года королевским представителям по делам колоний, которые запросили у нас сведения о финансовой базе наших доверителей, г-на Новомейского и майора Таллока, в качестве предварительного условия для начала обсуждения возможности подписания контракта.

Учитывая запросы в верхней и нижней палатах о финансистах, поддерживающих наших доверителей, и ввиду определенных изменений, имевших место со времени отправки вышеупомянутого письма, мы сообщаем Вам дополнительные сведения по этому вопросу.

"Фонд поселения евреев" и мистер Лесли Эркхарт, оба в Лондоне, участвуют в "Синдикате" вкладами в прежнем размере. "Палестинское экономическое общество" в Нью-Йорке увеличило свой пай с 10.000 ф. ст. до 25.000 фунтов. Место лондонского банкира Оппенхеймера и К° заняли сейчас "Поллинг и К°" в Лондоне – строительные подрядчики, повысившие вклад с 15.000 ф. ст. до 20.000 фунтов. К "Синдикату" также примкнули еще две компании – "Бэзил Монтгомери и К°" и "С. Теннент и сыновья", обе в Лондоне. Копии писем, подтверждающих участие этих двух фирм и компании Поллинга, прилагаются.

Таким образом, главные инвеститоры наших доверителей следующие:

"Фонд поселения евреев", Лондон.

"Палестинское экономическое общество", Нью-Йорк.

Компания по производству общественных работ "Поллинг", Лондон.

Фирма "С. Теннент и сыновья", Лондон.

Фирма "Бэзил Монтгомери и К^{o}, Лондон.

Мистер Лесли Эркхарт, президент компании "Руссо-Асиатик консолидейтед", Лондон.

Настоящим мы также констатируем, что у наших доверителей, после того как будет утверждена концессия, нет намерения действовать через "Палестинский рудный синдикат", который был основан несколько лет назад с целью оказания финансовой помощи г-ну Новомейскому в его экспериментах и других работах, связанных с эксплуатацией вод Мертвого моря (чем до того он в течение трех лет занимался за свой счет). Наши доверители рассчитывают, что после того, как государственный секретарь окончательно утвердит условия контракта, разработанные в свое время (в январе 1928 года) королевскими представителями, и состоится формальное подписание контракта, будет создана новая компания, которая примет концессию и реализует ее. Эта компания будет основана в Англии или в Палестине, в зависимости от пользы дела.

Мы должны также отметить, что наши доверители намерены (с согласия инвеститоров) внести в устав новой компании пункт, гласящий, что президентом фирмы будет британский подданный и что в ее правлении большинство должны составлять британские подданные либо лица, являющиеся одновременно британскими и палестинскими подданными.

Вы, вероятно, согласитесь, что пока не достигнуто соглашение о точных условиях концессии и в этом вопросе нет полной ясности, нет необходимости предъявлять весь капитал, который потребуется для ее осуществления, да это и нереально. Однако нашим доверителям известно, что после окончательного утверждения концессии в их распоряжение поступят

дополнительные капиталы, что позволит им выполнить все, к чему их обязывает концессия.

С глубоким почтением
Герберт Оппенхеймер, Натан и Вендик".

Пока длились эти приготовления, в парламенте снова был поднят вопрос о концессии. Привожу отрывок из отчета о прениях на заседании 17 декабря 1928 года:

"Полковник Говард Бьюри спросил секретаря по делам колоний, какой характер носит претензия касательно концессии на эксплуатацию Мертвого моря, выдвинутая иностранной державой от имени нескольких ее подданных, в каком положении дело находится сейчас, какова участь концессии, выданной в свое время турецким правительством, и будет ли этот вопрос вынесен на рассмотрение международного суда в Гааге".

Мистер Эймери: "Некоторые утверждают, что несколько оттоманских подданных получили до войны от правительства Турции концессию на разработку богатств Мертвого моря. От правительства Его величества неоднократно требовали признания этой концессии. В последний раз такое требование поступило от французской группы, лишь недавно примкнувшей к этому делу. Однако правительство Его величества установило, что оно свободно от всяких юридических обязательств в отношении признания данной концессии. Я также не вижу никаких причин для того, чтобы изменить эту позицию и вынести вопрос на рассмотрение международного арбитражного суда".

За этим ответом крылось продолжение деятельности австралийской группы, которая уже упоминалась мною, но теперь выступила в новом обличье. В 1911 году оттоманский султан издал фирман по поводу добычи брома из Мертвого моря, считавшегося тогда его личной собственностью. Действие этого фирмана распространялось на 25 лет, однако было обусловлено тем, что работы по добыче брома должны начаться не позднее чем через два года после издания фирма-

на. В июле 1913 года к двум годам добавили еще шесть месяцев, но и за эти полгода ничего не было сделано. Прождав еще года полтора, султан издал в январе 1915 года указ, которым отменил концессию. Указ этот был опубликован в турецком официозе. Казалось, вопрос исчерпан, но обладатели фирмана – Салах Дженджуз-бей, Зуад-бей и Джанб Чехабедин-бей думали иначе. Через семь лет после официального упразднения фирмана, то есть в 1922 году, они решили продать свои "права" иностранным капиталистам. С этой целью они заключили соглашение с турецким адвокатом Нисимом Руссо, и в 1923 году последнему в самом деле удалось продать "концессию" британскому подданному Эдвардсу. Тот уплатил за "права" 6 тысяч фунтов наличными, обязавшись пятую часть акций компании, которую он собирался основать, отдать доктору Ядвиге Мигжи, игравшей роль посредницы. Эдвардс привлек к делу своего отца, а также некоего капитана Беннета и майора Стюарта, о котором уже говорилось. Денежные сделки и внутригрупповые соглашения между участниками были и без того достаточно сложными, а тут еще прибавился дерзкий шаг, предпринятый одним из первоначальных обладателей фирмана: в 1925 году Дженджуз-бей обратился с просьбой к турецким властям отменить указ от 1915 года о ликвидации фирмана. Свою просьбу он обосновал тем, что Турция находилась тогда в состоянии войны и концессия не могла быть реализована по независящим от владельцев обстоятельствам. Довод этот понравился чиновникам горнопромышленного департамента в Анкаре. В июле 1925 года они удовлетворили просьбу Дженджуз-бея, и законная сила старой концессии 1911 года была восстановлена. Тем самым его претензии получили юридическую базу. Кроме того, к группе присоединился английский коммерсант, уроженец Мадагаскара, некий Хозро Дурадваччио, который, чтобы укрепить свои претензии, привлек группу французских промышленников. По-видимому, эта группа как-то была связана и с "Торговой поташной компанией Эльзаса". Таким

образом, в слухах о заинтересованности поташных монополий в концессии Мертвого моря имелась некая доля правды.

Глава десятая

ДИРЕКТОРА И ПРЕЗИДЕНТ

Наше последнее письмо в министерство колоний резко изменило отношение к нам. Теперь власти располагали ответом на любые критические нападки и запросы в парламенте. Из шести английских фирм, поддерживавших проект, лишь две принадлежали евреям. Англичанам и палестинцам обеспечивалось большинство в правлении концессионной компании. Было также оговорено британское подданство президента компании. Через две недели после отправки письма мы с Таллоком были приглашены на беседу к Шекборо – беседу, которая впервые состоялась по его инициативе. И хотя угроза со стороны французской группы еще полностью не отпала, однако стало ясно, что с этой стороны нам уже не грозит серьезная опасность.

Теперь мы сосредоточили свои усилия на подыскании подходящей кандидатуры в президенты компании. Мы посоветовались с доктором Вейцманом, и он назвал нам еще два имени. Одно из них было Чарелл Литтон, к которому мы и решили обратиться. Его отец в прошлом был вице-королем Индии, а дед прославился в качестве автора книги "Последние дни Помпеи". Сам Чарелл Литтон родился в Индии, занимал целый ряд должностей на правительственной службе, был три года лордом адмиралтейства и в течение некоторого времени исполнял обязанности вице-короля Индии. Он был шурином лорда Бальфура, – этого достаточно, чтобы понять характер его отношения к евреям.

Я обратился к лорду Литтону через архитектора Роберта Летьенса, его родственника. Мы встретились в клубе "Карлтон", и я изложил ему наше финансовое положение и результаты переговоров с королевскими представителями. Выслушав меня, он попросил снаб-

дить его дополнительной информацией и сказал, что подумает и сообщит свой ответ.

На следующий день, повидавшись с Шекборо, я убедился, что ему уже известно о нашем разговоре. Он также одобрил наш выбор.

— Вчера я тоже встретился с лордом Литтоном, — сказал он, — мы ужинали вместе.

Впрочем, я знал заранее, что лорд Литтон ничего не решит, не посоветовавшись сначала с министерством колоний.

"Палата лордов, 20 марта 1929 года

Виконт Темплтон внес предложение учредить постоянный британский контроль над предприятием Мертвого моря и побочными производствами, которые разовьются на его базе...

Мертвое море, заявил он в частности, является ключом к Ближнему Востоку. Хайфский порт, электрификация и орошение Иорданской долины составляют три слагаемых единственного в своем роде промышленного предприятия, способного раскрепостить огромные и благотворные силы и вдохнуть жизнь в цивилизаторскую деятельность на всем пространстве от Нила до Евфрата... Подобная сложная ситуация обязывает нас позаботиться о том, чтобы контроль находился в английских руках... Русскому еврею Рутенбергу выдана концессия, которая на 70 лет вперед делает его полновластным хозяином всей экономики Палестины и Трансиордании... Вот вам штрих, дающий представление о размерах нежелательного влияния сионистов и представителей международного капитала...

Далее он упомянул обделенную британскую группу, которая жаждет освоить Мертвое море, но которой не дают этого сделать. 2 ноября 1926 года группе предложили ввести в свой состав г-на Новомейского... и состоялось совещание... с этой целью. Г-н Новомейский категорически настаивал на том, что если слияние будет достигнуто, решающий голос должен быть

передан ему и его товарищам, которых он не назвал, "и мне бы очень хотелось узнать, кто они такие..."

Темплтона поддержал лорд Дейнспорт. Он особенно настаивал на том, чтобы ему объяснили, почему мандат Лиги Наций является препятствием к установлению британского контроля над предприятием Мертвого моря.

Вслед за ними выступил лорд Мельчет, иначе говоря – сэр Альфред Монд.

Он начал с объективного обзора положения. Не стоит преувеличивать, сказал он, значение германской монополии на поташ. Фактически в мире существуют излишки поташа.

Я сидел на балконе и слушал его выступление. Поначалу мне казалось, что он собирается взять меня под защиту, однако вскоре он сменил тему и принялся оправдываться в том, что отказался поддержать мою компанию.

– Мертвое море, – сказал он, – заманчивое дело. Я хорошо с ним знаком. Я несколько раз бывал там и разговаривал с работавшими на месте специалистами. Я беседовал по этому вопросу с немецкими, французскими и английскими экспертами, и никто из них не считает, что крупным финансовым группам есть смысл инвестировать деньги в поташ Мертвого моря. Разве не странно, что по поводу концессии очень много разговаривают и тем не менее ни одна финансовая группа – ни в Европе, ни в Америке – не пыталась приобрести эту концессию для себя.

Намекая на слова лорда Темплтона относительно британской группы, Монд сказал:

– Благородные лорды склонны преувеличивать значение концессии, они основываются на сведениях из вторых рук и не могут осмыслить технической стороны дела. Я считаю, что в этом кроется определенная опасность. Картина, складывающаяся в результате безответственных заявлений, может ввести людей в заблуждение и побудить их вложить деньги в предприятие, которое, с моей точки зрения, является весьма сомнительным. Я не

знаком с группой, которую имел в виду благородный виконт, и прежде даже не слышал о ней, хотя в дальнейшем многие обращались ко мне по этому вопросу, и иностранные коллеги из финансового мира интересовались моим мнением об инвестиции капитала в этот проект.

Тут он перешел к сионистскому аспекту вопроса.

– Нападки благородного лорда несправедливо задели мистера Рутенберга. Вместе с присутствующим тут благородным лордом Ридингом я тоже участвую в правлении компании, созданной, чтобы снабдить Палестину дешевой электроэнергией. Почему концессия была предоставлена мистеру Рутенбергу? Потому что он весьма талантливый инженер-электрик и потому что он подал заявку на эту концессию. Благородному виконту неведомо, сколько тяжких лет мы пережили, пока изыскали требуемый капитал, он не знает также, как благодарны мистеру Рутенбергу все три верховных комиссара Палестины. Мне кажется, виконту следовало бы взять обратно свои слова. Да будет позволено спросить: разве палестинский подданный не вправе получить концессию в своей стране? Ведь и мистер Рутенберг, и мистер Новомейский – палестинские подданные. По-видимому, чтобы получить концессию в Палестине, человек должен быть подданным другой страны. Но ведь такая установка неприемлема. Неправда, будто мистер Рутенберг – русский еврей. Он палестинский еврей. И я вынужден протестовать против попытки сеять предубеждения против людей, взявшихся за освоение Палестины и ставших подданными этой страны.

Я было воспрянул духом, но тут от защиты он снова перешел к нападению.

– Палестинская администрация испытывает сегодня большие трудности, причем мне известны и такие, которые порождены желанием обеспечить свободное международное соперничество вокруг каждого контракта, конкурса и концессии на подмандатной территории. Тот, кто заявляет, что любая концессия должна даваться исключительно и только британским финан-

систам, хочет невозможного. Благородный лорд здесь намекнул, что концессия, о которой у нас сейчас идет речь, может заметно повлиять на цены на поташ в Англии. Однако невозможно предположить, чтобы поташ, который придется возить через все Средиземное море и дальше, в Англию, стоил дешевле, чем тот, который мы получаем из соседней Германии. Немцы позаботятся, чтобы этого не произошло.»

Речь Мельчета подействовала, как холодный душ, тем более что это говорил человек, одинаково хорошо разбирающийся как в финансовых вопросах, так и в химической индустрии. Не помогла и попытка Гаррела Плимута, спикера правительства, выступить в защиту нашей концессии. Создалось впечатление, что вообще проект эксплуатации Мертвого моря построен на песке. Я уже подозревал, что все эти разговоры только помешают нашим усилиям найти уважаемого и солидного президента. Выяснилось, однако, что критика Монда не повлияла на лорда Литтона. Получив от меня дополнительную информацию, он встретился с лордом Гленконнером, главой фирмы "Теннент и сыновья", и 12 апреля я снова имел с ним двухчасовую беседу. В конечном счете он решил принять наше предложение. В правление вошли и лорд Гленконнер с Эрнестом Теннентом, а компания Поллинга согласилась, чтобы в правлении участвовал ее генеральный директор, полковник Лайл.

Наконец-то, слава Богу, правление было создано. Но тут внезапно возникло новое затруднение: директора-неевреи теперь у нас имелись, но как быть с директорами-евреями? Министерство колоний требовало, чтобы мы сообщили их имена, так как Эймори обещал парламенту опубликовать "Белую книгу" относительно Мертвого моря. Главная контора "Фонда поселения евреев" находилась в Лондоне, и в отношении этого учреждения все обстояло благополучно. Своим представителем в компании оно назначило Гарольда Саломона, в прошлом начальника отдела торговли и промышленности палестинской администрации. Однако вкладчики в Соединенных Штатах, подписавшиеся на

полмиллиона долларов, до сих пор не дали своего согласия на какую-либо определенную кандидатуру, и не было шанса получить это согласие в ближайшее время, ибо все, от кого это зависело, разъехались в отпуска.

В беседах с Шекборо я назвал Феликса Варбурга и Бернарда Флекснера, чем он остался весьма доволен. Однако теперь они отдыхали где-то в Европе, и получить их санкцию я не мог. Я позвонил в Нью-Йорк (в те времена это делалось крайне редко), и мне сказали, что Варбург находится в плаванье по Средиземному морю, а Флекснер предпринял автомобильное путешествие по Испании и не сообщает о своем местонахождении, так как не хочет, чтобы ему портили отдых. В конце концов мне удалось установить название судна, на котором находился Варбург, и я послал ему телеграмму.

Телеграмма, видно, нашла адресата, так как вскоре пришла телеграмма от полковника Киша, директора политического отдела Сионистской организации. Киш извещал, что Варбург не хочет, чтобы его директорство в компании было предано огласке до того, как он встретится и побеседует с Флекснером. Таким образом, я не продвинулся ни на иоту.

Я написал Флекснеру подробное письмо, объяснив положение и причины, требующие ускорить принятие решения. "Я сообщил министерству колоний и нашему кандидату в президенты, — писал я, — что не смогу разрешить огласку имен американских директоров, пока не получу Ваш ответ на приглашение, которое отправил Вам телеграммой... Вы, конечно, поймете, как сложно сейчас мое положение по отношению к правительству и президенту. Я чувствую, что им трудно взять в толк, почему я не называю имен еврейских директоров, в то время как в парламенте и в прессе концессия изображается делом, поддерживаемым сионистами и вообще евреями".

В ответ я получил телеграмму из какого-то медвежьего угла в Испании, название которого мне так и не удалось расшифровать:

"Задержался, пока не сумел связаться с Варбургом. Предварительно хочу сам получить совет по серьезному вопросу назначения директором. Варбург откладывает свой окончательный ответ до нашей встречи. В Париже буду первого мая. Пока нет уверенности, что телеграфно меня можно будет разыскать до двадцать шестого. Приветы, Флекснер".

Его поведение рассердило меня, и я протелеграфировал:

"Невозможно: ввиду опубликования правительством "Белой книги" я должен видеть вас немедленно".

В ответной телеграмме Флекснер предложил встретиться 29 апреля в Виши. Я приехал из Парижа в Виши в 5.15 утра. Мы проговорили до обеда, и в конце концов Флекснер телеграфировал Варбургу о своем согласии войти в правление компании. Он также советовал Варбургу последовать его примеру. Лишь после этого я несколько успокоился и провел несколько приятных часов с Флекснером и его сестрой. Они были интересными собеседниками, и мы болтали о всякой всячине; вопроса о Мертвом море после утреннего разговора мы больше не касались. Назавтра мы вместе выехали из Виши в Париж.

1 мая пришла телеграмма от Герберта Лемана, почетного председателя "Экономического общества", подтверждавшая назначение Флекснера членом правления компании. Но в тот же день я получил телеграмму и от Варбурга из Иерусалима: Варбург просил ввести в правление вместо него Михаэля Поллака из Парижа!

Я был совершенно сбит с толку. Флекснер глядел на меня и улыбался. После он показал мне телеграммы, которые сам посылал в последние дни. Одна была адресована Варбургу: "Принял назначение в правление компании Новомейского от своего и вашего имени". Другая была отправлена Натану в Лондон: "Пожалуйста сообщите министерству колоний, что Феликс Варбург и я подтверждаем свое назначение в правление компании Новомейского – Таллока и согласны, чтобы

наши имена были оглашены одновременно с именем президента".

Я всегда был признателен старику Флекснеру, но теперь понял, что он своей решительностью вытащил меня из очередного болота проволочек, и был несказанно благодарен ему за доброжелательность и порядочность.

Так завершилось формирование правления, и нам лишь осталось придти к соглашению с королевскими представителями относительно частных деталей и формулировок в пунктах контракта. В последнюю минуту министерство колоний настояло на том, чтобы мы выдали письменное обязательство согласиться с французскими претензиями, в том случае, если это понадобится. Кроме того, внезапное требование выдвинуло правительство Трансиордании, – нам оно было передано по телефону 3 мая, – чтобы все вопросы, связанные с нашим предприятием на трансиорданской территории, подлежали юрисдикции местных судов. Мы не могли принять претензию, сформулированную в столь общем и туманном виде, и попросили точно определить их требования. Хотя половина Мертвого моря лежала в пределах Трансиордании и мы собирались вдобавок пользоваться пресной водой из источников к востоку от Мертвого моря, наш основной производственный комплекс должен был возникнуть и действовать на территории западной Эрец-Исраэль. Поэтому мы повели лихорадочные переговоры, пока не было найдено приемлемое для нас решение.

Второе затруднение было связано с вышеупомянутым обязательством о компенсации претендентам, оперировавшим оттоманской концессией. И тут нам пришлось действовать осмотрительно, ибо где гарантия, что дело не завершится выплатой этих самых компенсаций? Мы, естественно, не хотели связать себя заблаговременным обещанием и написали в министерство колоний, что готовы подписать документ с обязательством позволить заинтересованным правительст-

вам выполнить постановление международного суда относительно той части, которая в английском законодательстве именуется " реализация". Однако это обязательство, естественно, не будет включать выплату каких-либо компенсаций. Мы попросили также информировать нас и учитывать наше мнение по поводу всего происходящего в международном суде в связи с вышеупомянутым иском.

В этом же письме мы дали заверения, что у нас нет никаких намерений обижать местных арабских рабочих и что мы собираемся предоставить работу на концессионных заводах и еврейским и арабским рабочим, — как из Эрец-Исраэль, так и из Трансиордании.

Лихорадочные приготовления и совещания по разным запутанным вопросам достигли апогея. Короткий отдых я находил в эти дни в обществе барона фон Оппенхеймера, с которым обедал. Рано утром я отправлялся на прогулку в Кенсингтонские сады, а по вечерам ходил в соседний клуб любителей гольфа. Помню три замечательных весенних денька, проведенных у моих друзей в их доме в Гейнгуде: я часами лежал в саду, загорая на солнышке и стараясь не вспоминать министерство колоний, королевских представителей и даже слово "концессия".

22 мая 1929 года настал великий день. Утром мы с Таллоком отправились к Натану в контору и наконец-то нашли приемлемую форму для искомого "обязательства". В полдень состоялся обед в отеле "Риц": за столом сидели лорд Литтон, Варбург, Теннент, Киш, Натан, Таллок и я. Настроение у всех было приподнятое. В два часа сорок пять минут мы — Таллок, Натан и я — пришли в контору Берчела и поставили свои подписи на контракте. Там мы встретили сэра Генри Ламберта, главного королевского представителя, и его секретаря Рэнсома, подписавших договор от имени правительств Палестины и Трансиордании.

Назавтра мы с женой выехали в Эрец-Исраэль, чтобы открыть новую страницу в нашей жизни.

Глава одиннадцатая

ЗАВОД В ПУСТЫНЕ

Итак, я стал обладателем концессии, но на деле получил пока лишь преимущественное право на нее, так как концессия была оговорена условием основать в течение 12 месяцев с момента подписания контракта компанию с капиталом по меньшей мере в 100 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, чтобы приступить к работе, мне требовалось выяснить еще множество подробностей и согласовать их с палестинской администрацией. Поэтому первые месяцы в стране тоже ушли на заседания, совещания и усиленные хлопоты. Только через семь месяцев удалось окончательно оформить все документы. Параллельно с переговорами по юридическим вопросам я вступил в контакт с руководством отдела здравоохранения в Иерусалиме и совместно с ним разработал план осушения болот в том месте, где мы собирались основать завод. Затем начались совещания с чиновниками земельного отдела и отдела общественных работ: в соответствии с концессией нам должны были выделить участок в четыре квадратных километра на берегу Мертвого моря, к западу от Иордана, и я хотел установить его точные границы. Я выехал на место в сопровождении архитекторов, обследовал земли, выбрал подходящее место для жилого поселка и мастерских, и вскоре инженеры приступили к делу. Тем временем в иерусалимских лабораториях и на берегу Мертвого моря продолжали свои изыскания химики.

Возглавлял эту исследовательскую группу доктор Нойман, немец, командовавший в Первую мировую войну подводной лодкой, а затем десять лет проработавший в Болгарии на добыче соли из испарительных бассейнов. Он совмещал в себе достоинства ученого и

практика, но в частной жизни вел себя крайне странно. Закоренелый холостяк, он жил в бараке на берегу Мертвого моря. В конце недели он отправлялся в Иерусалим, снимал маленький номер в одной из гостиниц и не пускал ни горничных, ни уборщиц. Где бы он ни жил, он повсюду устраивал ужасающий беспорядок*. Доведя свой номер до такого состояния, что в нем невозможно было находиться, он перебирался в другой, и все начиналось сначала. До сих пор не могу понять, каким образом этот человек мог справляться с научной работой и с большим успехом решать практические задачи.

В начале августа я на несколько недель вернулся в Лондон, чтобы обсудить с майором Натаном и сэром Генри Ламбертом несколько параграфов концессионного контракта. Попутно я организовал в Лондоне первую встречу членов правления компании по вопросу ее регистрации и начала деятельности. Флекснер с Солдом взялись изучить меморандум и устав, подготовленный Натаном, и правление собралось на неофициальное заседание в отеле "Гайд-Парк". Участвовали: лорд Литтон, Феликс Варбург, Эрнест Теннент, лорд Гленконнер, Флекснер, Броуди, Солд, Таллок, Фридман** и я. Я подробно доложил техническую сторону дела, описал в общих чертах программу работы и сообщил свой расчет необходимых расходов и предполагаемых результатов.

Мы решили назвать новую компанию "Палестинской поташной компанией" и разместить ее главную

---

* Уборка гостиничных комнат, когда он их освобождал, производилась в два приема: сначала из-под кровати извлекали груду бутылок из-под виски и коньяка, а затем приступали к общей дезинфекции. Несмотря на свою робость перед женщинами, Нойман жаловал мою жену и, когда она приезжала на Мертвое море, беседовал с ней и даже принял ее приглашение отобедать с нами.

** Он тоже был представителем американских инвеститоров и привез с собой 50 тысяч долларов.

контору в Лондоне. Помещение сняли на улице Палл-Малл и приступили к регулярным занятиям. Определился и полный состав членов директорского совета: в совет ввели полковника Лайла, представителя компании "Поллинг", Гарольда Саломона, представителя "Фонда поселения евреев", а также меня в качестве генерального директора. Казалось, все идет гладко, но внезапно 4 октября я получил тревожную телеграмму из Иерусалима: правительственный отдел, которому было поручено отвести территорию под концессию, решил не более и не менее, как исключить из участка для аренды всю прибрежную полосу, иначе говоря, полосу, через которую должны были пройти все трубопроводы и каналы, соединяющие испарительные бассейны с морем. Я уже не говорю о том, что на берегу мы собирались строить поселок для работников. Кроме того, нам была необходима маленькая гавань, так как из Трансиордании надо было возить на баржах пресную воду и различные строительные материалы.

Я понимал, что это происки чиновников, в принципе возражавших против моего проекта из-за крайне враждебного отношения к сионизму. Поэтому я решил непосредственно обратиться в Лондон. 15 ноября я отправился по этому вопросу к Ренсому, в то время как лорд Литтон обратился к секретарю по делам колоний и выразил ему свое негодование по поводу позиции палестинских властей. И действительно, министерство колоний вмешалось, и дело решилось в нашу пользу. 1 января 1930 года концессионный договор был, наконец, подписан в окончательном виде. Твердолобым иерусалимским чиновникам пришлось умерить свои претензии к параграфу, в котором говорилось: "Южной границей является линия уреза воды Мертвого моря... Правительственные служащие и все другие, уполномоченные на то властями, будут пользоваться правом доступа на северный берег Мертвого моря на всем его протяжении от западной стороны арендованного участка до устья Иордана. Компания обязуется

содержать существующий тракт в удовлетворительном с точки зрения властей состоянии".

Итак, наконец-то я мог приступить к практической работе, к осуществлению всех тех планов, в разработку которых я вложил годы труда. Наконец-то я вернулся к своей настоящей профессии. Приступив к строительству заводского поселка в пустыне, я не раз вспоминал свою жизнь в Сибири; там мне приходилось строить копи и фабрики в таежной глухомани, на расстоянии нескольких дней езды от ближайшего человеческого жилья. Мне всегда нравилось быть первооткрывателем. В мою задачу входило не только возведение построек, налаживание нового оборудования и добыча минералов, но и воспитательная работа с коллективом, от которого в конечном счете зависит успех – или неудача – любого предприятия.

Заброшенный тракт из Иерусалима к Мертвому морю вернулся к жизни. По нему потянулись вереницы тяжелых грузовиков с досками, цементом, арматурой, трубами и прочими стройматериалами. Везли продукты и утварь. Появились первые бараки, прокладывались трубы для подачи воды из Мертвого моря в испарительные бассейны. Другую сеть труб тянули от Иордана. Построили небольшую пристань, куда причаливали транспортные лодки и баржи, привозившие питьевую воду из вади Зерка. Работа шла как положено, по плану, дело двигалось, и это радовало людей. А какой праздник был в тот вечер, когда ночную темень впервые рассеял свет электрических ламп!

В феврале 1931 года – через год после того, как мы приступили к работе, – предприятие уже дало первую продукцию: некоторое количество брома, отправленного на английский рынок. Это была первая партия брома из негерманского источника, однако фирма "С. Теннент и сыновья" выступила перед покупателями гарантом всего, что касалось качества нашего брома, его количества и сроков поставки в соответствии с контрактами, так что реализация товара не встретила никаких затруднений.

На следующий год мы приступили к выпуску поташа. Первый заказ был получен из Балтимора в Соединенных Штатах. В годы Второй мировой войны Мертвое море обеспечивало Англии почти половину необходимого ей поташа и четыре пятых потребности ее доминионов (за исключением Канады). Наряду с этим "Поташная компания" уплатила британской казне в виде налогов 604 тысячи фунтов стерлингов (за все время существования компании – более одного миллиона фунтов стерлингов), помимо 461 тысячи фунтов, выплаченных палестинской администрации и правительству Трансиордании в виде прибылей и дивидентов. Число работников наших предприятий достигло двух тысяч, и еще более десяти тысяч человек приобрели источник заработка благодаря деятельности компании. С начала работ и до войны с арабами было добыто в общей сложности 1.040.000 тонн поташа и 8.200 тонн брома.

Тут уместно напомнить, что различные газеты, даже такие серьезные, как "Дейли Миррор" и "Дейли Экспресс", публиковали в свое время сенсационные известия о наличии в водах Мертвого моря золота. Распространителем этих слухов был уже упоминавшийся английский коммерсант со странным именем Хозро Дурадваччио, который надеялся таким способом напугать министерство колоний и приостановить выдачу нам концессии. В этом деле была некая доля правды. Известный немецкий профессор Хабер поставил в 1920 году солидные опыты по извлечению золота из воды. Еще до него этим интересовалось несколько физиков, и профессор Арениус из Стокгольмского университета, директор отделения физической химии Нобелевского института, выпустил (в 1903 г.) фундаментальную монографию по тому же вопросу. Арениус оценивал количество золота в водах Мирового океана в 8 миллиардов тонн, другими словами, он предполагал, что в каждой тонне воды содержится 6 миллиграммов золота. Хабер, разработавший процесс добычи азота из воздуха, ухватился за эти цифры и решил искать метод из-

влечения золота из воды, дабы помочь Германии справиться с огромными репарациями, наложенными на нее Версальским договором. Он, разумеется, получил поддержку немецких властей, и его опыты, которые проводились тайно, но в крупных масштабах, длились целых шесть лет. Исследования велись с помощью нескольких датских судов и специально оборудованного для этой цели немецкого корабля "Метеор". На берег было доставлено свыше 5 тысяч проб из различных морей и с разных глубин. Наилучшие результаты принесли пробы, взятые в северной части Атлантического океана, к юго-западу от Исландии и Гренландии. Однако после шести лет упорного труда Хабер вынужден был признать, что потерпел неудачу. Он установил, что количество золота в океанской воде не превышает 0,4 миллиграмма на тонну и что его добыча экономически нерентабельна. Он также показал, что золото в морской воде находится не в растворенном виде, а в виде тонкой взвеси почти на поверхности моря. Эта взвесь попадает в организм различных морских обитателей и после их смерти уходит вместе с ними на дно. Таким образом, если в океанах и существуют скопления золота, их следует искать не в воде, а на дне.

В день опубликования "Белой книги" по поводу концессии Мертвого моря в газете "Дейли Экспресс" появился сенсационный рассказ о Жорже Клоде, одном из крупнейших французских ученых, который еще в 1922 году якобы пришел к выводу, что в водах Мертвого моря концентрация золота в сорок раз выше, нежели в океанской воде, и что оно содержит золота в общей сложности на сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов, причем треть этого количества можно извлечь в течение пятнадцати лет. По словам газеты, Клод пытался убедить в справедливости своей оценки Пуанкарэ и уговорить его воспротивиться передаче мандата на Палестину в руки Великобритании, но тот не прислушался к его совету. Отзвук этой истории проник даже в текст концессионного контракта, где отдельным пунктом оговаривалось, что право добычи

из Мертвого моря "золота, серебра либо других драгоценных металлов и их россыпей" сохраняется исключительно за правительством. После вышеупомянутой публикации в "Дейли Экспресс" я отправился к профессору Хаберу за советом, но он сказал мне, что больше не верит в свою старую идею, даже в применении к Мертвому морю. Тем не менее я решил проверить наличие золота в его водах. Я послал несколько проб из Мертвого моря в франкфуртскую "Компанию по металлам". Результаты анализов оказались обескураживающими: выяснилось, что в поверхностном слое воды золота содержится всего лишь 0,078 миллиграмма на тонну, а в придонных слоях – 0,092 миллиграмма.

Теперь пора рассказать, чем окончилось дело с Дурадваччио и его группой. Убедившись, что все его угрозы и маневры ни к чему не привели, он решил, что ему терять нечего, и в январе 1923 года подал иск в верховный суд Великобритании против "Палестинской поташной компании". Претензия была внесена от его имени и от имени 13 французских граждан, которые утверждали, что у нашей компании нет права добывать минеральные соли из Мертвого моря и поэтому она должна прекратить работу, а также уплатить компенсации и возместить ущерб за добытые нами минералы. Юридические проблемы, возникшие в связи с этим иском, оказались чрезвычайно сложными и запутанными, и время, остававшееся у нас до слушания дела (летом 1934 года), мы употребили на консультации со специалистами по международному праву. Мы обратились к известным ученым разных стран, и в конечном счете список наших консультантов насчитывал 13 знаменитых имен. Самой интересной частью этих хлопот оказалась поездка в Турцию за свидетельскими показаниями первых обладателей концессии – директора горнопромышленного департамента в Анкаре и начальника турецкого государственного архива. На опросе этих свидетелей настояли истцы, но нам предоставили право перекрестного допроса, а также право опросить

дополнительных свидетелей; английский суд просил согласия на это турецких судебных властей.

9 января 1934 года я выехал в Анкару и там встретился с пятью юристами, приглашенными нашей компанией из Лондона, Парижа и Константинополя. Главным спорным пунктом являлся, разумеется, тот факт, что первая оттоманская концессия была в свое время отменена и трое ее обладателей знали, что в момент, когда они продали свои "права", у них этих "прав" уже не было. Эдвардс, который у них эти "права" приобрел, очевидно, не знал об отмене фирмана, иначе не заплатил бы за него и копейки. Однако продолжал ли он верить в законную силу приобретенной концессии и три года спустя, когда было подано прошение считать недействительным указ об ее отмене? Было ли это прошение подано и с его согласия? А может быть, турецкие власти согласились восстановить концессию с целью утаить ее от Эдвардса?

Наши противники пытались оперировать и тем и другим аргументом: что фирман никогда не отменялся, а если и был упразднен, то затем была отменена его отмена. В такой обстановке большое значение приобретали свидетельские показания. Однако получить их было непростой задачей, так как турецкий процессуальный кодекс не разрешал нашим адвокатам действовать самим, и мы были вынуждены вести опрос свидетелей через турецких адвокатов. Более того: и последние не располагали правом вести перекрестный допрос. Они должны были подавать свои вопросы в письменном виде, а опрашивал свидетелей председатель суда, и он же сообщал их ответы. На деле же как вопросы, так и ответы зависели от машинистки, которая ассистировала председателю. Легко понять, как трудно было в таких условиях формулировать вопросы, переводившиеся на турецкий язык, а затем обратно на французский.

Важнейшим из свидетелей был Салах Дженджузбей, уже ставший к тому времени депутатом турецкого парламента. По его словам, он не получал ника-

ких извещений об отмене фирмана, выданного ему властями. В период о котором шла речь (в 1915 – 1916 годах), Дженджуз был депутатом Национального собрания Турции и в сопровождении Джамаль-паши, командующего турецкой армии, ездил в Эрец-Исраэль. 15 февраля 1915 года он даже посетил берега Мертвого моря – он подробно рассказывал об этой поездке: как ехали на автомобиле и как катались на лодках по морю. Он утверждал, что в то время и речи не было об отмене. Однако его показания не вызывали доверия, так как мы располагали тремя убедительными документами: текстом указа об отмене фирмана и двумя извещениями об этой отмене, напечатанными в свое время в турецком официозе в Константинополе и в официальном органе печати в Иерусалиме. Причем документы эти были датированы как раз январем и февралем 1915 года.

После заседаний суда в Анкаре состоялись заседания другого суда, в Константинополе. В Анкаре суд заседал в составе трех человек, в их числе была одна молодая женщина. В Константинополе все заседания вела молодая женщина-судья, и я никак не мог избавиться от впечатления, что это было сделано специально для иностранцев, дабы продемонстрировать перед ними равноправие женщин в новой Турции.

7 июля 1934 года дело дошло до окончательного разбирательства в Верховном суде. Наши советники были уверены, что выиграют дело, и не хотели тратить время на изучение вопроса, вправе ли вообще турецкий суд принять к слушанию иск французов. Однако генеральный прокурор правительства, который тоже был на нашей стороне, категорически настоял на том, чтобы прежде всего разобрались с проблемой компетенции. И действительно, суд по этому вопросу вынес постановление в нашу пользу, найдя, что иск находится вне пределов его юрисдикции. Одновременно он обязал истцов уплатить нам издержки в размере 4 924 фунтов стерлингов. Правда, он признал за ними право возобновить иск в палестинском суде, но они

им не воспользовались и прекратили борьбу – по-видимому, их отрезвили расходы, связанные с возбуждением нового судебного дела, и риск проиграть его.

Даже издержек по первому процессу они не оплатили. Взыскать причитавшееся нам с французов мы не могли, да и Дурадваччио, единственный среди них британский подданный, своей доли тоже не уплатил и в конце концов был объявлен банкротом. Наши расходы по суду составили в общей сложности 15 900 фунтов стерлингов. Но важнее было то, что мы наконец разделались со всеми претензиями и судебными исками, оспаривавшими наше право на пользование концессией.

Работы на Мертвом море продвигались, выпуск продукции увеличивался, и постепенно начали оправдываться слова лорда Темплтона насчет Хайфского порта, электрификации и предприятия на Мертвом море, как трех китов, на которых зиждется строительство новой цивилизации между Нилом и Евфратом. Наше предприятие простиралось на запад и на восток от Иордана, а потому мы находились в постоянном контакте с соответствующими двумя правительствами. Наши отношения с британскими верховными комиссарами (кроме Гарольда МакМайкла) всегда оставались хорошими. Добрые отношения я поддерживал и с арабским населением, ибо с сибирских времен привык ценить и уважать людей разных национальностей. Половина рабочих на заводе Мертвого моря были арабы. Почти все жители Иерихона были заняты на головном предприятии компании, а завод в Сдоме дал работу всем мужчинам трансиорданского села Эль-Сафия. Я рад случаю отметить, что за восемнадцать лет работы "Поташной компании" (1930–1948) между работавшими в ней евреями и арабами всегда сохранялись мирные и дружественные отношения. Иногда возникали разногласия среди еврейских рабочих, а также среди рабочих-арабов, но я не помню ни единого случая вражды между евреями и арабами. В то же время

случалось, что евреи заступались за арабов, обделенных администрацией или несправедливо уволенных, а арабы, в свою очередь, за евреев. Патроном и заступником арабов был Моше Лангоцкий, о котором я уже упоминал. За годы, проведенные на берегу Мертвого моря, Лангоцкий научился бегло разговаривать по-арабски, стал начальником одного из цехов, и я никогда не замечал, чтобы он делал какое-либо различие между еврейскими и арабскими рабочими. Арабские рабочие тоже были преданы интересам предприятия. Они не помогали бандам, действовавшим в стране в 1936–1938 годах, и не участвовали в волнениях, возобновившихся в 1947 году. Даже в 1948 году, во время арабского вторжения, они не поддерживали нападений на евреев. Наоборот – арабские рабочие завода в Сдоме отправили ко мне посланцев, прося защиты от возможного нападения на них хевронских арабов, подстрекаемых ставленниками муфтия.

Мы поддерживали отношения и с правительством Трансиордании. В этот период (1930–1948) Ибрагим-паша Хашемит и Туфик-паша Абу-Хода поочередно занимали пост премьера. Оба они были выходцами из западной части Эрец-Исраэль, один – уроженец Шхема, другой – Акко. Оба воспитывались в Константинополе и владели французским языком. Ибрагим-паша по профессии был юрист и во время недолговечного правления Фейсала в Сирии служил в должности старейшины дамасских судей. После основания "Поташной компании" я пригласил его стать нашим юридическим представителем в Трансиордании, он мое предложение принял и сложил с себя эти обязанности только тогда, когда стал премьером. Приезжая в Амман, я заходил к нему в контору, порой он приглашал меня к себе домой, а когда он сам приезжал в Иерусалим, то наносил мне ответные визиты. С течением времени у нас сложились отношения личной дружбы, и мы беседовали не только о делах, но и о своих частных и семейных заботах. Я думаю, что и в последние годы он был самым уважаемым и авторитетным среди

политиков королевства. После убийства короля Абдаллы он стал одним из трех иорданских регентов, и в апреле 1957 года король Хусейн снова назначил его главой правительства. Старик с большим успехом выполнял свои обязанности и сумел справиться с серьезным кризисом, разразившимся в то время в Иордании. Позже газеты сообщили, что во время иракского переворота Ибрагим-паша был убит – на 83 году жизни.

Туфик-паша Абу-Хода был человеком совершенно иного склада. Когда я с ним познакомился, он лишь начинал свою политическую карьеру в должности первого секретаря трансиорданского правительства. Это был суровый и упорный педант, общаться с ним было непросто. По своим воззрениям он был арабский националист; тем не менее наши отношения оставались хорошими, и в большинстве случаев нам удавалось прийти к соглашению. Главным смыслом его жизни была страстная любовь к единственной дочери: девочка всегда находилась при нем и сопровождала его в поездках. Когда я видел их в последний раз в 1948 году, она была уже пятнадцатилетней девушкой и все-таки продолжала жить в одной комнате с отцом. Через некоторое время Туфик неожиданно для всех покончил с собой. Он оставил дочери свои дневники, но вскоре в газетах появилось сообщение, что эти дневники украдены у нее и исчезли.

Один из директоров "Поташной компании" Абдель-Рахман эль-Тадж – тоже был арабом, но он держался в стороне от политики. Это был замечательный человек, пользовавшийся уважением обеих арабских партий, соперничавших между собою, – партии муфтия и партии Нашашибов. Рагеб-паша Нашашиб был его другом и останавливался у него, когда приезжал в Иерусалим. При этом Абдель-Рахман эль-Тадж являлся членом Высшего арабского комитета, во главе которого стоял муфтий. Добрые отношения он поддерживал и с евреями.

У него был большой дом, нечто вроде замка, окруженного плантациями цитрусовых. Он был религиоз-

ным человеком, сведущим в коране. Однажды по пути из Иерусалима в Тель-Авив я заехал к нему, он угостил меня чаем и не отпускал, предлагая у него переночевать. Я объяснил, что хочу засветло добраться до Тель-Авива, так как завтра утром еду в Лондон, а до этого должен побывать на могиле матери: я навещаю ее всякий раз, когда выезжаю из страны. Это его тронуло, он взял мои руки в свои и прочел мне суру из корана во славу тех, кто чтит и не забывает своих родителей. На заседаниях нашего правления он представлял своего сына Абдель-Рахмана, учившегося в Кембридже. А когда юноша вернулся в Эрец-Исраэль, я назначил его нашим представителем в Трансиордании. Это было удобно, так как Туфик-паша был его двоюродным братом. В правлении "Поташной компании" были евреи, арабы, англичане и американцы, люди разных национальностей и разного вероисповедания, но никогда не было никаких инцидентов или трений расового или религиозного характера. Почти двадцать лет мы вели наши дела в атмосфере сотрудничества и дружбы.

В 1920 году Мертвое море посещали лишь единичные путешественники и паломники. Согласно общепринятому тогда мнению, считалось, что люди белой расы не в состоянии жить в этом пустынном месте с его тяжким климатом. В 1947 году Мертвое море стало не только кладовой химического сырья, но и местом отдыха для жителей страны и туристов со всего света. По соседству с поташным центром возник прелестный уголок – Калия, с современным комфортабельным отелем и полем для игры в гольф "Клуба Содома и Гоморры". Сотни больных ревматизмом приезжали на купания в Мертвом море, исцеления в его водах искали также люди с глазными заболеваниями и женщины, страдающие бесплодием.

Шоссе из Иерусалима в Иерихон было расширено, приведено в порядок, и по нему шло оживленное движение. То и дело проходили колонны тяжелых грузовиков, везущих поташ Мертвого моря. У север-

ной оконечности моря разместилось головное предприятие. Над воротами красовался большой щит с названием компании. У ворот стоял полицейский пост, а за проходной была расположена рубка заводской радиостанции, которая поддерживала постоянную связь с заводом на юге, в Сдоме. Неподалеку от ворот строили жилье для семейных работников предприятия, и во дворе постоянно играли дети, большинство которых здесь и родились и выросли и здесь же начали ходить в школу. "Мертвое" море превратилось в оазис культурной жизни.

Сотни рабочих – евреев и арабов – изо дня в день приходили к испарительным бассейнам, чтобы заняться их очисткой и сбором сверкающих на солнце белых кристаллов. Другие десятки работали в рафинерном цехе. Часто приезжали сюда на практику студенты из Иерусалима. В кинотеатре два раза в неделю шли фильмы, иногда устраивались концертные вечера с участием заезжих артистов и музыкантов. Имелось и спортивное поле, расположенное рядом с предприятием. На Мертвом море плавала флотилия из тридцати судов, поддерживая постоянное сообщение между заводами центра и Сдома. А вокруг этих двух оазисов – двух заводов, где жизнь била ключом, простиралась, как в древние времена, безмолвная и безлюдная пустыня, какой я ее застал, когда впервые приехал сюда.

Такой вид имело это место десять лет тому назад – до того, как вспыхнула война, разрушившая предприятие.

И когда я думаю о его истории и о ядовитых болотах, превращенных в испарительные бассейны, мне на ум невольно приходят слова пророка Иехезкеля: "И сказал мне: вода эта потечет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми... Болота его и лужи его...будут оставлены для соли" (48:8, 11).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. МОЯ СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

Часть вторая. У БЕРЕГОВ МЕРТВОГО МОРЯ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

Фаина Баазова. **ВОСПОМИНАНИЯ.**

Книга Ф. Баазовой – дочери духовного руководителя грузинского еврейства раввина Давида Баазова – волнующий документальный рассказ о большом периоде в жизни евреев Грузии – с момента становления советской власти и до репатриации большей части общины в Израиль.

Эли Визель. **ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.** Пер. с французского.

Тема книги Э.Визеля – отношения между человеком и Богом. Герой Визеля – еврей, а время действия романа – современность. Неразрешимая загадка Катастрофы заставляет заняться поиском новых ответов на извечные вопросы бытия.

ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ К ВОЗРОЖДЕНИЮ. Сборник статей. Пер. с иврита.

Б.Ц.Динур. **Исторические основы возрождения Израиля.** Пер. с иврита.
С.Дубнов. **Письма о старом и новом еврействе.** (Перепеч. с изд. 1907 г., С.-Петербург.)

Феликс Кандель. **ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО.** Очерки и эссе.

Ф. Кандель – автор рассказов, пьес, повестей и сценариев для мультипликационных фильмов. Прибыл в Израиль в 1977 году, после ряда лет борьбы за право на выезд.